

СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ

КАЖИКАДЗЕ

КАЖИКАДЗЕ

СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ



ЛЕНИЗДАТ • 1992



СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ

КАЖИКАДЗЕ

РОМАНЫ

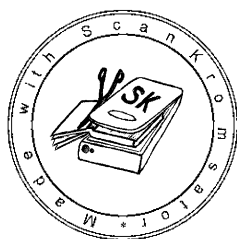


ЛЕНИЗДАТ
1992

84(2) 7
С22

Редактор И. С. ЯВОРСКАЯ

Художник Г. Д. ЦЕЛИЩЕВ



Scan AAW

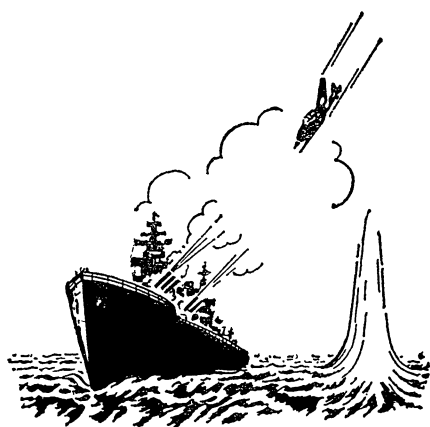
С $\frac{4702010201-102}{M171(03)-92}$ 110-92

ISBN 5-289-01385 7

© С. В. Сахарнов, 1992

© Г. Д. Целищев, оформление,
1992

КАМИКАДЗЕ



ОТ АВТОРА

Сорок пять лет тому назад громоздкий черно-зеленый торпедный катер американской постройки, на котором я был штурманом, подошел к причалу северокорейского порта Гензан. Это был последний десант короткой войны августа 1945 года. Среди молчаливых фигур в зеленой армейской форме, покорно и угрюмо стоявших на берегу, был летчик-самоубийца, которого звали Ито. Через неделю мы с ним стали друзьями. То, что он рассказывал мне в те дни, стало основой романа.

«Камикадзе» — книга о почти неизвестной у нас войне на Тихом океане, рассказ о сожженных городах и людях, убитых или сброшенных в море со скал. Можно сказать, что роман документален — события и география его подлинны. Впрочем, за одним исключением: когда я писал о гибели Хиросимы, моя рука дрогнула — Хиросиму я назвал Кириидзуми.

Древние считали, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Литература — счастливое исключение: рассказывая, мы возвращаемся в реку, имя которой наше прошлое.

Ранним утром двадцать пятого декабря одиннадцатого года Сёва¹ Сайто Кадзума, приехавший, чтобы впервые за много лет провести с семьей новогодний праздник, приказал служанке разбудить жену и детей. Было самое начало часа зайца, но адмирал привык всю жизнь вставать рано. Когда семья — жена и двое мальчиков-погодков, — тихо переговариваясь между собой, собралась в комнате, служанка раздвинула наружную стену и в комнату хлынул холодный воздух из сада. То, что они увидели, заставило всех замолчать: на черные ветви криптомерий, на мертвый, припавший к земле папоротник опускался снег. Служанка принесла бронзовую грелку с углями, опустила ее в углубление пола и накрыла одеялом. Молча расселись, протянув к живительному теплу ноги, зябко простирая над ним руки, и не отрываясь разглядывали, как снег покрывает землю. Оттого, что он шел белой завесой, отгораживая дом и сад от окружающего мира, пропала сложенная из серого камня подпорная стенка, которая защищала сад от оползня, пропала гора над ней, сплошь поросшая низко и уродливо изогнутыми красно-зелеными соснами, исчезли верхушки сливовых деревьев и крыши соседних домов. Снег ложился на ветви, и те на глазах начинали пригибаться к земле. В белом молоке исчезло все, что еще вчера составляло смысл жизни и определяло место каждого из членов семьи: далекий остров в океане, порт, наскоро сооруженный руками пленных китайцев, и серые, длинные, похожие на гончих собак миноносцы, которыми командовал отец, город с магазинами, рынком, театром Но² и с храмами, куда ходила мать, школой, в которой мальчики учились в одном классе — отец задержал на год старшего, чтобы они смогли потом вместе поступать в училище. Отец молчал, никто не решался заговорить; шел снег, настоящего мороза не было; слипаясь в воздухе, снежинки становились все тяжелее. Теперь они падали быстро, ребром, как серебряные монетки, каждая при падении делала

¹ Одиннадцатый год Сёва — 1937 год.

² Но — японский национальный театр.

дырку в белом покрове, скрывшем от глаз землю. А еще время от времени снег срывался то с одного, то с другого дерева и каждый раз освобожденная ветка, шурша, взлетала вверх, но, покачавшись, замирала, чтобы начать принимать на себя новый груз.

— Все растает к полудню,— сказал Кадзума.

И жена, и оба сына согласно наклонили головы. Все будет так, как сказал он.

Отшумел, откатился радостный Новый год; этот, как никакой другой, запомнится подросткам Кадзума, не раз будут вспоминать они его, самый радостный год в жизни, бездумное прощание с тем, что отошло, и такое же легкое, без дум, ожидание предстоящего. Прибран был в те дни невесомый, с бумажными стенами, полный морозного яркого света дом: у главных парадных дверей ворота из трех бамбуковых палок, украшенных сосновыми ветками, на них — веревка, сплетенная из соломы с умело продернутыми между ее прядями бумажными разноцветными полосками. Мать сменила в токонома¹ вазу, поставила новый букет и деревянную тарелку с лепешками из риса, с красноватыми морскими водорослями, с сушеными колючими рыбами и матовой голубой сливой, служанка принесла из родника кувшин чистой воды, а повар к обеду кроме рисового пирога приготовил еще зеленого карпа и салат из корней.

Всю неделю бегали запускать змея. Удлиненный, с размочаленным хвостом, он взлетал не сразу, долго кувыркался, ударяясь о землю, пока старший — Ямадо — не выходил на дорожный спуск, не клал змея на землю и не бросался опрометью с горы. Змей, подпрыгнув и круто взмыв, повисал, туго натянув бечеву и звеня в воздухе; а младший — Суги — бежал следом, радостно крича и запрокидывая голову. Всю неделю приходил почтальон, дергал за шнур колокольчика у ограды, протягивал пачки поздравительных писем. Только на седьмой день сняли в доме все украшения и прямо на садовой дорожке разожгли костер. Желтый, синий огонь вяло пополз по туго скрученной в жгуты соломе, задымил, упал, потом дружно взялся, разом охватил кучу, с треском побежал по ней и снова бессильно сник, успев превратить соломенные украшения в пепел. Да, да, отшумел, откатился год, забылись сто восемь ударов колокола, которые ночью прокатились над засыпающим

¹ Токонома (яп.) — ниша в стене, обычно с одной-двумя полками.

городом, забылся парусник с семьёю богами, поставленный в нишу рядом с цветами, сгорел в костре вместе с игрушками пучок сухих пузырчатых водорослей (к счастью и достатку), сгорели ветки папоротника (удача в жизни), были выброшены угольки, нитками привязанные у входа (долго и счастливо жить у этого очага).

Вспомнят этот Новый год погодки Кадзума черной, с набегающими ливнями ночью, лежа без сна на узких офицерских койках, в тесной с металлическими стенами каюте линкора, лежа и слушая, как глухо гудят гребные валы и как стучит, перекликается голосами дежурных и вахтенных матросов, щелканьем сандалий в коридоре, тонким пением электрических приборов огромный, несущийся сквозь тьму навстречу своей гибели корабль.

В тот год адмирал отсутствовал как никогда долго. «Итисима»,— вежливо склонив голову, отвечала мать, если ее спрашивали, где служит теперь ее муж. «Итисима»,— ответили в один голос братья, когда учитель в школе, подняв их, подобострастно спросил перед всем классом, где сейчас изволит плавать их отец. «Итисима»—это могло ничего не значить, могло быть шифром, условным наименованием вроде номера полевой почты, но учитель, ослабившись, поздравил класс с тем, что в нем есть сыновья человека, который в это трудное для страны время находится в одном из самых важных для Японии мест.

— Итисима,— недовольно повторил как-то матери отец, она писала кисточкой на розовой бумаге письмом младшей сестре, а та уже несколько раз спрашивала, почему так редко бывает дома уважаемый Кадзумасан и не трудно ли одной женщине растить из двух непокорных мальчишек стойких, заслуживающих военной карьеры солдат. — Итисима,— повторил он, закрывая глаза, и, засыпая, увидел коричневые отвесные скалы, узкие, пробитые в них туннели, стальные, навешанные на устья туннелей ворота, часовых на скалах, а внизу, в узкой длинной бухте, частокол из бамбука.

— Я повторяю под присягой суду, что это приказал сделать он. Он был старшим морским начальником на острове, и последнее слово во всех случаях принадлежало ему. Что такое был наш остров? Скалы, бухта, в глубине завод, верфь, стена. Поверх нее колючая проволока, над строящимися кораблями натянута маскиро-

вочная, с коричневыми и желтыми пятнами, сеть. Корпус недостроенного корабля, орудийные щиты, склад, в нем цепи, тросы, леерные стойки, вышки... Да, да, я путаюсь, говорю сумбурно, прошу простить меня, я волнуюсь.

Это произошло осенью: случился шторм, через линию дозора — в ней стояло пять катеров — пронесло кавасаки с рыбаками. Дозор не был виноват, — дождевые заряды шли один за другим; лодку обнаружили уже около самой верфи. Желтые волны шли на берег рядами. И среди них маленький рыбацкий бот. Часть бамбуковой стены была повалена ветром, корпус линкора они не могли не видеть. Вы говорите, что они все равно ничего не могли понять, что это были всего лишь неграмотные рыбаки? Мы все так считали, но ждали, что скажет он. Да, да, я точно помню его слова. Кадзума сказал: «Вы думаете, у американцев или у русских на службе нет людей, которые умеют хорошо разыгрывать из себя неграмотных?» Кто-то возразил: «У них на руках мозоли. Это мозоли рыбаков. Их с малых лет приучают помогать отцам тянуть сети». Он приказал расстрелять их. Не могу сказать, от кого исходил второй приказ. Пленные китайцы подчинялись начальнику инженерной части, их привозили на остров, они строили заводской корпус, а потом исчезали. Теперь о линкорах: в них адмирал уже не верил — он один из первых поверил в самолеты. Ведь бомба, падая, пробивает палубу, она разрывается внутри корабля, швы расходятся, корабль ломается пополам или начинается пожар, вспучивается палуба... Да, да, я сказал вспучивается. И еще — хорошо, я буду говорить медленнее — он поверил в торпеды. В тот год к острову привели три списанных парохода. Мы наблюдали с берега. Самолеты возникали неожиданно, они летели над самой водой и, не долетая до пароходов, роняли торпеды. Одна сбилась с пути и попала в берег: скала вздрогнула, черно-красный шар выскочил из-под воды, донесся звук взрыва. Остальные торпеды попали в цель, все три парохода были потоплены. Вечером в офицерской столовой адмирал нам сказал: «Времена изменились, аэропланы сильнее кораблей». Может быть, в тот год уже был готов план нападения на Жемчужную гавань? Я хорошо запомнил его слова, он сидел спиной к окну, и ветер надувал пузырем марлевую занавеску, по занавеске ползали осы... Хорошо, я вас понял, никаких подробностей не относящихся к делу.

Они входили в мой кабинет, усаживались на стулья у шкафа с книгами вдоль стены и у столика с пожелтевшими журналами, садились и начинали рассказывать. У каждого была своя манера сидеть, говорить — сбивчиво или плавно, жестикулируя или равнодушно, поглядывая в окно, за которым желтая игла крепости резала над Невой небо. Рассоха предпочитал полукресло, он разваливался в нем, забрасывал ногу за ногу и, постукивая по коробке сигарет, ждал, когда можно будет, надоев, уйти на кухню курить. Нефедов присаживался на край стула, складывал руки на коленях и, покачиваясь, начинал вспоминать увиденное во время нашей с ним короткой войны и пересказывать услышанное от ошеломленных катастрофой немногословных японцев. Когда ему нужно было вспомнить что-то особенно важное, он вытаскивал из узкой кожаной папки желтоватые листки, те самые, что потом привез мне из поездки на Канин Рассоха. Читал он то и дело запинаясь, болезненно щурясь. Японцы, когда они требовались ему как свидетели, бесшумно входили в комнату и исчезали, никогда не называя своих имен. В их руках порой появлялись газеты и книги с аккуратно вложенными закладками, но когда однажды я заглянул в книгу, то увидел там вместо букв только похожие на пауков знаки. В этой компании призраков были две женщины. Первой появилась рыбачка, она на удивление уверенно чувствовала себя и объясняла все неторопливо, усмехаясь, каждый раз вспоминая все новые и новые подробности. И только на мой вопрос, все ли бумаги, переданные ей Нефедовым, вернула, ответила упрямо — все. Она так и осталась для меня загадкой. Я спросил о ее отношениях с Нефедовым: «Вы его любили?» — «Жалела», — ответила она. Еще я благодарен женщине, чья память удержала малейшие подробности дней, проведенных в бухте Гомера, и часов короткого ее счастья с Кулагиным.

Эти бесплотные, вызванные моим воображением рассказчики так часто появлялись у меня, что я научился говорить их языком, видеть происшедшее так, как видели его они, а манера Нефедова вспоминать — то подробно, прилипчиво, то рвано, подобно тому, как мелькают на экране кинокадры, — стала и моею манерой.

Поезд пришел на Московский вокзал, опоздав почти на час. Невский был покрыт лужами, в воде отражались серые с красными крышами дома. Над чугунной решет-

кой возвышался памятник: императрица стояла, высоко подняв голову, плечи засижены голубями, белые потоки змеятся по зеленым мундирам придворных... Зверинская улица встретила меня тишиной, отвесная стена шестизэтажного дома, слепые окна, лифт полз наверх гремя, жена без звонка открыла дверь и, заплакав, упала мне на грудь. «Ну ничего, ничего, как-нибудь, может, все и обойдется». — «Нет, это навсегда», — ответила она. Попробовала улыбнуться, но улыбка получилась жалкой. Девочки пришли из школы поздно, они тоже о чем-то догадывались, ужинали не на кухне, а в столовой за большим прямоугольным столом, перед дубовым буфетом с лакированными грушами и виноградом. Когда за углом проходил трамвай, груши качались. «Все разваливается», — сказала жена. — Сколько лет мы тут не жили? Десять?» Да, все было, все... Коричневые с зеленью сопки у Рыбачьего, тундра, мох у самых казарм. Идя тропинкой на службу в штаб, каждое утро я вспугивал белую сову. Тяжело двигая крыльями, она отлетала и падала среди кочек... А выходы в Варангер-фиорд? Тяжелая, холодная вода, даже летом снежные заряды, человек в такой воде живет только пятнадцать минут; атака конвоя, голубой клубящийся след дымовой завесы, выскакивающие из дыма катера; тускло блеснув, с хлопком вылетают из труб маслянистые стальные торпеды, подняв сноп брызг, падают в воду, запустылив, потянув след, уходят навстречу голубым, осыпанным пулеметными и орудийными вспышками кораблям. Катера, круто повернув, уносятся в спасительный дым, а позади уже вверх летят черные стальные лохмотья, корабли, оседая, тонут, и, только прорезав дымовую завесу, слышишь слабый звук взрыва... И вдруг: «Вы понимаете сами, здесь, на западе, война идет к концу, на Дальнем Востоке нужен настоящий человек, мы просмотрели всех, выбор пал на вас». — «Понимаю, это очень почетно, постараюсь оправдать доверие». «Героя, как минимум, ты там схватишь», — сказал мне кто-то на прощальной выпивке. Мы стояли около дома, вот-вот должна подойти машина, у ног бухта — длинный, брошенный в тундру стальной нож; полярная ночь и бледная желтая полоса на севере...

До сих пор не понимаю, что произошло потом, почему после четырех десантов, высаженных на японские пулеметы, после капитуляции четырех гарнизонов — взяты десятки тысяч солдат, взята неразрушенной огромная база с аэродромом и портом — вдруг приказ, я

не поверил своим ушам: преподаватель в училище, заштатная, как когда-то говорили, должность, кафедра, где ты один из десятка, шепот за спиной, интриги людей, просидевших всю войну в Баку и Астрахани. Что это, что? Кинулся к командующему флотом, тот пожал плечами. Я позвонил в Москву. «Да, да, это, вероятно, временно, мы все понимаем». Позвонил еще раз приятелю, тот смутился, долго мямлил что-то невразумительное — видно, рядом с ним в кабинете кто-то был. Я спросил: «А если я позвоню тебе вечером домой?» Он испугался: «Нет, нет, не надо...» Так кончились катера, морская вольница, выходы в море, после которых приходишь — кожаные штаны и куртка раскисли, на лице соль, бредешь, едва волоча ноги в тяжелых намокших унтах... Где еще может быть такое: «Товарищ комбриг, командир отряда Богун, входя в залив, передал на пост семафор: «Жене. Снимай штаны. Федя». Нигде...

Два человека могли убить Нефедова, только для них смерть его была выходом, только они боялись его, слабого, рассматривающего мир через прозрачное стекло своего детства. Я понял это, слушая рассказы Рассохи, единственного, кто делил с ним сперва койку в общежитии, потом каюту катера и кто согласился по моей просьбе поехать в канинскую тундру, чтобы найти станционную избу и в ней рукопись, которую упрямо и безнадежно писал Нефедов.

Да, уж если кто должен был знать его, то это Рассоха. Нефедов писал по ночам, на столе у них стоял самодельный ночник — лампа, прикрытая бумажным козырьком. Нефедов сидел сгорбив спину, острые плечи поднимались крыльями, на потолке шевелилась тень. Утром, уходя, он оставлял написанное на столе.

Рассоха прожил у него почти месяц. Для обоих это было тяжелое время: несостоявшиеся офицеры, выброшенные на улицу недоучки, они встретились на улице.

— Ну, даешь! И ты здесь?

— Выгнали после тебя.

— Но почему Ленинград? Ты-то почему?

— Я жил тут всю жизнь. Даже осталась комната.

— Ты этого никогда не говорил.

— А ты и не спрашивал.

С флота их выбросила центробежная сила — в тот год увольняли миллионы. Две песчинки, пролетев всю

страну, они столкнулись на Невском перед Александриной. Бронзовые голуби обреченно сновали у подножия памятника.

— Есть где жить?

— Негде.

— Остановишься у меня.

В первое же утро, когда Нефедов ушел, Рассоха взглянул в рукопись. Он увидел там войну, дни, полные томительного ожидания, торопливых походов и неоправданных убийств.

Им обоим было тогда по двадцать два. В бригаде они жили в одной комнате. Над койкой Нефедова висели вырезанные из бумаги часы со стрелкой. Вместо цифр были сделаны надписи — «пошел на службу», «в туалет», «в столовую», «прошвырнуть до сопки», «в городе у блядей». Уходя, он переставлял стрелку. К блядям он никогда не ходил, это была ложь от застенчивости, от понимания, что он не такой, как все. Неуверенность была главной его чертой. Торпедный катер он так и не привык считать ни домом, ни смыслом жизни.

Катер... Три тысячи лошадиных сил, двенадцать человек команды, две огромные металлические, перемазанные машинным маслом стальные рыбины в торпедных аппаратах, раскорячившихся на палубе.

— Нефедов, гирокомпас проверять относил?

Он краснеет. Он не умел лгать. Гирокомпас, как и весь катер, был американский, как проверять его — никто в бригаде не знал.

Когда он ставил стрелку на «блядей», это значило, что он доберется на попутке до города, подойдет к танцплощадке, постоит внутри у ограды, а когда подскочит прыщавая, намазанная, из портовых, вербованных, снимающая угол и поэтому готовая после танца идти с лейтенантом в дальний без фонарей конец сада, скажет заикаясь (в жизни он не заикается):

— Н-н-не танцую.

— Тогда угости папирской.

Он всегда брал с собой в увольнение пачку.

Сам он не курил.

Обратно, если повезет, ехал на дрезине. Железная дорога огибала бухту, по ней к нам ночью тайком привозили ящики с пулеметными лентами и что-то круглое, накрытое брезентом. На каждой платформе стоял часовой.

Если на танцы уходил Рассоха, то возвращался он под утро. «Ну, как?» — «Порядок». Это значило: в даль-

нем углу сада или за бараками, где кончается каменная стена, которой обнесен сад. На досках...

— Я был свиньей,— как-то сказал он мне.

До сих пор никто не знает, что заставило Нефедова уехать на север, в тундру, на Белое море в артель, промысляющую белых полярных дельфинов — белух. Когда я сказал Рассохе: «Знаешь что, надо найти его, мне нужно встретиться с ним. Ты точно видел, что он пишет о войне?» — он согласился и поехал, чтобы повторить его путь и неожиданно узнать о его смерти.

До белушников Нефедов добирался неделю. Летел через Архангельск, Мезень, оттуда сутки шел на промысловом дизельном судне. Утром перестал стучать мотор, и он, выйдя из душного темного кубрика на палубу, увидел склон низкой горы с белой полосой нарастающего снега и три карбаса, которые качались под берегом. Тусклая оловянная ночь уже превратилась в день, ниже снежника, на откосе, желтым пятном высветилась рубленая изба.

— Вот она, твоя Григорьевка! — сказал капитан. — И белушники здесь. Ишь ты — уже и шкуры тянут!..

Около карбасов плавали круглые сальные блины. Волоча их, лодки придвинулись к судну. Каждую шкуру поднимали стрелой. Вода, перемешанная с жиром, дождем стекала на палубу, матросы бегали по ней, скользя и ругаясь. Шкуры сбрасывали в трюм.

— Как промысляем? — крикнул, перегибаясь через борт, капитан.

— Помаленьку... Все, что ли?

— Пассажира возьмите.

Карбас, на котором Нефедов шел к берегу, с ходу ударился о гальку. Лодку вытащили. Артельщики в серых зековских шапках, в ватниках, на Нефедова кто смотрит равнодушно, кто настороженно. В стороне на камнях черными зловонными буграми — ободранные туши белух.

— Зима все спишет. — Подошел бригадир, покосился на Нефедова. — Сюда, сюда, лезьте за мной. Придется вам привыкать!

Начали карабкаться по крутой, в несколько сот ступенек, сбитой из досок и бревен лестнице, мимо камнепадов, мимо привязанной на середине склона своры ездовых собак. Наконец, когда Нефедову уже показалось — отнимутся ноги, лестница повернула и уперлась

в прилепившуюся к боку горы большую светлую некрашеную избу.

— Вот тут мы и живем. Заходите, сапоги только у дверей оставьте. Не побрезгуйте, живем как можем.

В избе просторно, вдоль стен сплошные в один ряд нары, впритык застелены одеялами, на одеялах брошены книги, письма, пачки табаку. Посреди избы чистый скобленный дощатый стол, вдоль него — скамьи. В углу под потолком лётка для воздуха. Передняя часть избы отгорожена — большая русская печь, за ситцевой, в цветочек, занавеской железные ножки кровати.

Бригадир негромко:

— Фелицата!

И из выгородки тотчас вышла темнолицая, скуластая, с огромными молодыми глазами.

— Постелю, постелю, сейчас все, все устрою. Ах ты, милый,— сказала, и Нефедов сразу понял: так ласково называет она здесь всех мужиков. — Ложку-то привез? У нас у всех свои.

Вытащил из чемодана деревянную расписную ложку, купленную в Ленинграде.

— Откуда же такая красивая? А мы все железными. — И, не дожидаясь ответа, ушла.

Лежал на жестких, застеленных тонкими одеялами нарах, прислушивался к себе, следил, как тлеет, перемещается где-то в легких боль. То отступала, то, как тупой медленный нож, снова подплывала к груди. «Нервы», — говорил Нефедов, но нервы тут были ни при чем. Через лётку затекал холодный воздух. Приподнялся, пошарил под подушкой, нащупал таблетку — под язык потекла горькая слюна, снова лег. За перегородкой у Фелицаты скрипнула дверь — кто-то вышел, загремел в сенях ведром, стукнул кружкой. Мучительно, тяжело вспомнилось: корейский порт, голубой корабль у причала, низкая кают-компания, на круглом столе снуют высохшие старческие руки, желтая табачная кожа, человек нехотя отвечает, и никто из сидящих за столом не видит того, что видит он: корабль на дне океана, каюта, зеленая вода, в ней шевелятся, движутся от одной стенки к другой раскисшие матросские робы, лейтенантские кители, тусклое рыбе золото нашивок... А еще: каменные фонари с зажженными внутри свечками, бумажные змеи с выпученными моргающими глазами, и на все это сыплется, сыплется... Нет, не снег — листки тетрадей, кривые строчки — судорожные попытки вспомнить, желтоватые листочки с карандашными пометками... Жизнь,

восстановленная по найденной в пепле металлической пряжке, по обрывку ткани, по бумажке с буквами, уцелевшей в огне... Долина, зажата между синим равнодушным морем и зелеными, такими же равнодушными холмами... Четыре реки, до краев заполненные зловонным, текущим медленно пеплом...

Солнечные жуки бродили по лицу, просыпался и сыпал снова, ветер, проникавший в избу из лётки, пошевелил волосы.

— Ты что стонешь? — спросил бригадир. — Толкаю тебя, толкаю... Ты чего?

— Выйду подышу.

На крыльце Фелицата.

— Скучаете? Небось не в городе. — Лениво потянулась, разогнула спину, отбросила со лба темную прядь. Был на ней черный халат, под ним платье на перламутровых пуговках; оттого, что кинула руки вверх, ткань, облепив тело, натянулась.

— Я-то что, — сказал. — Тебе удивляюсь: одна среди мужиков? Словом и то ведь не с кем перекинуться. Разве не так?

— Так. А чего с вами перекидываться? Мужики вы и есть мужики... Я с вашим братом привыкла.

— Дом небось вспоминаешь... Где он?

— Лампочку? — Он не понял. Губы ее ласково растянулись, у глаз разбежались морщинки. — Это мы так свою деревню зовем — Лампожню. Мезенские мы. Все дома у нас на песке стоят. Простор, ветра, знаете, сколько!

— В артели давно?

— Третье лето. Деньги держат. Отсюда, если подфартит и если бригадир закроет как надо, бумаги, можно привезти, — сказала и почему-то испуганно оглянулась.

— Но ведь трудно тебе: такую ораву накормить, обстирать...

— Не боюсь... Вот только в море ходить перестала, мы иной раз для себя рыбку ловим... Зверей этих, белух, я и на Мезени насмотрелась. Умницы! Семгу неводом берем; дори¹ только на середку вышла, ихних спин полно было — и вдруг исчезли. Это оттого, что наши мужики в них стрелять наладились, чтобы, значит, рыбу у них звери не отбивали. Днем, когда мы в карбасах, их нет, ушли, а ночью отойдешь от костров, ста-

¹ Дори (поморск.) — моторная большая лодка.

нешь у воды — будто кто белье полощет. Ничего не боятся. И, бывает, голос подают: гуднет или свистнет — потом замолчит. Зимой в прорубях так рассвистятся... Вы как — неженатый?

Вздыхнула:

— У вас, городских, все не так, как у нас. А знаете, что про вас уже говорят? Шпион. Будто не в артель поступать хотите, а высматриваете. Тут одну артель уже прикрыли, и под нашу, говорят, прокурор копает.

— Да ты что? Я действительно только посмотреть приехал.

— Боюсь я за вас.

Вздыхнула.

Выше избы, у самого снежника, на каменной гряде — на Камне, — будочка, продуваемая ветром, дозорный с биноклем: не мелькнул ли в море белые пенные точки, не идет ли стая?

Белух нет.

И снова Фелицата. Крыльцо. Ветер с севера, облака низко, туманное кольцо скатилось с сопочки, скользнуло по снежнику, зацепилось за рыжие тундровые кочки, завертелось. Расчесывает белым костяным гребнем смоляные гладкие волосы. Кончила, подперла ладонью щеку, чуть слышно запела:

— «Скажи, звезда, мне, золотая, зачем печально ты горишь»... Хорошая песня, да вот слов не знаю... Вы случайно ее не слышали?

— Откуда? Сроду не певал. Вот стихов много помню. Почитать?

— Не надо. Мне один залетка читал. Оказался прощелыга такой, вас ведь сразу не разглядишь.

— Верно. Я сам порой как задумаюсь... Кто нами ворочает? Где-то в подвале маховичок, повернули — и нет человека. Или наоборот — взлетел. А с чего бы ему взлететь? Пустышка. Я перед самым отлетом сюда по Невскому шел. Навстречу мне знакомый. Я его сразу узнал: даже не знакомый, а начальник по войне. Комбриг. Ему после войны обязательно надо адмиралом быть, а он как прежде — три звезды. Я к нему. Вздыхнул, говорит: «Преподаю». Значит, кто-то его срезал. И голова, и характер — все было, а вот кто-то за крыло — и сбил. Ты что — не слушаешь?

— Не понимаю я, что вы говорите... Слышали, как теперь пою? Еле слышно. Чего срамиться-то, голос сел. А ведь лучше меня в девках никто не певал. Все ветер да водка. Никогда не любила я ее, много и не пила,

пьяной не бывала, а рыбаку с холода без нее нельзя... Под резину, бывало, воды нальет, идешь, как лед на себе несешь. Сапоги сдерешь — ноги синие. Груды у меня и так крепкие были, придешь домой, скажешь мужику: «Троны!» — для баловства. Он тебе руку за пазуху сунет — да как вскрикнет: камень холодный. Походи, походи по ней, Мезени-матушке. Как не умерла, не знаю...

Родилась она в Лампожне, в крайнем от реки доме, пятистенном, синем от непрерывных дождей, от морозов, туманов, весь год объедающих некрашенные, топором ровненные стены. Дом стоял на песчаном взлобке и в разлив оказывался на острове. Около крыльца летом всегда лежала лодка, зимой ее затаскивали по взвозу под крышу.

Время было предвоенное, тихое, приезжих мало, замков деревня не знала.

Еще девчонкой, не сбросив драных платиц, стала красива. От прадедов — переселенцев из-за волжских татарских волоков — получила черную, как деготь, косу, скуластое, широкое, открытое лицо.

Любовь пришла рано. Случилось это на каком-то празднике посреди лета — не в Ильин ли день? На вытопанной земляной площадке у клуба стояли пестрой стайкой девки; парни для разогрева по одному выходили в круг, сделав несколько колен, возвращались. Когда Степан не станцевал — прошелся по кругу с лентой да так же небрежно и вышел — стал на место, кто-то из засидевшихся, застарелых девок сказал:

— Ну и парень — всем взял! Кому же ты, милоч, достанешься?

Фелицата танцевала со взрослыми девками тогда первое лето. Подумала: «Мне!»

Был Степан в те годы и верно хорош: рослый, тонкий, лицо чистое, волос волной, взгляд с ухмылкой. Руки золотые: первые трактора только появились — научился чинить. Стали проводить электричество (дизелек поставили в сарае) — лампочки по избам провел.

Чем она, сопля, его взяла, так в деревне никто и не понял. Одни вроде видели их, уезжающих за реку вечером, другие точно видели, что в гости Степан захаживал. Но засиживался он недолго. Провожать его на крыльцо выйдет — отец с матерью прислушиваются. Пошепчутся охнет дочка разок — видно, руки парня от

себя оторвала,— и дверь бух — он на улицу, она в избу. Дело обычное.

И вдруг — свадьба.

Закрутили громкую, на всю Лампожню, день перешел на ночь, а ночь на день, гости и с верховьев, и с низу приехали: отца уважали — один из первых сельсоветчиков, опора власти. Одного белого вина полмагазина на стол выставили.

Вечер майский долгий, комар не лютует, ночью на двор выбежишь, как в холодную воду. За первыми ночами Фелицате ничего тогда и не упомнилось; июньским днем, пьяная от счастья, вышла за старицу у рыбаков чего-нибудь к обеду купить — навстречу бежит соседка, волосы неприбраны, кофта от горла до пояса расстегнута, глаза и рот черные... «Война!»

И всего пожила она с мужем месяц и один день...

Худо стало в деревне: мужиков на войну взяли, продуктов в лавке — словно обрезало, коров на мясопоставки понемногу отобрали.

Как рыбацкие артели опустели, делать нечего, пошли бабы в рыбаки. Семгу в Мезени брать — сила нужна. Карбас один конец сети заводит, дори его поперек реки ведет. Второй, коренной, конец на берегу рач¹ держит.

Подалась и Фелицата в рыбацки. И на веслах в карбасах посидела, и на дори матросом грязные, тяжелые тросы потягала, и на раче постояла. Год прошел, второй, стали мужики с фронта — кто раненый, кто увечный — возвращаться. Баб в артели все меньше. А как демобилизованные через Архангельск да Мурманск хлынули — молодые парни свои места заняли, из баб осталась в артели Фелицата одна. От Степана писем нет — как ушел, так и ни листочка. Вдова.

Раз вытянула артель на песок мотню — полная серебряной рыбы, двумя лошаденками тащили, — смотрит Фелицата: по песчаной пойме от деревянных дрожащих на солнце домов кто-то идет. Охнула. Обмерло сердце. И человека еще не видно, тоненький муравей на задних лапках, а чувствует — Степан! Он. Добежала и упала ему на грудь.

Отгуляли — с возвращением, с победой! Степан за столом в матросской форме (ко флоту был приписан) сидел. Спросили: «Что медалей мало?» Ответил: «Такая служба». — «А что за служба?» Ответил мудреным сло-

¹ Рач (поморск.) — кол, к которому на берегу крепят коренной конец невода. Стоять на раче — upravляться с ним.

вом — «девиация». Про такую службу сроду в деревне никто и не слыхивал, хотя за столом люди и с образованием были, и на флоте кое-кто побывал.

А Степан сразу почувствовал внимание, дождался тишины и веско, не объясняя, бросил: «Сказать, к примеру, компас путь показывает неправильный, а ошибка его известна: девиация плюс склонение. Неясно? У всех налито? За здоровье моих земляков!»

С этой девиации все и началось. Мало того, что понять ее никто в деревне не смог, работать по другой специальности парень не захотел. А какая девиация в селе? На всю Лампожню один компас, и тот в школе, в кабинете географии, с ремешком на руку. Тогда Степан — в Мезень. Нашел там гидрографическую партию, вернулся, сказал: устроился сезонно. А это значит — летом у жены мужа нет.

Но пустые бабьи ночи — это еще полбеды. Начал Степан из Мезени приезжать, приняв... И еще: говорун он и раньше был хороший, а теперь удержу нет, уйдет на свадьбу или на рождение, соберет вокруг себя молодых девок и давай им про флотскую службу и про свою девиацию рассказывать. А много ли им, дурам, нужно? Под утро домой пришел, завалился на постель, от волос пудрой несет, в штанах — песок. С кем он этого песку набрал?

За время рыбацкой четырехлетней страды руки у Фелицаты что у мужика стали. Раз Степан утром пришел, только мордой пьяной в подушку ткнулся — сгребла его в охапку и вынесла, на дорогу положила, рядом чемодан поставила, в чемодане белье стирное, чистенькое, глаженое. Рядом в бумажном пакете — гражданский костюм, совсем новый.

Дверь заперла и пошла на Мезень, дальше веслом махать.

Течет река, тащит песок, все дальше уходит от берега Лампожня. Вот уже и автобус до города пустили. Рыбы в реке все меньше — на глазах уловы слабеют: где в мотне сотня семужных серебряных бревен лежала, теперь хорошо десяток, а то две-три... Рыба в цене — странный гость стал наведываться: или моторный катер подскочит, или вездеход-«газик» по песку подползет. Так, мол, и так, отойдемте в сторону, надо поговорить...

Фелицату в ту пору уже бригадиром сделали. Раз идет по деревне (председатель ее вызывал, бригада одна на реке осталась), видит: стоит посреди улицы «га-

зик», скаты — в мокром песке. Сразу видно — откуда. В «газике» двое, оба молодые, в черном, в кожаном. На заднем сиденье что-то парусинкой прикрыто. Фелицата носом вдохнула — рыбой разит! Парусину сдернула — две семужки, икряные, каждая кило по шесть. Она одну из машины на дорогу успела сбросить, вторую на руках держит. Те, что в коже, увидели, один сразу соскочил, руку зачем-то в карман вложил (успела подумать: может, у него там деньги, а может, нож?), вразвалочку подходит. И второй начал вылезать, уже ноги спустил. Оглянулась — мужиков своих нет. И такая злость взяла, слезы к горлу, а руки сами рыбу, как топор, переложили, да наискосок она первого снизу по виску рыбой. Он руку в кармане держал, как махнул ею — только сталь, улетающая, на солнце вспыхнула, — захрипел и на бок. Из уха — кровь... Второй — назад, в машину, взвыл мотор, из-под колес песок фонтаном. Машина, как стреноженный конь, из стороны в сторону — и в канаву.

Народ сошелся. Вытащили машину, полумертвого в больницу отвезли. Товарищ его сбежал.

Поняла деревня: бригадир в суд потянут, надо защищать. Стали готовиться; те, кто семгу продал, признались, общественного защитника — учителя — выделили. И верно: через неделю телефонограмма приходит — вызывают Фелицату в больницу. Не иначе, думают, тот, кого она рыбой рубанула, умер, следствие будет. Проводили ее на автобусе. А на другой день снова на дороге «газик». Исполкомовский. Смотрят — и замолчали: из «газика» Фелицата вылезает и помогает Степану, за одну руку его ведет, второй руки у парня нет. Оказалось, прохиндеи эти пропали, и слуху о них не было, а вызывали ее за мужем — ему во время швартовки сейнера тросом руку отрезало. Трезвый был или по пьянке беда — Фелицата этого никогда никому не сказала и ему запретила.

— Я его здорового на улицу выгнала, я его увечного и беру...

Повыше избы — снежник, за ним на плоской вершине врезанный в серое свинцовое небо обетный крест.

Шел тропинкой, льдистые холодные зерна завалились за сапоги, вскарабкался к кресту. У самой земли, на отесанном с одной стороны основании ножом по зеленому от сырости дереву — «Боже, дай нам ветра». Вот чего

просили когда-то, отчего поставили: видно, в трудную минуту пришел к мореходам на помощь ветер.

Расстелил ватник, прилег. Прямо в небо убегает тронутый плесенью, почернелый, граненый ствол, у головы облачные нити, мир опрокинут, через него наискосок летит, не шевеля крыльями, гусь. Около уха запела мошка, вырвал пучок мха, стал отмахиваться, перед глазами белые точки...

...Выйдя из города, Кадзума стряхнул с себя белый пепел. Он был тогда везде — в складках кителя, в карманах брюк, под шнурками ботинок, кислая на вкус серая пыль...

Когда Нефедов очнулся, гусь по-прежнему висел в небе. Понял: время стояло. Подождав, когда птица улетит, приподнялся, смахнул мошек с лица. По морю прошла черная полоса, добежав до берега, завихрилась песок. У становой избы звякнула цепь — кто-то отвязывал собаку. Сейчас поведет вниз, где лежат раздутые резиновые тела белух. Собака присядет, отвалит от шкуры клочок, по уши зароется в красно-черное мясо. Будет, давясь, молча глотать, вытащит морду из прогрызенной в белушьем боку дыры, сытыми, погасшими глазами посмотрит на хозяина, побрякивая цепью, стуча когтями, побредет деревянными ступенями наверх... Отчего-то тягостно-неловко заходить в избу, садиться со всеми за стол, молча подставлять к бачку с желтой ухой миску... Настороженно косятся... Напротив Нефедова небритый, волос с сединой, как заметит, что Нефедов смотрит, — тотчас отведет глаза... Неужели встречались?.. Да нет, не может быть.

Ухватился рукою за крест, подтянулся, встал.

На круглых, так и поднимают юбку, коленях — белые ловкие пальцы, губы, чтобы не смеялись, собрала кружком.

— Так вы как, хорошо с женой живете?

— Говорю тебе — не женат.

— А вы, я вижу, и фотограф.

— Какой там! Умею, конечно. Но всерьез — это я в первый раз. Решил, надо же попробовать.

— А если я вас попрошу мой портрет сделать?

— Не знаю, получится ли. Ну, хорошо, давай.

Блестит снежник, над Камнем неторопливо катит по коричневому буграм солнце, из-за кочки выпорхнула пестрая, с воробья, пуночка. Фелицата сбросила грязный, в

рыбьей крови, халат, волосы откинула; отошел, поймал в видоискатель солнечный диск, стал приседать, опускать его на плечо женщины — не получилось, подошел, взял ладонями лицо.

— Ой, да что это вы руки распускаете?

— Ну, кажется, так. Не шевелись.

— А снимок-то какой будет, в краске?

— Цветной.

Снова сели, Нефедов спрятал светофильтр, прищурился, проверил, сколько осталось кадров. Женщина усмехнулась чему-то своему, потянулась, вытянула ноги, покусанные мошкой, исцарапанные, выше лодыжек — твердые, точеные. У матери в спальне в городской квартире стоял туалетный столик желтой карельской березы. Его все время хотелось трогать руками.

Сказала:

— Я молодая была, так любила сниматься... У меня этих карточек дома — вся стена! Посмотришь, как вспомнишь. Прокатилась жизнь, и все не верится, все кажется — только начало.

— Ну уж сказала! Ты тут небось нарасхват, есть кому поухаживать!

— Вы что? Разве можно на глазах? В одной артели мужики из-за такой, как я, дуры порезали друг друга. Тут нельзя... А вы так по-честному ведь и не сказали: женаты?

Ступенька крыльца узкая, Нефедов чувствует коленом полную ногу женщины. Фелицата, щурясь, улыбаясь, ждет.

— И ребеночка нет? А вы не жмитесь ко мне, я сейчас на траву свалюсь.

— Тебя не поймешь: то не глядишь на меня, то все расспрашиваешь.

— А что меня понимать? Про это всегда интересно. Меня бабы знают как ненавидят? У-у! Скорее бы, думаю, они все подошли... А вы за женой долго ухаживали?

— Да нет ее у меня.

Клонится, ласково коснулась плечом, глаза — зеленая Мезень, разлив по весне, лодка у крыльца, незаметно выскользнула, пока спит муж, брякнуло кольцо, плеснуло одно весло, второе... Куда, к какой избе поплыла? А может, и не изба, а песчаный, в половодье, взлобок, краснотал, гибкие, податливые прутья...

— За мной бы поухаживали. Или я не в вашем вкусе?

— За тобой поухаживаешь! Пулю быстро найдут...

— Это точно. А надо уметь. Вот если бы я, скажем, ночью вам свидание назначила?..

Заулыбалась, сунула в рот травинку.

— Уже и испугались?

— Н-нет... С чего мне пугаться?

Поднялась, наклонилась к самому лицу, вполголоса (едва расслышал):

— Как все заснут, в час около креста, у снежника... Не побойтесь? — и, не оборачиваясь, ушла.

«Как же это она так, смело?»

Внизу завозилась собака. Лязгая цепью, вылезла на ступени, хрипло завывала. Затряслась лестница, сверху от избы спускался бригадир.

Проходя мимо Нефедова, едва разжимая рот, сказал:

— Вы с Фелицатой поосторожнее. И аппарат лучше вам убрать.

Ушел.

По чистому подволоку бродят светлые тени, стрелки на часах двигаются, прилипая, задерживаясь на цифрах... Нефедов лежит на спине, прислушиваясь к дыханию охотников, ощущая волосами сильное, ровное движение воздуха. Забормотал, вскрикнул сосед, кто-то встал по малой нужде, прошлепал босыми ногами по полу, наткнулся в сенях на дверь, сонно выругался, ушел, вернулся, упал на нары и тотчас затих. Стрелки подползли к двенадцати. Стараясь не шуметь, вылез из-под одеяла, с бьющимся сердцем, беззвучно, на носках, прошел к двери. Вот и кухня — ситцевая узорчатая занавеска, у Фелицаты тихо — уже ушла. Взял сапоги, вынес их на крыльцо, потихоньку надел. Когда вступил на тропу, — покатился вниз, шелкнул камень, взбrehнула собака. Нефедов присел, сделал вид, что поправляет сапог, из избы никто не вышел. Стараясь ступать осторожно, пошел вверх, подумал, что, когда взберется к снежнику, станет замечен из окна в кухне — кто-нибудь встанет попить воды, увидит. Сошел с дорожки и по пояс в ломкой траве, сапоги срываются, с хрустом давят мокрые корни, побрел в обход. Вышел к снежнику далеко от избы. Слабый холодный ветер, солнце на севере висит низко, каплей, вот-вот сорвется, внизу море — стальное, тяжелое. Вдоль снежника зашагал к кресту, тот поднялся неожиданно, как человек. Нефедов сел на

битый камень, прислонился спиной, услышал: кто-то идет... Нет, почудилось. Подумал: а на чем с ней будем сидеть? Застучало сердце. Сама принесет? Над головой прошмыгнула толстая белая птица. Молча, бесшумно села рядом и тут же уставилась, смотрит в упор.

Стрелки соединились. Начало второго. Где же Фе-лицата? Походил у креста, вспомнил, как спросила: «А вы не боитесь?» — на круглых плечах платок, полные локти, руки обнажены, сапоги на ногах как литые. «Я из них, как тесто из квашни, лезу».

Снова присел — в висках забилась кровь, перед глазами полетели золотые мухи; часы заторопились: не успел опомниться — третий час, и окончательно понял: не придет.

Медленно, уже не скрываясь, побрел назад. Солнце пузырем над Камнем, на снежнике змеится огненная полоса, облачные нити вытягиваются с севера на юг — там, в вышине, задуло, скоро спустится ветер, засвистит и здесь. Не заметил, как повернул в сторону от избы, из-за поворота поднялась, выскочила будочка, под козырьком фанерным у стены лавка, на ней кто-то сидит спиной. Скрипнул неосторожно камнем — дозорный повернулся, мотнул на груди биноклем, узнав Нефедова, встал и сразу же в короткую с сединой бороду:

— Наконец-то пришел, а я тебя не первый день жду.

Нефедов растерялся:

— Как это — ждете? Мы разве знакомы?

— Присмотрись, присмотрись. Я-то тебя сразу узнал.

Чуть тронутое оспой лицо... Что-то начинает всплывать: вот только борода и эта шапка... Нет, бороды не было.

— Неужели на флоте встречались? Я сейчас вспомню.

— Напрягись, напрягись... На флоте, а то где же?

И тогда сразу: ну, конечно, бригада, оперуполномоченный СМЕРШ. Он. И как его сразу не узнал? Точно — он.

Вывернул карман, достал смятую пачку, выколотил сигарету, жадно, сплевывая, стал курить, дохнул дымом:

— Фамилию твою не соображу. Помню, что был ты лейтенант.

— Лейтенант Нефедов.

И отчего-то сразу выскочила и фамилия смерша: Цыгун!

— Чего это тебя сюда занесло?

Наклонился, приблизил щетину, глаза сделались белыми. Пропали зрачки.

— Да, понимаете, я здесь, можно сказать, случайно. Лето надо было где-то провести, услышал про артель, показалось: может быть интересно, все-таки север, охота. Заодно, сказали, можно и подзаработать. Думал, пробуду до осени, а теперь, вижу, я тут чужой, напрасно приехал, тут не по мне.

«Что это я, словно оправдываюсь?»

— А вот хочу спросить: что это ты все бумажками шуршишь, а?

— Вам-то какое дело?

— Все пишешь, пишешь... Учти, здесь этого не любят... Выпить случайно в заначке у тебя нет? Не привез?

— Нет.

— И правильно сделал. Сухой закон. Узнает бригадир — в пыль сотрет. Волки. Увидишь, какие они тут... А я-то все думаю: зачем он здесь? Ты не в органах ли сейчас?

— Да вы что?

Откашлялся, выкатил еще одну сигарету, раскусил конец.

— Учти, люди здесь делают деньги. Артель чужих не любит. И брось писать. А еще лучше — уезжай.

Назад шел той же тропинкой, вверх в облачных натеках крест... Цыгун... Надо же куда его занесло!

— Знакомьтесь,— сказал я тогда,— ваш командир звена.

Нефедов растерянно смотрел на крупного, плечистого Рассоху. Здесь, в штабе, все тяготило, пугало его: обитые железом двери, часовые в коридорах, длинная комната с зарешеченными окнами, длинный, покрытый зеленым сукном стол. Одна стена была закрыта шторой. Я раздвинул ее — на высокой, до потолка, карте с белым океаном и желтыми островами зарябили прикрепленные булавками корабли.

В те дни мы ждали еще одну партию американских катеров.

— Ваш катер где-то здесь,— сказал я Нефедову.

Указка поплыла от Новой Гвинеи к Алеутам. Где-то там на волнах качался транспорт, палуба которого устлана катерами. Катера дорогого красного дерева. Изпод брезента выпирают, как пальцы, орудийные стволы, лезут трубы торпедных аппаратов... Указка задела Коулдбей и повернула к Камчатке.

— Через месяц, думаю, транспорт придет. А пока поплавайте вместе, присмотритесь друг к другу. Дело в том...

Я всегда считал, что на больших катерах кроме командира нужен еще и штурман.

В стенном шкафу у меня лежала стопка книг: «Навигация» Сакеллари, «Мореходная астрономия» Хлюстина и томик стихов. В юности я писал стихи, подражая Северянину. В Морском корпусе это прошло, но тогда я начал завидовать Бунину.

Жалко, что в тот час, в те минуты Нефедов не заметил книг...

Затем я отпустил их. Сейчас, спустя годы, я повторяю их путь, третьим выхожу из здания штаба, около выхода чадит закопанная в землю бочка, в ней плавают коричневые окурки.

— Держи. — Рассоха вытащил из кармана «Беломор». — Подымим?

— Я не курю.

— Зачем же тебя к нам прислали? Запомни, главное в службе — перекур. Ну, ладно. Потопали на корабли!

Их катер стоял у причала крайним. Он был раздут в скулах и раскрашен черными и зелеными пятнами. Американцы придумали это для того, чтобы прятать катера на Новой Гвинее в мангровых зарослях.

— Боцман, покажите лейтенанту катер!

Боцманом у Рассохи был хохол из Грайворона, здоровенный мужик с рыжими баками и рачьими глазами.

Нефедов пошел за ним, неуверенно переставляя ноги, — палуба покрашена шершавой, как наждак, смесью краски с цементом.

— Скоростенка мала, а так ничего. На Сахалин и обратно можем сходить, — сказал боцман. — На Сахалине, говорят, корейцы выращивают помидоры во! — Он сложил два кулака. — Что еще вам показать? Торпедные аппараты, спаренные пулеметы, пушку?.. Моторное отделение смотреть будем?

Когда Нефедов спустился в каюту, Рассоха показал ему его место. Их койки были как в вагоне: одна над другой.

— Глянь, что они сюда понапихали. — Он зло выдвигал один ящик стола за другим. — Тут презервативы были. Целое ведро выкинул... А это мягкие шприцы — кокаин, морфий. Я их оставил — пригодятся для раненых.

Он выгреб пачку ярких, как конфетные обертки, книжечек.

Увидав английские буквы, Нефедов оживился.

— Дай-ка, дай-ка сюда!... «Мальчик спрашивает у отца: кто такой статистик?» Отец отвечает: «Человек, который ходит по домам и увеличивает население». Смешно? Понимаешь, тут игра слов: в английском языке...

— Кончай,— сказал Рассоха.— Видали, он по-английски рубит!.. Сегодня же с боцманом еще раз обойдешь катер. Чтобы знал его как свои пять. В штаб сходишь, получишь карты. Штурман из тебя, конечно, хреновый... Ладно, вдвоем все равно лучше.

Нефедова взяли для пробы в море, на выход.

В бригаде кроме больших американских катеров были еще и свои, металлические, маленькие. Один из них собирался идти замерять скорость.

Нефедову сказали: «Оденься. Ты что, чумичка, у нас так в море не ходят». Пришлось раздеваться до белья, надевать сперва еще одно, шерстяное, поверх него резиновый, похожий на водолазный, костюм, на голову — летный шлем. Когда оделся, его поставили позади маленькой, узкой, каплеобразной рубки, сказали: «Держись, а то смое!» Он вцепился в поручни.

Катер был низкий, горбатый, похожий на перевернутую алюминиевую лодку. Перед Нефедовым из рубки торчали две головы — командир и стрелок. Черные стволы пулеметов, катаясь по турели, едва не задевали шлем. Словно взорвавшись, завелись моторы, под ногами задрожала скользкая от воды и масла палуба. Отдали пеньковые концы, катер отпрыгнул от причала, отскочил, как выскакивает из станка ракета, и тотчас помчался, раздвигая корпусом воду (если смотреть сверху — утюг, скользящий по белой льняной гладкой, как простыня, воде, а позади перемешанная винтами пенная дорожка — протюженный след).

На середине бухты катер круто повернул — Нефедов охнул, чуть не отпустил поручни,— закивал носом идущей с моря волне, потом как-то дико взревел, затрясся, приподнял нос и помчался, низко опустив корму,— она оказалась ниже пенного, бьющего из-под винтов буруна. Домчались до входного мыса, прошли его, ударились о первую идущую с моря волну,— веер брызг, они обрушились как водопад. Нефедов снова охнул, изо всех сил вцепился в ограждение рубки — поручни тоненькие, жиденькие, вот-вот оторвутся,— втянул голову в плечи, по-

пробовал смотреть вперед — еще сноп соленой воды ударил в лицо, ослепил, катер с размаху взлетел, рухнул, да так, что у Нефедова разъехались ноги. Оставшееся время, пока катер бегал взад-вперед, показалось бесконечным, простоял, скорчившись, спрятав лицо, вцепившись белыми разбухшими от воды пальцами в поручень, думая: «Господи, ну что же это за такая проклятая служба?..» И только потом понял: именно за невероятную трудность и необычность ее любят, и никто не согласен променять на другую...

В те дни все разговоры в бригаде вертелись вокруг кулагинских катеров. Их называли кулагинскими по фамилии инженера — он отвечал за них. Катера были режимными, стояли в отдельном ангаре, а их экипажи, матросы и командиры, держались особняком.

Случилось вот что.

В то утро, едва затих ветерок, решили вывести в море звено — атака двумя катерами корабля-цели. Сверху за атакой должна была наблюдать летающая лодка.

Катера вышли в море, команды проверили аппаратуру и перешли на тральщик, который обеспечивал выход. Дали команду: «Завести моторы!» Катера выбросили из-под бортов черные лепешки дыма, клюнули носами и, тяжело переваливаясь с волны на волну, пошли туда, где на горизонте уже дрожал черный тычок — мачта корабля-цели.

Как он исчез, не заметил никто, должно быть, накатил туман, а когда прояснело, увидели: одного катера нет. Послали на поиски лодку, летчик доложил: «Не вижу, мешает низкая облачность».

Через несколько часов его обнаружили рыбаки. Катер стоял, покачиваясь на волнах. С рыбацкого сейнера окликнули:

— Заглох? Не нужна помощь?

В ответ тишина.

Один из рыбаков перепрыгнул на катер.

В командирской рубке, у пулеметов, в машинном отделении — ни души. Моторы горячие. Куда же девалась команда? Решили взять на буксир и тащить в гавань, как вдруг моторы сами по себе с ревом завелись, рулевое колесо сделало оборот, катер вздрогнул и послушно пополз вперед. Рыбака, который оставался на катере и стоял около рубки, затрясло: ему почудилось, что у моторов, около штурвала стоят туманные челове-

ческие фигуры. Как был, в штанах, в ватнике, бросился за борт...

— Рыбаки будут молчать, с ними поговорили,— сказал мне потом командующий флотом.— А вас предупреждаю. Чтобы такого больше не повторилось, за такой техникой, за ее испытаниями смотреть в оба. Под личную ответственность...

Это была угроза.

Когда Нефедов в первый раз увидел его, Кулагин сидел перед ангаром на траве с одним из командиров. Кожаные куртки расстегнуты, на траве термос с чаем. Ангар построили когда-то для себя летчики, сохранился спуск, по которому стаскивали в воду лодки. Лодки были белые, брюхатые, с высоко поднятым крылом. Их заводили в ангар, как заводят в сарай коров — похлопывая по толстым бокам.

Двери ангара открыты, в глубине парят в воздухе поднятые на блоки катера.

— Они пойдут, я тебе голову наотрез даю, вот так пойдут, они у меня уже два раза сами от причала отходили,— уверял командир катера. Он говорил, наполняя кружку, расплескивая чай. Шлем его лежал на траве. Кулагин терпеливо слушал. — Там, наверху, они ничего не понимают. Начальство! Как ни приедут, так что-нибудь случится. А когда хорошо — их нет. Что, разве не так?

— При чем тут они? Дело начальства — приехать и увидеть. Они приезжают, а ты даже у пирса не можешь завестись. Или в море — остановился и болтаешься... А потом тебя на буксире, на глазах у всех, в базу за ноздрю тащат. Что, они за это должны хвалить?

Кулагин говорил вяло: командир тоже был прав, люди отдали управляемым катерам всю жизнь. Когда их вербовали, говорили: идете на самую совершенную в мире технику. Передний край. Когда катер впервые без людей сам вышел в море, выстрелил торпеду, развернулся и на глазах у всех, как по чертежу, вошел в базу, такое ликование было! Вся бригада собралась. А на сигнальном посту не поняли, стали жаловаться: «Катер вошел, не ответив на сигналы и не показав позывные». А кто их покажет, если на катере ни души. Корабль с привидениями.

На причале зашумели — матросы волокли на палках добытое из воды существо: розовое, блестящее, похожее

на кусок студня. Животное было в коричневых трупных пятнах, от него пахло остро, тревожно.

— Еще одного тащите? Выбросить немедленно на помойку,— сказал Кулагин. Несли осьминога.— Вам лишь бы не работать. Уборку на катере сделали?

«Что это за запах? — подумал Нефедов. — Почему такой странный запах? Muskus. Он пахнет мускусом».

Идя домой через рошу, Суги свернул на боковую тропинку — возникла поляна, посреди которой лежали серые округлые камни, они лежали в беспорядке, но этот беспорядок был нарочит и вызывал желание обойти поляну кругом и пересчитать камни. Над деревьями парила двукрылая расчлененная крыша храма, самого большого в Кириидзуми, храм прятался за соснами и за густой туей. Открылась аллея, вдоль нее рядами белые каменные столбики-фонари, превращенные искусными руками мастеров в игрушечные дома, в каждом прорезаны окна, сделаны балкончики, покатые крыши украшены тонкими пластинками, зарешеченные окна скрывают пустоту, в праздники вспыхнут они сотнями красноватых помещенных внутрь огней, превратят лес в волшебную страну, где из черных застывших луж поднимут головы миролюбивые водяные человечки — каппа, а из упавшего персикового плода выйдет чудо-мальчик Момотаро.

Позади хрустнула ветка, в плечо ударил и рассыпался ком земли, из-за кустов выбежал, задыхаясь, Ямадо.

— Ты что, забыл? Мать зовет, пришел учитель фехтования.

— Успеем. Я не хочу заниматься фехтованием.

— Ну и дурак! Пощупай у меня мускулы. Фехтование — это то, что надо. Не плетись, идем быстрее

— Все теперь без конца говорят про Маньчжоу-Го, про Циндао и Формозу¹. Ты заметил, они все время что-то обсуждают, а стоит нам подойти, молчат. Мать говорила соседке: «Дядя продает ценные бумаги и скупает камни». Та ответила: «Он прав — заводы и дома горят, а жемчуг и алмазы могут ждать». Почему должны гореть дома?

— Какое мне дело, мне безразлично, что будет закапывать дядя. Когда он приезжал последний раз, я ви-

¹ Маньчжоу-Го, Формоза — японские, до войны, названия Маньчжурии, Тайваня.

дел: на ночь он вынимает челюсть и кладет ее в стакан. Я хотел вытащить ее и спрятать, но он все время просыпался. Знаешь, какого она цвета? Розовая. Значит, его зубы тоже не настоящие, это не его зубы.

— На улицах стало больше людей в хаки.

— Выбрось из головы. Вчера мне дали покурить сигару. Две затяжки. Говорят, начинать надо с папирос.

— Это война, Ямадо. Мы ходим в школу, учим названия островов, поливаем в пробирках железные опилки кислотой, а в Китае солдаты уже проползают под проволокой. Наш отец не бывает дома месяцами. Когда он был последний раз? Помнишь, он взял нас собой в порт и провел на миноносце?

— Хороший корабль, а офицеры называли его «посудина». Они говорили: «Ждем плохой погоды и только тогда пойдем в море стрелять». Один посадил меня в кресло наводчика и позволил крутить ручки. Тебе не понравилось?

— Нет. Офицеры говорили одно и то же. Даже когда восхищались нами. При этом и лица были у них одинаковые, и прически. Я слышал, как отец кричал на одного, он кричал, а тот все время твердил: «Это не повторится никогда, никогда, никогда...» Отец отдаст нас в морское училище. Это ведь страшно — всю жизнь служить на корабле.

— А отчего бы и нет? Мне понравилась каюта командира. Он всегда уступает ее отцу. И еще отец поднимает на мачте свой флаг. У него есть свой флаг, как у императора или министра.

Суги собрал в кармане крошки и стал катать из них шарик.

— Я вчера написал стихотворение,— сказал он.— «Желтый лист отделился от ветки, медленно падает вниз». Ну, как?

— Ерунда.

— Понимаешь, эти стихи неправильно написаны. В них нарушено одно правило. Сказать какое?

— Плюнь и забудь. Завтра вся школа пойдет на проводы новобранцев. Директор опять будет говорить, что Азию надо собрать всю под одну крышу. Скоро и он напялит зеленый мундир... Неужели тебе не хочется попробовать сигару? Или приложиться к бутылочке sake? Меня так прямо и тянет.

Они вошли в дом. Послышалось едва слышное шарканье — мать вошла в комнату, осторожно закрыла за собой раздвижную дверь и сказала:

— Вы опаздываете, я хотела уже отпустить учителя. Нельзя так относиться к урокам. Если вы будете плохо учиться, вы огорчите своего отца.

Родился Ито на Южном Сахалине, в маленьком городке на берегу Татарского пролива. Дом, в котором временно, приехав на заработки, жила семья, был дощатый, двухэтажный, обвешанный со всех сторон тонкими дымовыми трубами, черный от копоти и сырости. Был он так перенаселен, что, казалось, в нем одновременно говорят, стучат, двигаются сто раз по сто жильцов. Каждый чувствовал себя в этом северном холодном городке существом случайным, и, встречаясь, люди каждый раз заводили разговор о родных, теплых, покинутых в поисках заработка местах. Дома здесь стояли, вытянувшись шеренгой вдоль двух врезанных в сопки улиц, улицы были засыпаны шлаком — топить приходилось всю зиму из-за морозов и половину лета из-за туманов. Когда поднимался ветер, черные вихри бродили между домами, угольная пыль лезла в окна, засыпала циновки в комнатах, скрипела на зубах и оседала на лицах. Отец рыбачил, вместе с двумя товарищами он каждую неделю уходил в море на моторном низкобортном кавасаки. Покачивалась мачта, на корме около руля чернела фигурка отца, Ито стоял на молу — тот отгораживал от моря ковш, в котором отстаивались, вернувшись с лова, кавасаки, — и смотрел им вслед. Возвращаясь, весь улов сдавали перекупщику, но отец всегда приносил что-нибудь домой, показывал сыну: рыбу-собаку с огромным бульдожьим ртом и безобразными выростами на голове, похожего на бутылку коричневого стекла кальмара с десятью мертвыми белыми щупальцами и вороночкой, торчащей из брюха. Стоило нажать на брюхо — и из воронки тонкой струйкой выливалась остро пахнущая черная жидкость. У колючих, живых, с испуганно вытаращенными глазами крабов мать отламывала ноги и, набив ими ведро, залив водой, ставила ведро на очаг.

Запомнился день, когда над островом и проливом пронесся тайфун: по улице невозможно было идти, ветер сбивал с ног, он понес Ито по дороге, по дощатому тротуару, нес до тех пор, пока Ито, упав, не распластался, как ящерица, и не нашел сперва себе убежище в яме, а потом не спрятался за углом дома. Два барака в городе рухнули, и ветер отнес крики раненых за сопки, за

жалкие огородики, которыми, как шрамами, были обезображены зеленые склоны. Но не запомнился день, когда мать и Ито наконец смирились с мыслью, что отец не вернется. Они долго ходили на мол встречать проходящие с моря кавасаки, спрашивали о тех, кто был в тот день в море. Некоторых унесло к советскому берегу, их задержали русские пограничники, и прошли месяцы, прежде чем из далекой Москвы пришло разрешение их отпустить. Отца не оказалось и среди них.

— Надо уезжать, — плача, сказала мать, и они уехали на Сайпан, вернулись в ее родную деревню на западном берегу острова, где мать с трудом нашла работу — нанялась на червоводню.

Она приходила с работы поздно вечером, долго мыла зеленые, перепачканные туговой листвой руки, разжигала на дворе чугунную печку и варила неизменную лепешку, которой кормила его изо дня в день. Лепешку приправляла соусом. Они садились вдвоем за низенький старый столик и, торопясь, ели, обжигая рты горячим скользким тестом.

Хозяин, у которого работала мать, уже много лет держал ферму. Ферма была маленькая — шестеро работниц. Первое время Ито часто ходил с матерью, видел, как она посыпает листьями стоящие на полках во много рядов рамы и как на них копошатся толстые белые червяки, каждый с коротким рогом на спинке. В червоводне пахло вялым листом, было тихо, но если прислушаться, то слышно было, как копошатся на кормовых этажерках черви. Когда подходило время, работницы втыкали в рамы пучки прутьев, черви переползали на них и окукливались. На каждом прутике появлялись висющие в воздухе, поддерживаемые едва видными тонкими блестящими нитями коконы. Их собирали, обдавали горячим паром, а затем женщины становились у столов и, отделив от кокона кончик нити, начинали осторожно сматывать каждую нить отдельно на деревянные точеные сердечники. Поскрипывая, жужжали станочки, женщины вертели ручки, каждая внимательно всматривалась — правильно ли ложится, не оборвалась ли нить?

Так было каждое лето, и Ито, наконец, перестал ходить к матери на работу.

Набегавшись по улицам, он теперь часто приходил к соседу старику Ними, и тот рассказывал истории, в

которых, подчиняясь неустойчивой старческой памяти, соединялись вымысел и действительность.

Так однажды старик рассказал, что в давние времена император стал страдать по ночам от приступов острой боли в руках и поясице. Выйдя как-то на галерею дворца, он увидел в темно-синем звездном небе медленно и зловеще плывущее облако, а когда оно скрылось за горизонтом, боль в руках и поясице прошла. Император подбежал к часам — на них было два часа полуночи. И тогда, поняв, что причина его болезни сосредоточена в этом облаке, он велел позвать к себе лучника Гендзамии Иоримасу и приказал ему уничтожить облако. Иоримаса, спрятавшись на галерее, стал ночь за ночью подкарауливать облако и, когда наконец оно появилось, поразил его несколькими стрелами. От этого в ночном звездном небе раздался ужасный звук, похожий и на крик, и на стон, и на крышу дворца свалился дикий зверь с головой обезьяны, телом тигра, хвостом лисы и ногами барсука. Животное издало звук, который все разобрали как «Нуе», и умерло, а когда император и лучник подняли головы, то увидели, что темное облако в небе исчезло.

— Император подарил Иоримасе меч и платье, а тело зверя приказал закопать,— закончил старик.

— Я хотел бы научиться летать,— неожиданно сказал Ито. — Как ты думаешь, Ниими, смог бы я научиться летать?

— Людей, которые летают на самолетах, называют летчиками, но для того чтобы выучиться на летчика, надо быть богатым человеком,— покачав головой, ответил старик. — Ты никогда им не станешь.

Едва Ито исполнилось пятнадцать лет, он сказал матери:

— Тебе будет легче одной, если я уеду в город. Что тут делать — один раз в год рубить сахарный тростник? Здесь, в деревне, я никому не нужен.

— Ты всегда долго молчишь, прежде чем сказать, а потом говоришь. Таким был и твой отец. Может быть, ты и прав. Мне будет легче без тебя,— ответила мать.

Когда Ито, держа в потной ладони две медные монеты, вышел на дорогу к остановке автобуса, на ней уже стояло несколько человек: крестьянин с двумя корзинами, которые он принес на палке, и теперь, сидя на корточках около них, покуривал короткую трубочку; две женщины в кимоно, с набеленными лицами, с сумочками и зонтами, они стояли, растерянно улыбаясь друг

другу, отчего было понятно: поездка в город — событие для них нечастое. Тут же прогуливались двое мужчин в темных костюмах с небольшими чемоданчиками — торговые агенты, залетевшие в деревенскую глушь по делам фирмы.

Ржавые глинистые колени убегали за горизонт, прячась в мангровых болотах, в зелени бугенвиллей, среди раздавленных низких холмов. Наконец раздался гудок, далекий затихающий вскрик, показался автобус, гремящий, похожий на музыкальный ящик, за ним тянулись желтая пыль и серый лохматый дым. Машина прошла лощину, проползла под деревьями и стала надвигаться. Ито отскочил, испуганно прижался к обочине, следом за женщинами влез в автобус. Кондуктор взял медяки, сунул ему в руку билет, буркнул: «Не стой!» Жаркая, с выставленными окнами машина была полупуста. Женщины сели, осторожно подбирая кимоно. За окном уже проплывали кусты, выстрелил ствол пальмы, закачалась гроздь зеленых плодов, замелькали соломенные крыши домов, зарябила черепица, потекли заросли сахарного тростника. Автобус катил, качаясь, вздрагивая. Вдруг в машине стало темно — проехали под мостом; не успел Ито понять, что случилось, как автобус вывалился из-под моста, и снова по сторонам потекла зеленая, полная света и парного влажного воздуха земля. Ито сидел, до боли повернув голову, жадно рассматривая, как бегут, подпрыгивая, поля, как вздрагивает высоковерхий храм с торием¹ перед ним, как дрожат тростниковые хижины. И наконец, дома стали попадаться все чаще и чаще, слились в одну бегущую ленту, кондуктор нехотя выкрикнул:

— Гарапан!

Ито подхватил узелок, в котором были завернуты мыло, рубашка с полотенцем, и следом за женщинами выскочил на площадь.

Город... Чужой, совсем чужой, непонятный и тревожный: люди ручейками текут по улицам, ветер надувает пузырями полотнища: «Зонты для мужчин и женщин», «Табак южных островов», «Кимоно и шерстяные платья», «Ювелирные изделия». Они свисали со стен домов, раскачивались, подвешенные поперек улицы. В витринах за пыльными стеклами лежали груды пестрые ткани, стояли манекены, одетые в светлые пиджаки и такие же светлые брюки, гета на деревянной подо-

¹ Торий (яп.) — храмовые ворота.

шве, рядом затейливо разбросанные плетенки дзори, грудой навалены носки таби с торчащим вбок большим пальцем. Из открытых дверей харчевен несло запахом сырой рыбы. Внутри светились красные кучки креветок, брошенных на подносы, дымился рис, в чашечках горками лежала фасоль. Что-то кричали, заказывая еду, посетители, между столиками бегали полуголые официанты и уборщицы, они несли в одну сторону полные тарелки с дымящейся едой, а обратно груды пустых, с испачканными палочками и смятыми бумажными салфетками. У Ито подвело от голода живот, он остановился около одной двери, но оттуда тотчас послышалось:

— Что стал? — и высунулась желтая рожа; волосы прихвачены лентой, из-под распахнутого халата видна потная прыщавая грудь. Из глубины харчевни кто-то крикнул: «Гони его!», прыщавый ухватил Ито за ворот, повернул и изо всех сил толкнул в спину. Вытянув руки, Ито полетел на тротуар, вскочил, свернул с улицы в переулок, пошел, облизывая оцарапанные в кровь ладони. Проходя мимо маленького кафе, увидел, что там никого нет, за прилавком пусто, на столиках в маленькой комнатке несколько неубранных чашек, в них горками что-то красное. Не думая, вбежал, запустил руку в чашку, сгреб в горсть, торопливо сунул в рот. Когда сзади раздался крик: «Держи его!», метнулся в сторону, помчался, петляя, как кролик, с одной стороны переулка на другую. «Стой!» Дробно стучат деревянные гэта, с громом распахиваются, разъезжаются двери и окна, сверху кто-то визжит: «Вот он!» Наконец Ито выскочил из переулка на улицу, влетел в массу стремительно шагающих людей, втиснулся между ними, заметил новый поворот и нырнул еще раз за угол. Вперед, вперед — пока не слышно криков и топота ног. Переулок неожиданно оборвался, перед Ито тянулся, выгибаясь, ручей, через него перекинуты каменные горбатые небольшие мосты, около одного из мостов — спуск к воде. Ито скатился вниз по ступенькам, метнулся в спасительную черную тень, прижался под мостом к прохладному камню и замер. Стоял, прислушиваясь, однако наверху никто больше не кричал, и только теперь, обливав губы, понял, что украл горсть острой сои. Схватило живот, он прилег, долго лежал, поджав к подбородку колени, и только вечером боль отступила.

Ночь. Под мост пробивается зеленый свет, рядом кто-то шуршит, пробегает, стучит когтями, втягивая, вздохнув пьет воду. Стало холодно. Ито невольно вспом-

нил Сахалин, зимнее утро, крыши, покрытые снегом, школу. В углу класса чугунная печка, в ней красные и черные с синими прыгающими огоньками угли. Ученики, сидящие на циновках, в руках тетради и кисточки, в пузырьках черная жидкость. Перед глазами появились размазанные хвостатые значки, голос учителя начал рассказ о верном слуге, который подставил грудь, чтобы прервать полет стрелы, пущенной в его господина. Проснулся он снова от холода и уже до рассвета, не засыпая, дрожал, прижимаясь к сырой, влажной земле, пряча ладони между колен.

Утро... Воздух еще прохладен, ночная тишина задержалась во двориках, но уже защелкали деревянные подошвы первых рабочих, скрипя покати́л тележку продавец зелени, гулко выстрелил, затарахтел, мелькнул за поворотом мотоцикл... Полицейский на углу... Ито быстро прошмыгнул мимо, проходя мимо открытой двери кафе, с испугом вспомнил вчерашнее.

Около маленькой фабрики, из ворот которой выехал грузовик, доверху нагруженный деревянными пальмовыми брусками и блестящими розовыми гладко оструганными досками, остановился. Из будки высунулась голова, на вопрос Ито, не найдется ли для него места, голова повела глазами, выругалась: «Сказано, за ворота на территорию никого не пускать!» Глаза были мутные, злые. Ито побрел дальше. Около двухэтажного каменного здания прислонился к стене, увидел, как из тяжелых с медными ручками дверей вышел паренек его лет, неся прижатую к груди груду пакетов, каждый перевязан тонкой бечевкой. Проходя мимо Ито, парень крикнул: «Помоги, упадут!». Ито сложил пакеты, парень обхватил их руками накрест и, ничего больше не сказав, ушел. Ито подошел к дверям, нажал на медную ручку — дверь нехотя приоткрылась, проскользнул вовнутрь. Человек в белой, с закатанными рукавами рубашке, сидевший за барьером, вышел навстречу.

— Я ищу работу, могу быть посыльным или сторожем, можно поговорить с кем-нибудь?

Человек скривил рот, положил руку Ито на плечо, повернул и, не говоря ни слова, подтолкнул к двери. Тяжелые створки, звякнув пружинами, захлопнулись.

Бродя по улицам, переходя перекрестки, где нетерпеливо позванивали велосипеды и вскрикивали рикши, заглядывая в перегороженные железными решетками приемные контор — там за низкими голыми столами сидели, кропотливо высчитывая что-то, потные, в очках чи-

новники,—Ито спрашивал. Прежде чем обратиться, низко кланялся, а если не отвечали сразу, терпеливо ждал. Около водосточной трубы, рядом с витриной, где за пыльным стеклом застыли, сложив на груди руки, два манекена, одетые в одинаковые желтые кимоно, он нашел на земле никелевую монетку и купил на нее чашку супа.

Кружилась голова, один раз, переходя улицу, едва успел выскочить из-под тупоносого военного грузовика, солдат и шофер, высунувшиеся из кабины, долго кричали вслед ему ругательства. Мучительно хотелось забрести в сквер и лечь на скамейку в тени, но там могли забрать, и, значит, лучше всего было идти назад, снова под мост. Тени удлинились, из фабричных ворот и из дверей контор стали вытекать ручейки служащих. Ито увидел в распадке между домами синюю полосу моря, решил, что ручей и мост должны быть там, но в тесной маленькой улочке в глаза бросилась вывеска: «Ремонт велосипедов». Решился, когда подошел, услышал через неплотно закрытую дверь стук молотка о железо, остановился и стоял так, пока дверь не приоткрылась и из нее не выглянул лысый, с вислыми усами старик — фартук из синей грубой парусины, в руке клещи,— выглянул и недовольно уставился на Ито.

— Чего стоишь?

— Уважаемый хозяин,—сказал Ито и поклонился.

— Сам знаю — хозяин. Ты зачем пришел?

— Ищу какую-нибудь работу. Могу помогать вам, могу бегать с поручениями, могу ночью стеречь.

— Сразу видно, ты из деревни. Оттуда?

Он показал на горы.

— Я приехал ненадолго, заработать немного денег и вернуться.

Щелкая деревянными подошвами, прошла, вспугивая с земли зеленых разжиревших мух, женщина.

— А ты случайно не скрываешься от армии?

— Меня призовут через год.

Старик вытащил из кармана очки — два круглых стекла в металлической оправе,—нацепил их на нос и долго рассматривал Ито.

— Странно, только вчера я подумал о подмастерье,—сказал он. — Но мастерская дает немного денег, я могу взять тебя только в ученики. Тебе, конечно, негде и спать?

Ито мотнул головой.

— Вот видишь, тебе еще нужна и постель. Кормить тебя я тоже не могу. Ты не очень прожорливый?

— Что вы, я могу есть один раз. — Ито поклонился.

— Рано благодаришь, я еще не согласился. Ладно, заходи, поговорим.

Внутри мастерской свет, падающий через маленькое, затянутое паутиной окошко, верстак, на нем губастые черные тиски, в беспорядке набросаны напильники и сверла, вдоль стен, цепляясь друг за друга рулями, несколько велосипедов, на стене кимоно старика и пучок засушенных камышовых стеблей.

— Если я возьму тебя, будешь мыть велосипеды, убирать грязь и сторожить, — сказал старик. — Не вздумай что-нибудь украсть, это все стоит копейки, а поймают тебя быстро.

— Не беспокойтесь. Я так вам благодарен. Можно мне взять ведро и убрать мусор?

Закончив работу, старик смахнул с верстака, спрятал в ящик под замок инструменты, сменил фартук на кимоно и, порывшись в кошельке, протянул Ито монетку.

— Держи, сегодня где-нибудь переспишь, а завтра я достану для тебя у соседей циновку и одеяло. Ну, иди, что ты встал?

Он повернул за собой ключ. Уходил безразлично, не оглядываясь, тяжело волоча гета, грязные полы кимоно слабо колеблются при каждом шаге.

В этот вечер на окраине города Ито купил в лавке чашечку сырой, нарезанной ломтиками рыбы и рисовую лепешку. В нее было завернуто вареное надрезанное яйцо.

Кириидзуми... Город жил тревожной, беспокойной жизнью. Так было всегда. Сразу же после того как на берегу океанской бухты первые поселенцы поставили свои хижины, от неосторожно забытого огня сгорела половина домов. Пришел год четвертый Ансей, и огромная волна выкатила на берег. Она разрушила причалы, опрокинула дома, стоявшие на набережной, и унесла их далеко в глубь улиц, там они остались лежать вперемешку с рыбацкими лодками и обломками легких мостов, погибли тысячи людей. А спустя тридцать лет случилось землетрясение: сдвинулась с места гора, возвышающаяся над городом, она осела и превратилась в цепь холмов, но оползень в своем движении уклонился

в сторону, и поток коричневой земли, перемешанный с пахнувшей серою водой, снес южный пригород. К этому времени в Кириидзуми уже появилась железная дорога, связывающая город с Осакой и Токио, и люди ходили смотреть, как изогнулся змеей рельсовый путь, смещенный оползнем. Беды повторялись. Люди привыкли к пожарам, превращавшим в пепел целые кварталы деревянных с бумажными стенами домов, к волнам, захлестывавшим набережную, и к тому, что земля, на которой стоят дома и в которую вбиты сваи, время от времени вздымается, подобно воде, и раскалывается, подобно пересохшему дереву.

И все равно город рос, северные окраины его зачернели фабричными цехами и трубами, место первых причалов и деревянной набережной занял порт, его бетонные волноломы и пирсы как пальцы устремились в океан. Маслянистая вода сонно колыхалась между бетонных стен, а вместе с ней покачивались ошвартованные у пирсов корабли.

Тогда начались новые беды: стало трудно дышать от автомобилей и трудно пробираться по улицам от велосипедистов. Тысячи людей, стуча деревянными гета, заполняли улицы два раза в день — утром, когда они бегом спешили на работу, и вечером, когда медленно брели домой. Вывески с крикливыми названиями товаров, как полосы дождя, повисли над улицами, гул толпы и перезвон дверных колокольчиков стоял над тротуарами, по улицам маршировали солдаты, и все большее число мужчин в городе носили куртки военного покроя с наглухо закрытой грудью и стоячим воротничком. Школьники, отправляясь на экскурсии за город, делали из форменных шинелей скатки, а на уроках им рассказывали про завещание императора собрать восемь углов под одной крышей и показывали карты Сингапура, Новой Гвинеи и Камчатки. Маленьким детям перестали класть под подушки кораблики счастья, а взрослые не устраивали больше состязаний по угадыванию ароматов, когда каждый пытается определить, что положено мастером церемонии в курильницу. Город ждал.

Ветер с моря мчит по узким, с одноэтажными домами, изогнутым улицам, забирается под куртку, пронизывает теплой сыростью до костей. Он гонит по мелкому, с отвесными каменными берегами каналу черные морщины, змеятся, отражаются в воде посаженные

вдоль канала многоногие фикусы, пахнет мертвой рыбой, влажными водорослями, скрипит под ногами, соскальзывая под деревянной подошвой с выпуклых бумажников, песок.

Ито бредет берегом. Вот и мост, горбатый, сложенный из отесанного камня, под ним двумя языками две песчаные косы, на каждую навалило течением картонные ящики, люди натаскали тряпок, бумаги, хворосту. Воровски оглянувшись, спустился по стенке, полз, упираясь ногами в камни, нащупывая пальцами щели, прыгнул, еще раз огляделся, юркнул в темноту под горбатую каменную крышу, раздвинул картон — где оно, вчерашнее место? — опустился на колени, проверил ладонью — сухо? — лег на бок, свернулся, прижался спиной к стенке чужого ящика и замер.

Шелестит вода, задувает под мостом теплый ветер, часто, с плеском, выбегают на песок волны. Кажется Ито, что шевельнулся кто-то рядом, по ту сторону ящика, осторожно подвинулся, снова замер. Затаив дыхание, Ито приподнял голову — человек? Нет, тихо, никто не дышит, не заскрипит, не шелохнется... Еще крепче поджал под себя ноги, накрыл рукавом голову, закрыл глаза: сейчас кончится, придет тревожный пугливый сон... Деревянная решетка, за решеткой в глубине паучьи суставчатые желто-зеленые ноги. Светит сверху луна, пробивает лучами настил моста, шевелятся ноги, тянутся к Ито, вот-вот просунут когти сквозь прутья решетки, коснутся лица. Ито старается отодвинуться, тяжестью налилось тело, что-то навалилось на грудь — вот-вот задохнется, и снова слышится — кто-то шуршит рядом. Проснулся — исчезли клетка, исчезли ноги-щупальцы диковинного зверя, и только дыхание оторвалось от них, осталось. Часто, беспокойно дышит, всхлипывает, задыхается.

Ито отогнул фанерную стенку и тотчас кто-то за ней вскочил, стал на колени, смутным пятном забелело лицо, поднялись два белых пятна поменьше — ладони.

— Ты что? — испуганно спросил Ито. — Ты кто?

Не ответил человек. Но теперь видно — такой же подросток...

— Давай ложись. Спинами прижмемся, будет теплее. Фанеру на себя положи. Чего ждешь?

Легли, прижались, и сразу заснул. Проснулся, когда начало сереть, вымыло из тьмы черную крышу — мост, желтый от света зарождающегося дня полукруг, в нем — светлая, без морщин вода, по сторонам черные, зеле-

ные камни — стенки канала. Розовело, поблескивало. Ито повернулся, чтобы согреть озябшие сырые руки, сунул их под тряпье, которым прикрыт сосед. Ладони уперлись во что-то мягкое, теплое, ощутил непривычную выпуклость, податливость тела и едва не вскрикнул. Рывком отдернув, медленно нашел край тряпки, приподнял. Рядом, закрыв глаза и тяжело дыша, лежит девчонка. Просыпалась мучительно долго, измученное, с морщинками в углах рта лицо подергивалось, наконец открыла глаза, недоумевая посмотрела на Ито, сжалась в комок и наконец, вскочив на колени и комкая у груди тряпку — мятое, грубое платье, — выкрикнула:

— Ты зачем? Убери руки! А ну...

— А ты? Я тебя здесь не видел.

— Я в первый раз...

Сказала тихо, покорно. Сели рядом, поджав колени и прикасаясь локтями.

— Жрать хочется, а денег нет.

— Не рассчитывай, у меня тоже.

— Ты откуда? Родители живы?

— Умерли. Из Камакуро.

— А я с севера... Ушла из дома?

— Ага...

Щель, через которую было видно море, наполнилась светом, в небе прочертило красную полосу облако, под ним что-то вспыхнуло, засветилось, выскочил дымно-красный утренний шар.

— Ну, я пойду, — сказал Ито. — Я не спросил у старика, когда приходить. Он, наверное, спит мало.

— Что за старик? Ты работаешь?

— Тебе какое дело.

— Таких, как ты, берут. Ты молодой. А тех, кто постарше, забирают в армию. Сейчас всем нужны мальчишки. Сколько он тебе платит?

— Много будешь знать...

— Не уходи. Посиди со мной.

— Нужна ты...

Собрал свой узелок и, не оглянувшись, полез наверх по разрушенной стенке.

Старик принес циновку и потертое байковое одеяло, и Ито не пришлось больше возвращаться под мост. В первую же неделю он научился править погнутые велосипедные крылья и менять разбитые ручки и багажники. Старика сотрясал кашель, он усаживался на пол и долго, задыхаясь, хрипя, ожидал, когда пройдет приступ.

— А ты не жулик? — спрашивал он, отдуваясь и глядя куда-то в сторону. — Ты должен быть мне благодарен за то, что я взял тебя.

— Я благодарен вам, хозяин.

— Завтра сходишь в полицию, пусть возьмут на учет. Будут призывать твой год. Если вздумаешь скрыться, попадешь в тюрьму.

— Я пойду в армию, когда мне прикажут.

— То-то, и не вздумай отлучаться по ночам. Верстак, инструменты, машины — я собирал их всю жизнь.

— Не беспокойтесь, хозяин, все будет в порядке.

Старик долго натужно хрипел, подносил к губам узловатые желтые пальцы и снимал белую с зеленой мокроту.

— Война... Она не кончится никогда. Говорят, в Китае миллион солдат, пока их всех убьешь... Во время русской войны все было иначе... Вы, молодые, не знаете теперь ничего, вы не хотите знать.

Что всегда отличало нас, делало народом, не похожим ни на один народ в мире? Три вещи сопровождают нас с детства до глубокой старости: следование национальным традициям, страх перед законом и вера в повиновение. Этого можно не осознавать, не каждый замечает, как глубоки эти чувства, но это внушает уверенность. Будущее Японии лишено опасностей. Стране восходящего солнца самим Дзимму завещана божественная миссия.

Гета — патриотическая обувь. Стук деревянных подошв на улицах стал приметой новой жизни, жизни во имя будущей победы.

Дух Ямато. Япония всегда одерживала верх: Россия, Германия, теперь Китай. От победы к победе.

В 1912 году победитель русской армии на полях Маньчжурии генерал Ноги пожелал последовать в могилу за умершим императором: он кончил жизнь самоубийством, вместе с ним то же сделала его жена. Ноги был возведен в ранг божества. В Токио в память о нем построен храм. Это воодушевляет каждого.

Адмирал Того, который разгромил эскадры Российского и Небогатова, еще при жизни полу-

чил неземные почести: на торжественных обедах у императора ему было разрешено сидеть всего на одну ступеньку ниже микадо.

Пишу тебе, Эльза дорогая, содрогаясь, не в силах прийти в себя после увиденного. Вообрази, вчера у нас в Нанкине казнили пленных. Жителей пригнали на площадь силой. Осужденного ставили на колени, кисти рук связаны за спиной. Руки резко поднимали, отчего человек наклонялся и шея его обнажалась. Головы рубили саблями. Над площадью стоял женский вой. После каждого удара голову подбирали и лужу крови засыпали песком.

Ты меня знаешь, дорогая, в нашем посольстве один только я не сумел отказаться. И мне пришлось видеть это все до конца...

Особа императора священна и неприкосновенна, род его поставлен править на вечные времена. Умысел на жизнь императора карается смертью, а приближение к нему без разрешения — тюрьмой.

Всякий портрет императора священен. В случае пожара он должен быть первым вынесен из дома. Никто не может стоять или сидеть выше императора. Когда император едет по городу, все должны находиться на улице.

Двойное самоубийство — наша традиция, и не следует сурово осуждать его. Если на пути влюбленных встают неодолимые препятствия, такие, как несогласие родителей или отсутствие жилья и денег, они договариваются одновременно покончить счеты с жизнью. Они бросаются в море, или прыгают, взявшись за руки, в горах со скалы, или ложатся под колеса поезда, или принимают яд, или убивают друг друга из пистолета. На острове Хоккайдо есть кипящие серные озера, смерть в них предпочтительна.

Необходимо воспитывать Дух Великой Восточной Азии. Великая Восточная Азия — это сфера Совместного Процветания.

Запрещаются выступления, воспитывающие ненависть к войне, запрещаются пропаганда пацифизма, мирных настроений и распространение уны-

ния. Каждый должен посмотреть кинофильмы: «Победная песня Востока», «Командующий, штаб и солдаты».

У бухты было странное название — бухта Гомера. Впрочем, и все остальные бухты на побережье были названы так же странно: Улисс, Патрокл, Аргон.

Нефедова поселили в Корабле, в доме для офицеров — длинном двухэтажном здании с облупленными стенами и тесно, в линейку, вытянутыми по фасаду окнами. Квартир в доме не было, были маленькие комнаты, выходящие в длинные, через весь дом, от торца до торца, коридоры. Целый день Корабль гудел, трясясь, сновали в полутьме, неся кастрюли на общие, расположенные в концах коридоров кухни, женщины, с плачем и криком носились между ящиками и шкафами, которыми были заставлены коридоры, дети. К ночи дом затихал, сумрак спускался с дымящихся сопот на бухту, Гомера синела, по ней шла черная, тянущаяся полосами вечерняя рябь, потом успокаивалась и вода. Дом стоял на склоне, обращенный окнами к бухте. По мере того как вечерело, окна одно за другим начинали светиться, в них загорались желтые и зеленые пятна абажуров, но с торцевых сторон еще долго мерцали тусклые красные кухонные лампочки, в свете которых бесшумно двигались наклоненные грудастые тени.

Корабль был перегружен: в каждой комнате жило по семье, жили по двое, по трое холостяки. На каждом этаже в коридоре стояли ящики с картошкой, лежали свернутые трубами старые ковры, валялись испорченные кастрюли, связанные в стопки книги. Ночью натякался на них вернувшийся с позднего выхода офицер, ругался вполголоса, а то с грохотом опрокидывал кастрюлю или таз, и тогда разом начинали скрипеть все двери и недовольные голоса выкрикивали в темноте проклятия. Вот, едва скрипнув, приоткрылась дверь, кто-то крадетсЯ в одних носках. Осторожные шаги. В темноте (после полуночи электростанция останавливалась и света не было) скрипнула вторая дверь, кто-то проскользнул в нее, и дверь без шума закрылась.

Обитатели Корабля знали обо всех все. Знали, что моя жена мечтает вырваться из постылой бухты и вернуться в Ленинград, где держит квартиру, и уже несколько раз сделала конец в десяток тысяч километров, чтобы только показаться, отметить, не потерять. Зна-

ли, что одной мыслью найти себе нового мужа живет вдова лейтенанта, который погиб год назад во время учений по подрывному делу. Были тогда прикреплены к проводам у столбов четыре толовые шашки, крутнули машинку, хлестанули по воде взрывы, но не четыре, а три — подошел к пирсу лейтенант, не видя его, крутанул старшина машинку еще раз... Вызывающе чисто было в комнате у вдовы — чем еще, кроме чистоты, можно поразить случайного визитера?

Тонкие стены, тихие разговоры... Опускается на воду туман, ползет белыми косами с невысоких сопок, вскрикнула железнодорожная дрезина, торопится по берегу, катит платформу, попрыгивает секретный желтый глаз фонаря, отсвечивают в молочный сумрак два ряда окон. Плывет в неизвестность дом...

Она повторила мне свой рассказ несколько раз, так запомнился ей этот первый день, начало жизни, о которой она до того имела самое смутное представление. Они приехали с мужем в бригаду в мае, и им повезло — сразу же получили в Корабле комнату.

Комната оказалась запущенная, с нечистыми стенами и потолком, доски в полу скрипели. Казенную мебель — ободранный стол, кровать, два шатких стула — принесли матросы со склада, шкаф уступила соседка.

Маша протерла влажной тряпкой пол, расставила стулья, сходили с мужем поужинать в столовую, а когда вернулись, снова принялась за уборку. За окном темнело, сине-зеленые ели налились чернью, растаяли, стали неотличимы от глухого, без звезд, неба.

Бухта, полуостров, дома продувались насквозь. Набегали тучи. Отбарабанил дождь.

Муж лежал на кровати, одежду повесил на стул и смотрел, как она оттирает мыльной тряпкой жирные брызги на стене.

— Супом они, что ли, тут плескали?

— Иди ложись.

Он подвинулся, заскрипели пружины, хрустнула, ломаясь в матрасе, солома.

— Сейчас.

— Что ты там увидела?

— Паучок.

— Убей его.

— Он маленький.

— Мне встать?

— Нет. Если бы он был большой, я бы тебя позвала. А такого я не боюсь.

Они ехали от Москвы до Приморья поездом десять суток.

— Ну, иди ко мне.

— Сейчас.

Она протянула палец и легонько коснулась паутины, на которой качался маленький светлый комочек...

Они расписались перед самым отъездом. Он приехал в отпуск и, встретив ее на вечеринке у приятеля, сразу же сказал, что приехал жениться. Они сидели в углу на продавленном диване, играла музыка, все танцевали под патефон. В небольшой, с низким потолком комнате было жарко, туманились окна. Девушки смеялись.

— Так не женятся,— сказала она.

— Ну да, еще как!

Гремела музыка.

— Я говорю — так не женятся. Так не бывает. Чтобы приехать на три недели и жениться на первой попавшейся. Значит, тебе все равно на ком жениться?

— Все равно.

— Неправда. По глазам вижу, что неправда.

На следующее утро он принес два билета в театр. Через неделю они расписались и уехали на Дальний Восток...

— Ну, иди же,— снова сказал он. — Убей этого паука и иди.

— А вот еще один. Пусть у каждого из нас будет свой паук. Они будут качаться на своих нитках и ждать, когда мы придем с работы. Я тоже пойду работать.

Он не ответил.

— Я уже узнавала: для меня работы нет. Половина жен здесь — учительницы. Очередь — на пять лет вперед. Пойду работать на подсобное хозяйство, там нужен бухгалтер. Всю жизнь ненавидела математику. Ничего, научусь, не сидеть же дома.

— Может, ты все-таки ляжешь? Ты можешь понять меня?

— Понимаю.

Она вздохнула, вышла из угла, стащила через голову тонкий свитер, стоптала, низко наклонясь, юбку, осталась в тонком, без пуговиц бюстгалтере, достала из чемодана рубашку, надела ее — затрещали искры, взяла в рот мятную конфетку, протерла одеколоном пальцы.

В комнате запахло далекой, на двоих с мамой, комнатой.

— Расскажи мне о себе,— попросила она,— расскажи об отце, о матери. Они очень любили друг друга?

— Да, да, да...

И о Кулагине я все узнал тоже от нее. Скрытный и молчаливый, он успел за короткие месяцы их знакомства рассказать много. Чаще всего он говорил об отце, чувствуя, что повторяет его жизнь, и ожидая такого же раннего несправедливого конца. Родился его отец в пыльном провинциальном Харькове, в слободе между Благовещенским базаром и горой, на которой полстолетия спустя, когда город на время станет столицей, построят причудливые серые, из бетона и стекла, высокие дома. Босиком бегал по глиняным сухим обочинам, по мощенной красным булыжником улице, ее же перебежали куры, спасаясь от проезжающих линеек. Запряженные в них лошади шли ходко, потряхивая гривами, в гривы были вплетены красные и синие ленты. Со стороны базара от церкви доносился колокольный звон, мальчишки, сидя на низком, поросшем травой берегу Лопани, смотрели, как из мелкой, желтой, исчезающей к середине лета воды поднимаются дурно пахнущие пузыри. Однажды в церковный праздник два дюжих полицейских вели под руки избитого мужика, мужик отплевывался кровью, мотал черною бородой и все пытался объяснить, что у него на базаре отняли деньги.

— Баба моя, баба моя там, с телегою,— хрипел он, стараясь вырваться из цепких полицейских рук.

— Вот и хорошо, не пропадет телега. И не рвись, не рвись, сейчас с тобой разберутся.

Школа была на горе в каменном двухэтажном здании, учительница сразу обратила внимание на мальчишку.

— Тебе надо идти дальше учиться, смотри как ты с дробями управляешься,— говорила она,— а ну-ка попробуй, я для тебя приготовила — задачка по геометрии. Но для нее необходимо пространственное воображение... Ах ты какой, на лету схватил!

Поступить в Харьковский университет не удалось, пришлось ехать в Томск. Институт здесь был новый, профессора большей частью молодежь, учиться было легко, специальность отец выбрал металлургию, может быть, для того, чтобы после окончания вернуться на Украину, где на юге близ Азовского моря в то время на дешевом и близком донецком угле стали расти малень-

кие дымные заводи. В Сартане хозяин-бельгиец принял отца на должность сменного инженера в мартеновский цех. Шел девятьсот пятый год. За степью, за морем, в Севастополе, полыхало восстание. Мятежный крейсер с поднятым на мачте красным флагом стоял посреди рейда, эскадра в упор расстреливала его. Среди матросов, которые успели броситься в воду и доплыть до берега, был Громов, комендор сорокапятки, эсер, — большинство восставших матросов были эсерами. Выплыл он около госпиталя, пригибаясь — прожектора стрелявших кораблей шарили по воде и по берегу, — взбежал вверх по склону, выскочил на дорогу и по ней ушел в Инкерман. На очаковцев был объявлен розыск, узнав про это, товарняками добрался до Донбасса, там случайно оказался в Сартане. Приютивший его рабочий посоветовал открыться Кулагину.

— Он у нас справедливый, — потирая тяжелые, красные, обожженные мартеновским огнем руки, говорил хозяин дома, — сам из низов, должен понять.

И Кулагин поставил Громова к печи, подручным. Когда однажды в цех пришли — должно быть, кто-то проговорился, — Громов у передней стенки подбрасывал в печь через окно в ванну со скрапом и шихтой добавку, ревело пламя. На вопрос, откуда новенький, Кулагин пожал плечами, крикнул — из Юзовки, там, видно, работал давно, вон как хватко швыряет.

— А еще новые рабочие есть?

Соврал:

— Был один, неделю как исчез, даже жалованье не получил.

Пришедшие переглянулись. Было их двое, оба в штатском, в руках у каждого котелок. От печей несло нестерпимым жаром, красные языки пламени плясали на серых пальто, на потных лицах, на пальцах Кулагина, который, подняв руку, прикрывал синим стеклом глаза.

Месяц спустя, когда Громов увольнялся, он пришел на квартиру к Кулагину и сказал:

— Думаете, инженер, это конец? Нет, это только начало. Вся страна поднялась. Теперь пойдет. Так будет весело! А вас я не забуду, благодарствую за все. Может, и встретимся?..

Встретиться пришлось после революции. Перед первой мировой войной варили для новых невиданных черноморских линкоров сталь, броню должны были получить не хуже английской, получили лучше. Кулагин в

семнадцатому году был уже начальником цеха, женился, родился сын, сам Кулагин съездил на стажировку в Бельгию. Вернулся и — как обвал: война, революция, потом еще гражданская, разруха, завод остановили, а когда снова пустили, Кулагин услышал про себя: «Спец. Специалистов, доставшихся от старого режима, придется пока использовать...» Сразу стало тревожно...

Громов появился неожиданно, вечером подъехал к дому на черной казенной машине, долго тряс руку, спрашивал: «Ну, как?» Вспомнил мартеновский цех, сказал, что ничего бояться не надо.

Кулагин жаловаться ему не стал, на вопрос, чем занимается, объяснил, что у него есть идея: улучшить руду еще до того, как она идет в доменный переплав.

— Вот, вот. Изобретайте, двигайте... А я навек ваш должник. Я все помню... Громов добро не забывает.

Когда уехал, показалось: ну теперь-то все наладится, стоит только потерпеть. Не наладилось — арестовали вредителей — группу англичан из фирмы «Метро-Виккерс», работавших на заводе по найму. «Какие из них вредители? — удивился Кулагин. — Зачем им вредить?» С британцами он проработал год. А потом пришли ночью и увели его самого. Когда уводили, в прихожей осталась жена, бледная, с широко раскрытыми потемневшими глазами, руки прижаты к груди. По дороге из разговоров узнал — о нем доложат в Луганск. Вероятно, так и получилось, потому что на следующий же день, ни разу не вызвав на допрос, его отпустили.

Но затем как-то в столовой подошел товарищ и, глядя куда-то в сторону, одними губами сказал: «В Луганске взяли Громова». Вот отчего, когда Кулагина снова забрали, его уже не отпустили, а отвезли в Харьков и там определили в непонятное, неслыханное никогда прежде тюремное заведение — Особое техническое бюро. На окнах решетки, для прогулок — огороженный четырьмя стенами двор... Предложили работу — конструировать миноносцы. Кулагин хотел было сказать, что это смешно, он металлург, а не судостроитель, но ему посоветовали: «Лучше не спорь». Он выписал груду книг про корабли. Однажды, когда сидел над чертежом французского скоростного катера, осенило — представил, как будто увидел перед собой, тут же, в комнате, машину для превращения плохой пылевидной руды в хорошую, машину для непрерывного спекания, похожую на карусель. О ней он написал докладную записку, и его без суда и без допросов снова выпустили. Машина по-

направилась, проект фабрики с машинами рассмотрел нарком тяжелой промышленности и распорядился строить фабрику на самом востоке Крымского полуострова — в Камыш-Буруне.

Фабрику не успели построить, — нарком застрелился; в степи, недалеко от моря, остались одни серые бетонные фундаменты. Отца арестовали и в третий раз, но он уже болел, и так ни разу за все эти годы не допросив и не предъявив никаких обвинений, его выпустили. Он умер в тридцать восьмом году, жена на два года раньше, младший Кулагин остался сиротой.

В университете его не трогали, должно быть, каждый раз, когда отца арестовывали, бумаги до конца оформить не успевали. Учился он, как и отец, легко, все давалось, даже театр — одно время подумывал идти учиться на актера, но на втором курсе увлекся радиоприемниками. Первый, детекторный, построенный своими руками, поместил в деревянной шкатулке, емкости сделал из станиоля — серебряной бумаги — и кальки, часами наматывал узкие вырезанные из них ленты. Когда укрепил на шкатулке детектор и начал, щупая иглой, искать на серебристом кристалле точку, в которой прячется станция, и вдруг нашел — в наушниках тоненько запел женский голос и рассыпался тихий аккомпанемент рояля — задохнулся от радости.

Так он стал инженером. На торпедные катера — вот уж совсем странно, и вспомнился отец — попал, когда по комсомольскому набору взяли в армию. За столом сидела комиссия — двое военных в зеленом армейском и один моряк — в синем кителе...

— Инженер. Пошлем в артиллерию? — спросил один из зеленых.

— Может, в авиацию? У нас по разнарядке с авиацией плохо.

— Постойте, постойте, — заволновался синий, — а что это тут у вас написано в анкете в скобках — «радио»?

— Видите ли, согласно диплому я электрик, но последний год занимался радиосхемами.

— Выйди-ка! — Синий зашуршал бумагами и, понизив голос, начал в чем-то убеждать комиссию.

— Направляетесь на Дальний Восток, в Военно-Морские Силы. Завтра сюда с вещами. Поедете на завод принимать технику. Там на месте подучитесь. И учитите: дело новое — не болтать.

Так Кулагин попал на спрятанные от всего мира в

бухте Гомера управляемые по радио катера «волнового управления», или коротко «ВУ».

Чем больше времени проходит с того момента, как Рассоха привез из канинской тундры листки, исписанные нервным почерком Нефедова, рассказы японцев и его собственные воспоминания о днях той короткой и странной войны, тем чаще я задумываюсь над вопросом: что за человек был Нефедов? Он принадлежал к невостребованному поколению. Бывают времена, когда люди особенно остро чувствуют свою беспомощность и ощущают свою включенность в поток, который несет их помимо воли. Как щепки плывут они мимо берегов, понять которые им не дано. Его поколение было обречено, ему не было дано нигде, ни в чем оставить свой след. Но в такие времена у людей обостряются слух и зрение. Как бы предчувствуя гибель, люди начинают воспринимать мир раздробленным, расколотым на части. Нефедов лишь наблюдатель, причем видит он все как бы сторонним зрением, замечая одни контуры вещей и силуэты. События для него не более чем вспышки света. Вспышки, при которых из сумрака выхватываются лишь отдельные сцены. Он видит не движения, а позы, собеседники его говорят тускло, на один лад, бесцветно и торопясь. Вспоминая о людях, он сбивается на рассказ об окружающих их предметах.

Младший по возрасту и по опыту, он поразил меня. Помимо воли я стал подражать ему.

Этот выход в море был тоже неудачным: катер плохо слушался команд. Вернулись около полуночи. Спрятав сумку с документами в сейф, Кулагин пошел домой, около Корабля остановился. Огромный дом лежал, тяжело вытянувшись всем телом, тускло отсвечивая слепыми окнами. Вдохнул, почувствовал, как болят натруженные ноги — столько часов простоять в рубке! — вошел и стал подниматься по лестнице. Брел на ощупь. Вот прошумела в трубах вода, скрипнула плохо прикрытая рама, вот кто-то прошелестел, юркнул под крыльцо... В непроницаемом для света, полном радужных колец коридоре двинулся, задевая ящики, привычно отсчитывая шаги, наконец нащупал рукой косяк, толкнул дверь, но она, к удивлению, оказалась закрытой. Прежде чем постучать, разбудить соседа, еще раз пошарил и вдруг

услышал, как в замочной скважине тихонько поворачивается ключ. Дверь скрипнула, раздалось легкое задержанное дыхание, протянул руку и ощутил ладонью человеческое тепло, коснулся чего-то мягкого, задел рассыпанные волосы, ворс податливого халата, дотронулся до крупной, застегнутой на груди пуговицы. Из двери по-прежнему тянуло теплом, но теперь к нему примешивался слабый, тревожный запах духов. И это тепло и духи могли принадлежать только женщине. Не понимая, чего она от него ждет, он тяжело переступил, задел сапогом ящик,—загремела, падая, крышка. И сразу же щелкнул замок, тепло и запах исчезли. Ошеломленный, постоял, потом на ощупь пошел по коридору. Следующая дверь оказалась запертой, и только за третьей, когда вошел, увидел знакомый, без занавески, светлый, со звездами, квадрат окна, из темноты доносилось ровное дыхание соседа, стянул сапоги и как был, не раздеваясь, повалился. Лежал поверх одеяла, не засыпая, ощущая каждый раз, когда втягивал воздух, все тот же тревожный запах.

На следующий день узнал: в комнату, около которой стоял, только что въехал новый связист с женой.

А в воскресенье, когда на бухту упал морозящий туманный дождь, с утра ушел в лес. Бродил у подножия сопки. Жимолость и ольха, пробковое, покрытое белым рыхлым мхом дерево — все мокрое, на всем мелкие светлые капли. Брел по колено в траве, когда почувствовал — кто-то идет следом: ветки позади то прошумят, то замолкнут. Остановился, сам задел ветку, с нее упала горсть капель, ударила по нижней ветке, вызвала целый обвал. Так стоял, пока в ольшанике не появилось, не задвигалось темное пятно, не вышла, неумело отстраняя ветви, женщина, на плечах черный офицерский до пят плащ. Потому что лица ее никогда раньше не видел, подумал: «А вдруг она?» — и сказал:

— Я опять испугал вас.

Нахмурилась и долго, спокойно рассматривая из-под капюшона, молчала.

— Что значит — опять?

— Кажется, это к вам я приходил ночью?

— Ах вот как... — Нагнулась, вытащила из мха металлическую веточку, сорвала с нее брусничину, положила в рот. Сказала, будто продолжила:

— Где-то тут близко малина. Запах чувствую, а выйти на нее не могу.

— Давайте вместе искать?

— Нет.

И ушла, по-прежнему задевая плащом, обрушивая рубчи.

Кулагин спросил в штабе, как фамилия нового связиста.

— Корзун.

— Украинец?

— Из Фастова.

— Как он, ничего?

— Жена у него ничего.

Подумал: «Мы, как в стеклянной банке, всем все видно, всем про все известно». Вспомнил: когда наклонялась за брусникой, распахнулся плащ.

Рассоха утверждает, что Нефедов был «чокнутым». Пару раз он передавал ему в море штурвал, садился сбоку на ограждение рубки и смотрел, как тот управляет. Нефедов не чувствовал катера. Встречная волна разбивалась о нос, взрывалась, обрушивалась на рубку, он испуганно вздрагивал и долго стоял, не видя впереди ничего. Однажды, входя в бухту, рано повернул. Вдоль борта проплыло красное пятно — это были уже видны водоросли на дне. Рассоха молча отодвинул его и сам стал за штурвал. Он вздрогнул и посмотрел как затравленный. В рубке, где нет ветра, склонившись над картой, чувствовал себя получше. Заполняя журнал или надписывая курс, подчеркивал единицы. Люди, подчеркивающие единицы, чаще других попадают к психиатру. Так говорят врачи.

Дома с Рассохой они почти не разговаривали.

Уже издали в окно Кулагин заметил: идет начальник политотдела, торопится, рвет носками ботинок траву. Кулагин засуетился, сгреб чертежи, сунул их в металлический чемодан, запер на ключ, бросился встречать. Начпо остановился в дверях, за ним дымился, опускал на воду тучи вялый полдень. От ангара доносились слабые возгласы — затаскивали в ангар катер, выход был снова неудачен, катер притащили домой на буксире.

— Ну что? — недобро глядя на Кулагина, спросил начпо. Он продолжал стоять в светлом прямоугольнике. — Почему в Севастополе эти же катера ходят хорошо, а у вас что ни выход — поломка?.. Вы такое слово «вредительство» слышали?

Губы у начпо дергались, погоны тянули вниз узенькие плечи. Кулагин посмотрел в окно: начинался мелкий, как пыль, дождь.

— В Севастополе каждый выход в штиль. — Он старался говорить как можно спокойнее. — Здесь же бьет как на камнях, а у нас все построено на электромеханике. И потом аппаратура не новая, ей уже пятый год.

— Когда нас с комбригом вызывает командующий, он не спрашивает про год, про штиль и про механику, он спрашивает про боевую готовность. Знаете, как у него разговаривают? Нам говорили, что вы толковый инженер, мы в вас ошиблись...

«Как ему объяснить, что катер набит сотней коробок, в каждой шевелятся, вращаются колесики, рычажки, якоря моторчиков, смыкаются и размыкаются контакты. Искра, удар, поломка на ходу, обгорание, искривление осей...»

Кулагин вдруг понял, что начпо смотрит на него умоляя.

— Если катера не будут ходить, поймите, нам будет плохо, нам всем будет очень плохо. И может случиться, что нас с комбригом спросят: кто виноват?

Человек в дверном проеме исчез, он показался в окне: шел торопясь, расчлененный оконной решеткой, в руке скомканный авиационный шлем.

«Провались они все: тот, кто послал меня на флот, тот, кто открыл эту бухту и назвал ее именем слепого...» Он хрустнул пальцами, вывинтил из коробки моторчик, укрепил его на стенде и подал напряжение. «Что она скажет, не умеющая лгать?» Стрелка покачалась и замерла.

Мимо окна шел Нефедов, он шел, внимательно разглядывая решетки на окнах.

Под крышей базового матросского клуба гулял ветер. Клуб начали строить перед войной, не успели закончить — за годы войны железные листы кровли местами разошлись, из зала с некоторых мест было видно небо — лиловое, со слабыми звездами.

Где-то далеко за поселком вздыхал океан, волны набегали на берег, и от этого между ангарами, причадами, домами, прокатывался тревожный шелестящий звук. Царя Бориса согласился сыграть Кулагин. На барьере оркестровой ямы сидели пацаны — дети вольнонаемных, с краю — Косой Эдик. Он был слабоумный и не ходил

в школу. Люди в зале жарко дышали, скрипели куртками, грызли пайковые сухари. Сухари шуршали, как песок.

— Сцена из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов»! — без бумажки объявила Маша. Вести концерт ее упростили: пришли из женсовета, сказали — некому, отказать не смогла. Сама играла и в школе, и в институте, играла и понимала: играет не так, не так.

На сцене потушили свет, задергались, зазвякали кольца — раздвигался занавес. Из-за кулис на доски упал луч света, он был голубым, приближаясь к полу, — желтел. В луче сверкали пылинки.

— Достиг я высшей власти, — сказал в темноте Кулагин. У Эдика один глаз не открывался. Он сидел на барьере, горбился и мигал от яркого света — лампа из-за кулисы была ему прямо в лицо. Он мигал одним глазом и всматривался в зеленую темноту.

— Достиг я высшей власти, — задумчиво повторил Кулагин и только теперь стал виден зрителям.

Роль вспоминалась с трудом. До войны он играл ее в университете, потом на заводе, где несколько месяцев работал инженером. Режиссер звал в театр, Кулагин отказался. С трудом вспоминалось, как надо ходить по сцене, как держать дыхание, как смотреть в темный, слепой, полный смазанных человеческих лиц зал.

Эдик открыл веко рукой, стало хорошо видно: по сцене расхаживает, держа что-то в кулаке на отлете, старик. Длинная, до полу, шуба. Жидкая борода. Старик шагал по сцене, и борода тряслась. Он остановился, сунул руку в карман, достал зажигалку. Щелкнул — загорелся огонек. В кулаке оказалась свеча, старик зажег ее. По кулисам поползли красные тени. Лицо старика, освещенное снизу, стало страшным: в черных провалах светились белки глаз.

— Шестой уж год я царствую спокойно, — сообщил он.

«Царь!» — догадался Эдик. Кулагин вздохнул, поправил на плечах шубу и, осторожно неся в вытянутой руке свечу, вышел на середину сцены.

— Кто не умрет, я всех убийца тайный...

В зале завозились.

Утром Эдика побили, били ни за что, собирали на берегу плавник — доски от разбитых в шторм рыбацких судов — и побили. Бил самый слабый, остальные стояли в стороне и смотрели.

— Я отравил сестру свою, царицу...

Роль вспомнилась, стало легко и радостно.

— ...Беда, как язвой моровой...

В зале всхлипнула женщина. Кулагин уронил шубу и закружил по сцене. Маша смотрела, держась одной рукой за кулису, другую прижав к груди, сердце билось толчками. «Так, так,— шептала она,— как он славнo...»

Глаза царя сделались безумными, слова роли исчезли, дымила, потрескивая, свеча, зеленый луч из-за сцены упал на шубу, вспыхнули нашитые на ней блески. Эдик перестал дышать, его больной полуприкрытый глаз широко открылся. Кулисы наливались кровью, шуба на полу шевельнулась, приподнялась, царь попятился от нее, защищаясь, как от страшного видения... Теперь он двигался из глубины сцены, приближаясь к пацанам. Он шел прямо на Эдика. Эдик привстал. Вместо шубы с пола поднялся и стоял теперь прямо против царя маленький, залитый кровью человек.

— И рад бежать, да некуда...

Раздался стук — Эдик упал в яму. Зал не шевельнулся. Последние слова Кулагин забыл, он так и остался стоять посреди сцены. Раздались аплодисменты, зажгли свет, народ довольно шумел.

Когда выкрики стихли, стало слышно: плачут двое — Эдик в оркестре и Мартыниха — уборщица — в последнем ряду. У нее было двое сыновей, обоих забрали сразу же летом сорок первого, ни одного письма от них она так и не получила.

Кулагин стоял у края сцены, кланялся и смотрел в переполненный зал невидящими глазами.

Когда он шел в уборную раздеваться, снимать грим, у кулис его остановила Корзун.

— Нам нужно поговорить,— сказала она. — Нам очень нужно поговорить. Откуда вы взялись так сразу на мою голову?

Тося, секретарша комбрига, оказалась тоже москвичкой, обе из одного района.

— Матросская тишина... Я еще совсем маленькая была, все спрашивала у бабушки: «Отчего тишина? Почему матросская?» — «Это чтобы ты матроскою стала». Машинистка нигде не пропадет, почему бы тебе не научиться? — говорила Тося. — Вот я — попала на флот и сразу устроилась. А сперва замуж едва не вышла, тогда

девушек на Дальний Восток звали, сманивали Владивостоком, а отправляли на Амур, в Комсомольск. Я от эшелона отбилась, парень у меня там был, мы с ним жили; наш эшелон весь пошел железную дорогу от Пивани к океану строить, а я сбежала.

— Значит, этот парень был для тебя не очень... Любила его?

— Не знаю... Как там у нас в Тишине? Зелени ведь так много, липы. Как начнут цвести...

— Новые дома строят, троллейбус пустили. Можно, я у тебя на машинке поучусь? Ты ведь курсы кончала?

— Кончала, да знаешь как там учат... Вечером приходи.

Я как-то задержался допоздна в кабинете, увидел ее. Маша испугалась, что выгоню, но я только сказал:

— Можете работать. Что вы печатаете?

— Хозяйственные письма и еще отчет физкультурника.

— Что-то я вас с мужем никогда вместе не вижу. Впрочем, что мне...

И я ушел. Потом она мне рассказывала, что тоже запомнила этот разговор и как уходил сутулясь, со спины видно волосы коротко подстриженные и уже белые. «Мне стало жалко вас...» Муж ей как-то обо мне сказал:

— Таким сейчас дорога не очень... Не то время.

— Какое время?

— Много будешь знать...

Тихо в штабе, закрыты на ключи все двери, на тех, что обиты железом, из красных мастичных печатей свисают мышинные веревочные хвостики, у входа скрипит песком, расхаживает часовой. Затрещала машинка, заметались молоточки с буквами, запрыгали белые клавиши, ползет из-под валика: «...бег восемьсот метров... групповой бокс...» Говорят, смотреть страшно, только здесь, на Дальнем Востоке, он и есть — две команды, десять против десяти. Тося рассказывала: «Самые сильные — летчики. Сперва расходятся парами, а потом кого больше останется. Я тебе говорю, он был один, а против него двое, так он одного прямо в лицо, сбил с ног, так ударил — кровь по щекам, а он повернулся — и ко второму, тот назад, назад, в угол, закрыл лицо перчатками, а он его бьет, бьет... Один двоих победил! Я никогда в жизни так не волновалась, даже когда первый раз одна с парнем осталась».

Она разорвала это письмо, разорвала, как только закончила писать, потому что не допускала мысли, что сокровенное может принадлежать еще кому-нибудь.

«Я знаю, почему пишу. Это от непреодолимого желания, оттого, что слова, которые вырвались у меня тогда в клубе, требуют продолжения. Знаю, что давно уже никто не пишет в таких случаях письма, что все решают по телефону или вечером, в темноте, наспех. Но бывает время, когда желание высказаться становится сильнее привычки. Я так долго молчала, мне так хочется, чтобы меня поняли. После «Бориса» мне показалось, что все может измениться, что все еще впереди. Я цепляюсь за эти слова, хотя никто их давно не употребляет. Что впереди? Любовь и жалость. Через что вы прошли? Часто любили или нет? Какой вы там, в глубине, под покровом видимого всеми? Загадка. Но эта загадочность тоже луч, в котором мерцают непонятные мне пылинки. Любить — это не только желать, но и удивляться. Ночь, я одна, комната пуста, мне хочется сбросить одежду и, став перед зеркалом (оно у меня узкое, низкое, и, чтобы рассмотреть себя всю, приходится отходить), провести по телу руками. Еще девчонкой, школьницей, я с ужасом вычитала в одной старинной книге, которую, хихикая, принесла подруга: «Грудь моя уменьшилась и стала похожа на мужскую, с колючими маленькими сосками». Мое жестокое поколение разучилось говорить о себе с болью...»

Она скомкала письмо, сжала его в шар, спрятала в сумочку, а когда рано утром ушла на берег моря, спустилась по тропинке к серым камням, села, подобрала ноги, и, прежде чем предать бумагу воде, наклонилась. Вода была прозрачной, в ней были видны кустистые водоросли. Развернув бумажный шар, опустила его в воду. Белые клочки, медленно намокая, отделялись, опускались на дно.

Сначала шли тропинкой мимо серых, в человеческий рост, лопухов, потом мимо такого же неестественно высокого, похожего на деревья шеломайника.

На вершине сопки дул ветер, и им пришлось плотно прижаться друг к другу, укрыться кителем.

— Сколько помню себя, всю жизнь в дороге, — говорила Маша. — ...Всегда одно и то же: пустая комната, вещи уже проданы, на полу перевязанные веревками чемоданы. Отец был агрономом, но стал им еще до рево-

люции, выучился, выбился, как говорили тогда, из самых низов, рано умер. Мать уверяла, что у него все время были какие-то неприятности... Все время спорил... Кругом арестовывали, а его просто увольняли. «И слава Богу,—говорила мать,—нам не довелось пережить то, что пережили другие».

Кулагин сунул руку глубже под китель. Притянул.

— Да, так будет теплее. Прости, я невеселая, это потому, что ветер. Говорят, весной сюда приплывают тюлени. Они вылезают на берег и живут семьями. Я еще ни разу не видела здесь тюленей.

— А мой отец погиб. Не знаю, как меня допустили к секретной технике. Должно быть, посмотрели не ту карточку, а может, у них слишком много карточек?.. Знаешь, как называется у тюленей семья? Гарем. Никакой семьи нет, есть право сильного. Ты замерзла?

— Да. Давно хотела посидеть здесь с тобой, мне казалось: прижмусь — и сразу станет тепло, и мы будем долго долго говорить... Я буду выставлять вечером, когда муж дежурит, на окно лампу. Это пошло?

— А что лучше?

Назад шли дальней дорогой под скалами, на карнизах черно-белые кайры, вытягивая змеинные шеи, шипели им вслед.

— Пойдем скорее, не надо их пугать. Иди вперед, я поброжу. Мне надо побыть одной.

— Уже четыре часа.

— Положи часы. Весь день боялась, что ты не придешь.

— У тебя необыкновенные ладони. Ни у кого не было таких теплых ладоней.

— Они не любили тебя. Я ничего не хочу знать о твоём прошлом. Не отодвигайся. Когда я была маленькой, меня однажды взяли в степь, это было на юге. Ехали всю ночь, на подводе. Я проснулась и увидела мокрую траву, море серой травы, а над ней желтое небо и всплывающее, как рыба, солнце. Оно всплывало, и на него можно было смотреть не прищуриваясь. Хотелось бежать ему навстречу... У меня эти дни такое же чувство, будто впереди у нас много-много всего, только надо бежать и смотреть. Ночью я люблю просыпаться и слушать. Вчера был ветер, я услышала, как в лесу падают деревья. Здесь часто идут дожди, деревья устали стоять, они падают со стуком, как камни.

— Мне надо идти, пятый час.

— Час лейтенантов. Когда я приехала, кто-то из женщин сказал: пять часов — это время, когда по коридору крадутся молодые лейтенанты. Они идут на цыпочках, неся в руках ботинки. Не бойся, тебя никто не увидит. Ну еще две секундошки...

Уходил крадучись, половицы в коридоре, проседая на ржавых гвоздях, взвизгивали. Из дальней двери кто-то выглянул.

Когда на станцию заглянул Цыгун, рабочий день уже подходил к концу. Кулагин удивился: оперуполномоченный еще не приходил ни разу. Тот, войдя, сразу же спросил, где чертежи.

— В железных шкафах. Вот здесь... Но только те, что без грифа. Всё, что с грифом, — в спецхране.

Опер потрогал на окнах решетки, полистал бумаги на столе (некоторые чертежи рассматривал вверх ногами), спросил про охрану и только, когда уходил, неожиданно вполголоса:

— Вечером, когда стемнеет, зайдите.

— К вам домой?

— Ко мне. — И, видя, что Кулагин смотрит растерянно, объяснил: — За подсобным хозяйством тропинка. Пойдете по ней, будет домик. Никуда не сворачивайте и чтобы никто вас не видел. Если нужно, постоит, переждите. Подойдете к двери, стукните два раза. Вот так... — Постучал по косяку.

Цыгун уходил, мешала смотреть решетка, стекло было с браком, сперва исказились плечи, потом бедра, расползлись и искривились ноги, человек дернулся и исчез.

— Нет, нет, ничего особенного, вам не следует беспокоиться. — Учитель стоял посреди тротуара, высокий, прямой, в старомодном саржевом костюме, белая рубашка с твердым воротничком, люди, торопясь пробежать мимо, ударялись о него. — Дело прошлое, с другими было больше хлопот.

— Как ваши близкие? — спросила, кланяясь, госпожа Кадзума. Учитель улыбнулся, показав крупные зубы.

— Мои старшие сестры здоровы. Кажется, все будет хорошо и у младшей. Я списался с родственниками в Йокогаме, они нашли ей жениха. Вчера получил его фо-

токаточку и письмо. Но бедняга пишет, что ему уже под пятьдесят и рассчитывать на прибавку к жалованью не приходится. — Теперь улыбнулась она. — Последний год я внимательно наблюдал за вашими мальчиками. Младший становился все более странным. Он спросил меня: зачем Ямамото Юдзо нужно было переносить на землю Японии европейский театр, разве не прекрасны маски? Был урок каллиграфии, и потом я плохо знаю театр. Извините.

— Мальчик вырастет.

— Нет, нет, тут что-то серьезнее. Другой раз я слышал, как он сказал товарищу: «На нас на всех наступает что-то страшное и дымное».

— Он имел в виду фабрики и заводы, их становится все больше.

— Нет, он имел в виду свое будущее. Я встревожил вас, мне не следовало рассказывать, но сейчас все это уже позади.

— Наш долг говорить все друг другу.

Они раскланялись, и госпожа Кадзума, медленно взбираясь по кривой зеленой улочке к дому, беспокойно стала перебирать в памяти последние поступки и слова сыновей. «Они стали мужчинами, я больше не нужна им... Скоро Ямадо приведет в дом невестку. Именно ей она когда-нибудь при собрании всей семьи передаст знак старшей в доме — ложку самодзи. Первой будет она, а не девушка Суги. Телефонный звонок, или письмо, или небрежно брошенные при встрече слова: «А у меня есть на примете для вашего...» И пугающие хлопоты: справки о невесте, о ее родителях, надо подробно разузнать о ее здоровье, может быть, даже поинтересоваться: не часто ли она пропускала школу? Сейчас нравы меняются, поговаривают даже о врачебном обследовании. Вопрос о родственниках — дело отца, хорошо, чтобы среди них оказались военные... Наконец, они сидят в холле ресторана, у Ямадо на плечах узкие золотые погоны, открывается дверь, и к ним направляется группа вошедших, невеста позади всех, на ней черное с белыми знаками кимоно — девушки в последнее время стали все чаще появляться в европейском, но тут такой случай... Белое напудренное лицо и такие же белые плечи, невеста молчит — это хороший признак... «Столь важная встреча...» «...Залог успеха...» ...Впрочем, это все уже за столом в отдельном кабинете, робкие женщины и развязные, уверенно и помногу пьющие мужчины... Невеста пригубила бокал с сухим вином... Какой

язык вы, уважаемая, изучали в школе? Французский... В семье моряка лучше знать английский... На каких инструментах играете? Кото... Пианино... Мы обучали нашу дочь даже западным танцам... Неплохо жениху и невесте побеседовать пятнадцать минут наедине... Два черных автомобиля, сверкая никелем радиаторов и огнями спиц, разлетаются в разные стороны...

Помнится вечер перед выпуском из школы. Ямадо поздно вернулся из гимнастического зала, где они занимались борьбой (захватите рукав противника, захватите пояс, потянули на себя), открыл калитку. Суги сидел около фонтана, над плоским блюдцем плясали зеленые светляки, сливовое дерево казалось черным, камни, уложенные по сторонам фонтана, белели, как черепа.

Суги подвинулся, чтобы освободить место брату.

Оба молча смотрели на воду, в воде отражались петли, которые описывали в воздухе насекомые, и желтые квадраты подсвеченных изнутри стен дома.

— Ива за окном, весь год пустует сад, хозяина в нем нет,— прочитал Суги.

Ямадо сплюнул.

— Сегодня мне удался болевой прием,— сказал он. — Напарник — ты его знаешь, он из параллельного класса, я всегда с ним борюсь — так закричал, будто ему сломали ногу. Все очень смеялись.

— В этом стихотворении я хотел сказать, что отца долго нет дома.

— Для этого не обязательно писать стихи. Пойдем попросим, чтобы нам дали чай. Я бы и поел хорошенько, но учитель предупредил — не набирать ни грамма. Он выставляет меня на соревнования.

В траве кто-то пробежал волоча хвост, шмыгнул к подпорной стенке и завозился там в палых листьях. Суги поднял лицо — небо было затянуто облаками, с океана накатывался влажный воздух, лицо было мокрым.

— Идем,— покорно согласился он.

После экзаменов отец отвез обоих в училище. Занятия торпедной стрельбой проходили в кабинете, стены которого были покрыты синей краской, а линия горизонта отбита черной полосой. На этой линии неподвижно стоял крошечный серый кораблик, у него была наклоненная назад труба, а на мачте красный русский флаг.

«Атака!» — тихим голосом произносил Суги, и преподаватель, краснея лицом, тотчас выкрикивал: «Громче! Громче, курсант Кадзума, вас не услышит даже крыса на палубе». Суги судорожно глотал слюну и дрожащим голосом, натужась, снова кричал: «Атака!» Кораблик, вздрогнув, начинал движение, он перемещался вдоль горизонта и одновременно едва заметно поворачивался, Суги мчался ему наперерез — так надо было вообразить себе. Море, корабль, качающийся на волнах и торопливо пытающийся скрыться от тебя. Прямо перед лицом прицел, тусклые металлические планки, раскрываясь, изображают треугольник, по двум сторонам которого сейчас начнут двигаться корабль и торпеда. Стрелка на приборе, показывающая дистанцию, неумолимо падает, расстояние сокращается, сейчас произойдет самое важное, не забыть передернуть личейки, не проскочить дистанцию, успеть крикнуть: «Залп!» Секунды летят чудовищно быстро, ползет стрелка, кораблик, неожиданно защелкав, начинает поворот, стрелка останавливается... «Проскочили, дистанция два кабельтова, ваш корабль расстрелян артиллерией противника в упор», — жестко говорит преподаватель, он вырастает рядом с Суги и багровым лицом нависает над ним. «О чем вы думаете, когда идете в атаку? Вы должны быть собраны, как кулак, в кулаке сжаты и напряжены все пальцы, думать ни о чем нельзя, перед вами прицел и стрелка дистанции, корабль противника, курсовой угол. Вы забыли даже определить его скорость. Кадзума Ямадо, займите место вашего брата».

Ямадо, улыбаясь во весь рот, подходит к Суги, выталкивает его из рубки, кораблик, звеня и подпрыгивая, отползает на исходную позицию.

— Вот так надо атаковать! — говорит преподаватель, когда Ямадо заканчивает атаку.

Учебный взвод выходит из кабинета, на длинных крашеных досках пола дрожат белые прямоугольники света, за окнами зимний черно-белый город, над стеной, которая с четырех сторон огораживает училище, развевается флаг, плац для строевых занятий сер и пуст, посреди него блестит лужа. Дежурный офицер в сопровождении двух курсантов пересекает плац. Они несут начальнику училища пробу. Над закрытыми кастрюлями, над белыми салфетками поднимается пар. Начальник училища требует, чтобы все было как на корабле. Страна вступает в новый век, каждый должен отдать все силы для утверждения знамен.

— Подло, подло и еще раз подло,— шепчет Суги брату. Его душит обида. — Неужели ты не мог хотя бы раз промазать, пустить эту проклятую торпеду мимо?

Учебная шхуна, первое плавание, первая ночь. Трели боцманских дудок подбрасывают курсантов на пробковых матрасах, заставляют откинуть простыни, вниз с качающихся, переворачивающихся подвесных коек сыплются голые потные тела, курсанты на лету хватают рабочие рубахи и штаны, суют под мышку тельняшки, ботинки в руку, шнурки волочатся по полу. Мчатся, сбивая друг друга, по крутым металлическим лестницам, упираются головами в ноги, в зады карабкающихся, подталкивают, кричат, сбивают с ног...

«Учебная боевая тревога!»

Суги выбежал на палубу одним из последних, вдоль обоих бортов уже заканчивали строиться, ровняли ряды, старший помощник что-то гортанно нараспев выкрикнул, строй замер, с кормы, волоча пораженные ревматизмом ноги, шел капитан.

Учебная шхуна покачивается, стоя на якоре посреди неглубокого, врезанного в пустынный серый берег залива, у кромки воды белеет длинное трехэтажное здание училища, у причала подпрыгивают на мелкой волне несколько серых металлических катеров.

Старший офицер достал из кармана бумагу и стал громко, во весь голос, выкрикивать:

— «Паруса ставить»... Курсант Ямадо Кадзума — кливер фал... ..Курсант Суги Кадзума — формарса рея...

И вот первый раз в жизни Суги ставит ногу на ступеньку веревочной лестницы, ведущей к самому верху мачты, туда, где, теряясь в небесной утренней голубизне, чернеет крошечная четырехугольная площадка — формарс. Всю жизнь Суги боялся высоты. Впервые он узнал это, когда в школе его послали ставить на крыше антенну радиомачты. Он бежал по коридору, кто-то схватил его за рукав, выпалил: «Марш с нами!» Это был преподаватель физики, по его командам школьники вытаскивали через чердачное окно нелепую крестовидную антенну, утыканную роликами, с зелеными путающимися проводами, со стальными, обжигающими руки оттяжками. Крыша оказалась горбатой, непомерно высоко вознесенной над городом, внизу плоские, раздавленные дома, сжавшиеся до размеров спичечных коробок, аккуратные, словно нарезанные ножом, квадратики садов,

улица, по которой течет поток разноцветных точек. И вдруг ноги у него подогнулись, невидимая тяжесть навалилась на плечи. Суги сел, а когда преподаватель крикнул: «Сейчас же сюда!», нелепо перебирая ногами, пополз на задку к трубе, около которой уже поднимали мачту. «Смотрите, как он боится!» — крикнул один из мальчишек. Все захохотали, но от этого стало еще страшнее. Уцепившись руками за трубу, он поднялся, стоя на полусогнутых ногах, каждую минуту готовый сесть, выполнял какие-то указания, что-то держал, даже делал вид, что тянет, когда тянули все, и, услышав наконец: «Крепко стоит!», не оглянувшись на антенну, присел и по-коровьи, под хохот и насмешки товарищей, пополз на задку к чердачному окну...

И вот теперь он, Суги Кадзума, поднимается на мачту. Впереди быстро мелькают ботинки другого курсанта, позади слышно натужное дыхание, справа и слева по таким же легким шатким лестницам бегут все выше и выше цепочки парней в белых, пузырящихся на ветру рубахах, и если он, Суги, сейчас отпустит руки и рухнет вниз, то никто не заметит этого, его вычеркнут из жизни, выбросят в помойку, как выбрасывают ненужную, пролежавшую больше дня на базаре рыбу или выбрасывают лепешки недельной давности. Все предусмотрено: впереди и позади него карабкаются такие же, как он, смертники. Так, говорят, выбрасывают из самолета парашютистов: всех выстраивают в плотную шеренгу, каждый дышит в затылок впереди идущему, сзади подталкивают, наступают на ноги, тросик из парашютного ранца тянется вверх к металлической штанге, звенит и подпрыгивает кольцо, толчок в спину — не заметив люка, ахнув, оказываешься в воздухе, парашют уже вытасен из ранца, и, прежде чем ты успеешь крикнуть, с треском, с хлопком над головой разворачивается спасительный купол.

Суги поднимался все выше и выше, сжав зубы, полукрыв глаза, ощущая всем телом ветер, один только ветер, и вдруг ударился рукой о что-то твердое, раскрыл глаза — рука уже касалась деревянного настила... Формарс. Едва успел вступить на него, как раздался крик: «Что стоишь?» Внизу на площадку лез следующий. Те, кто добрался сюда раньше, уже разошлись по реям и теперь стояли справа и слева, покачиваясь на подвешенных под реями, под деревянными круглыми брусьями, веревках, руками держась за эти брусья. И Суги, обезумев от ужаса, сам вступил на веревку, ведущую

прямо в бездну, сделал по ней несколько шагов, лег грудью, прижался к надежному поскрипывающему рею и замер — крошечная фигурка, никому не нужный человек, чьи ноги упираются в неверную повисшую над бездной нить, а руки судорожно обнимают мертвое дерево.

Вздрагивает шхуна, валится с борта на борт.

Рядом на соседней койке — руки вдоль тела — ровно и глубоко дышит во сне Ямадо. Бродят над его головой по подволоку мелкие дробные тени — качается слабая ночная лампочка, позвякивает металлическая дверь, поскрипывая мачтами, плывет судно.

— Курсант Ямадо Кадзума!

Ударил в подошву, запрыгал под ногами трап.

Увольнение на нищем, голом, населенном одними бедствующими рыбаками острове. Рыжие, обожженные солнцем низкие холмы, вдоль берега вьется, исчезая за поворотом, поднимается на перевал тропа.

Он шел по ней, пока тропа не покатила вниз, пока за поворотом не открылась бухта, на берегу ее горстью грязных перевернутых раковин рыбацкие хижины, крыши из грязной, потертой, раздерганной ветром соломы, полуразвалившиеся сараи, около них на кольях растянуты коричневые с дырами сети.

Спустился к домам. Когда шел мимо первого, из него вышла женщина, мелко переступая босыми ногами по колючей, усыпанной острыми камнями и щепой земле, засемила впереди. Короткие мужские выцветшие штаны, рубашка, завязанная спереди узлом, рукава закатаны, черные блестящие волосы схвачены широкой матерчатой лентой, на лбу блестят резиновые с выпуклыми маленькими стеклами очки. Через плечо у женщины сетка с привязанным к ней деревянным белым поплавком, у бедра в широком футляре нож. Они шли молча, потом тропа повернула к воде, поднялся маленький, в три доски, укрепленный на козлах, причал, рядом с ним днищами кверху лодки, черные, густо пахнущие дегтем, нагретые солнцем, в пазах пакля и ручейки смолы.

Около первой лодки женщина обернулась, хихикнула, и Ямадо почувствовал вызов.

— Что тебе надо? — сказал он.

Она была старше его, красная сеточка раздутых капилляров на глазных яблоках, бесцветные, обветренные,

с белыми кусочками отставшей кожи губы, но тело молодое, загорелое, зрачки торопливо бегают. Они выжидательно разглядывали друг друга.

— Ты оттуда? — Она ткнула пальцем в сторону холмов, над которыми поднимались острые верхушки трех мачт.

— Ага. Ты ама¹? Что ты собираешь? Что тут у вас вообще есть?

Она терпеливо начала перечислять: трепанги, морские ежи... Выбирать не приходится, на острове ничего не растет.

— Мой муж в Китае, — закончила она. — Год, как забрали. Жив ли, не знаю. Подержи-ка сетку.

Он принял из рук ее сеть, она поправила волосы; когда возвращал сеть, руки их соприкоснулись. Ямадо задержал ее пальцы.

Женщина коротко гортанно засмеялась.

— Ты что? Здесь все видно. У тебя деньги есть?

Ямадо торопливо достал две бумажки.

— Десять иен.

— Дашь мне пять. Видишь тропинку? Пойдешь по ней до следующей бухты. Ступай. Я приплыву. — Она опустила очки на глаза, боком, не торопясь вошла в воду.

Он бежал то и дело оглядываясь: по тусклой поверхности воды медленно двигались две точки — черная и белая, она толкала поплавок перед собой вместе с сетью. Точки заплыли за скалу и пропали. Тропинка круто пошла вверх, крыши домов и сараи поселка скрылись, высветилась врезанная в берег бухта. Ямадо спустился тропинкой к воде, присел на корточки. Где же она? Вдруг передумает и не приплывет? Подул ветер, на берег выкатилась одинокая волна, наконец из-за скалы снова показались черная и белая точки. Раздвигая руки, женщина доплыла до берега, встала на ноги — вода с шумом скатилась с коричневого тела. Подтащила поплавок, выволокла на берег сеть и бросила к ногам Ямадо. В сети копошилось, распадалось на части, пузырилось и истекало слизью что-то пятнистое, блестящее. Ямадо разглядел морских червей и горсть устриц. Женщина, отдуваясь, опустилась рядом.

Он начал стаскивать с себя рубашку, но она мирно сказала:

— Подожди, я мокрая.

¹ Ама (яп.) — ныряльщица.

Посидев, сама стянула с себя мокрые короткие штаны, отстегнула нож, развязала на животе узел и стянула рубашку через голову. Ямадо, стиснув зубы, смотрел на обнаженное, покрытое желтыми каплями тело, рот наполнился слюной, он ненавидел и себя и ее. Ну что она там?

Оглянувшись по сторонам, осторожно положила на рубашку очки, нашла кусочек земли, поросший травой, примяла ее ладонью и легла.

— Иди...

Тяжело дыша, глядя ему в глаза, морщась, сказала:

— Не надо так. Не торопись.

Потом надела рубашку, села рядом, посмотрела, как он протягивает пять иен, пожаловалась:

— Дом совсем развалился. Муж приедет, как жить? Через месяц на Окинаву пойдет пароход, я закажу гвоздей и стекла. А себе платье и хороший новый нож. Этот смотри, как зазубрен.

Ямадо лежал на спине, лениво запрокинув голову, тело стало неожиданно легким, хотелось насвистывать, волнение и то, что он считал злостью, прошло.

— Слушай, — сказал он. — Хочешь заработать еще? У меня есть брат. Что, если завтра он придет к тебе? Ну, как?

— Брат? — Она задумчиво наклонила голову. — Ладно, только расскажи ему, как меня найти. И в это же время. Он что, и верно твой брат?

— Зачем мне врать? Он у меня странный. А ему, понимаешь, это нужно. Нужнее даже, чем мне. Поняла?

— Что значит нужнее? Все мужчины одинаковы. Пусть приходит.

Когда Ямадо вернулся на шхуну, Суги сидел около борта на палубе, скрестив ноги, спиной упираясь в скрученный и закрытый сверху брезентом трос. Губы его что-то шептали.

Ямадо присел рядом.

Суги сунул руку под брезент и вытащил оттуда рисовую лепешку с куском сырой рыбы.

— Это тебе. Далеко был? Ну, как остров, что, интересно? Куда ты ходил?

— В поселок. Там за сопкою живут рыбаки. Что может быть интересного? Степь и бухты.

— Ты видел людей? Расскажи про них.

Ямадо поморщился и достал пальцами изо рта рыбью косточку.

— Суси готовил не повар, а кто-то из нашего брата, из курсантов. Ты так и просидел здесь весь день?

— Боцман приказал починить кранец. Я все пальцы о него ободрал. Боцман сказал, что из меня ничего не выйдет. Он сразу же невзлюбил меня.

— Я встретил на берегу одного человека. Женщину,—осторожно сказал Ямадо.

— Если бы не война в Китае, мать отговорила бы отца и я поступил бы в университет. Когда все это кончится?..

— Нужен отцу твой университет... Послушай, Суги. Помнишь, курсант Кунио рассказывал, что он был в квартале особых домов в Стомари? Он был тогда еще школьником в старшем классе. А уже сумел сходить. Тебе было не завидно, когда он рассказывал про это?

Суги пожал плечами. Они сидели бок о бок. Шхуну водило. Она приподнималась, наваливалась бортом на причал, и тогда жалобно вскрикивали расплющенные между железом и деревом плетеные кранцы, постояв некоторое время, начинала садиться, отступать, уходящая вода тащила ее за собой до тех пор, пока не выбиралась слабина канатов и они резко, рывком не останавливали судно. От палубы пахло свежесмытым деревом и черным варом, которым были промазаны пазы между досками. Из люка — он вел в кубрик — доносились голоса: курсанты спорили, куда поплывет шхуна после острова.

— Кунио говорит,—Ямадо помедлил,—он и не думал, что это так надо каждому. Он теперь без этого не может. Вот как его забрало. А еще помнишь: однажды ты вошел на кухню взять чашку, а там были наша служанка с почтальоном?

Суги покраснел. Он распахнул тогда дверь на кухню и, ошеломленный, застыл. За кухонным столом сидела, уронив лицо на скрещенные руки, девушка, которую мать недавно взяла из деревни. За ее спиной стоял парень в синей форме почтальона. Суги до этого видел его несколько раз на улице. Лицо у почтальона было красное, он наклонился над служанкой, привалился грудью к ее спине и, сунув руку за вырез ситцевого халатика, шарил. Услышав шаги, служанка медленно, словно просыпаясь, подняла голову. Суги поразили даже не цвет, а выражение ее лица, лицо тоже было красное, но не испуганное, на губах блуждала улыбка, глаза бессмысленные. Не понимая, кто вошел, она хихикнула, постепенно зрение вернулось, она узнала сына хозяйки,

почтальон вырвал руку, служанка вскрикнула и запахнула халатик. Суги, отскочив, проворно задвинул за собой дверь, а из кухни послышались шепот и быстрые убегающие шаги.

— Помню,— не понимая, куда клонит брат, ответил Суги.

— Говорят, мужчина только тогда становится мужчиной, если он побывал у женщины. Ты слышал такое выражение: «Войти, как меч в ножны?» — Суги покраснел. — Так вот, слушай. Когда я гулял сегодня по острову, я встретил в поселке рыбаков женщину. И я был у нее. Понимаешь — был. И она сказала, что ты, если захочешь, тоже можешь прийти. Ну как?

Суги тяжело дышал, ладонь, до того спокойно лежавшая на палубной доске, дрожала.

— Что ты молчишь? Я спрашиваю тебя — ну как?

— Н-не знаю.

— Жалкий трус. Разве тебе не хочется стать настоящим? Не бойся, это совсем не трудно, она покажет тебе. Ты будешь только слушать ее. Так пойдешь завтра?

— Я отвечу потом.

— Когда потом? И думать нечего. В полдень она будет тебя ждать около козел, на которых сушат сети. Там небольшой причал, а козлы чуть повыше на берегу. Когда тебе еще так повезет? Я провожу тебя и покажу путь. Вот увидишь, это тебе понравится. Ну что?

Суги испуганно кивнул.

До перевала они шли молча; когда подъем кончился и впереди открылся поселок, Ямадо схватил его за рукав:

— Вон видишь сети? Да не там, смотри левее, где мой палец,— вон там сарай, а рядом с ним сеть. Жди, она точно придет. Ну чего боишься, иди!

Дальше Суги побрел один. На краю поселка около покосившейся лачуги сидел, разбросав ноги и бессильно качая головой, старик, изо рта его текла слюна, за спиной копошились, играя со стеклянным поплавком, двое голых с большими животами ребятишек. Дальше пошли сбитые из досок бараки без стекол, перед каждым очажок, закопченные котлы, мятые, с остатками еды, оставленные на земле, кастрюли. Торопливо миновал их и за последним сараем наткнулся на сеть. И тогда над сетью поднялось пугающе плоское, залитое светом женское лицо. Суги испуганно опустил глаза. Женщина держала в руке раковину; увидев его, бросила ее на землю, обошла сеть и стала рядом.

— Ты брат Ямадо? — ласково спросила она. — Успокойся.

Свет погас, лицо перестало быть плоским, стали различимы глаза — желтые, с добрыми морщинками.

— Ты вовремя пришел. Давай отойдем подальше. Или сделаем так: ты постой, а потом иди следом. Хорошо?

Легко перебирая в белых восковых ссадинах ногами, она пошла по тропинке в глубь острова, у зарослей кустарниковой акации остановилась, выбрала место, отвела ветку и вопросительно посмотрела на Суги.

— Посидим, — просительно выдавил тот.

Она опустила на сухую мятую траву и положила в рот уколотый об акацию палец. Сидела, посасывая, исподтишка посматривая. Суги продолжал молчать.

— Меня зовут Сатоко, — сказала вдруг женщина. — Я даже не назвала себя твоему брату. Он ушел так быстро. У него все в порядке?

— Увольнение? Да, все в порядке, он успел вернуться. Нас отпускают на четыре часа. Я уже час как сошел на берег.

— Ничего, скоро уйдешь...

Слабый ветер постукивал листьями, сухие ветки, нагибаясь, звенели, из-под куста выглянул коричневый зверек, он понюхал воздух, доверчиво уставился на неподвижно сидящих людей. Сатоко шевельнула рукой, звериная мордочка исчезла.

— У нас дома есть сад, а в саду живет ласка, — хрипло произнес Суги, — иногда ночью она пробегает по крыше, тогда слышно, как стучат ее когти... Я не видел в поселке у вас собак.

— Их съели. Несколько лет назад был шторм, все лодки и катера выбросило на берег. Пока об этом узнали на Окинаве, пока прислали шхуну с едой... Мы ели то, что могли поймать в море, ели крыс, дети лазали на скалы, собирали птичьи яйца. С тех пор здесь нет ни собак, ни свиней. Да и народ разъехался, остались одни старики да женщины. Где вы с братом живете?

— Кириидзуми. Наш дом на самом краю города. Там начинаются холмы и лес. Улицы поднимаются на холмы, а все дома стоят лицом на восток. Наш адрес Койтакио, 28.

— Зачем мне это? Я никогда не уеду с острова. Сделаюсь тут старухой и умру. Если вернется муж и у нас будет сын, он утонет в море или его призовут в солдаты. — Она вздохнула и пересела поближе к Суги.

— Тебе надо торопиться.

— Мне... Не знаю... а что?

— Я надоела тебе своей болтовней, и ты хочешь поскорее избавиться от меня. Мне, правда, нужны деньги.

Суги сунул руку в карман, достал кошелек, открыл и высыпал ей в руку горсть монет и бумажек.

— Вот,— сказал он,— возьми все. И проводи меня. Ладно? Я придумал: мы обойдем деревню верхом. Ты не можешь проводить меня до самой шхуны? Я хочу, чтобы Ямадо увидел нас вместе.

— Какой ты странный! Ну, если так хочешь... Ты ведь понимаешь, я пришла по твоему желанию.

Они шли узкой тропинкой, затерянной в кустах и в сухой, по пояс, траве, перебрались через два пересохших, заваленных камнями ручья; однажды в распадке, в конце низины, уходящей к морю, Суги опять увидел поселок, около некоторых хижин вились дымки, надвигался вечер. Наконец вышли к радиостанции. От нее к причалу, где стояла шхуна, начиналась мощенная камнем дорога.

— Чего это она тебя на берегу обняла? Видно, ты ей понравился,— сказал Ямадо, когда Суги взбежал по трапу на борт шхуны. — Ну как? Правда, стоящее дело? Будем ходить к ней по очереди.

— Ты не ходи, завтра она будет опять ждать меня. Я никогда не просил тебя ни о чем, а теперь прошу. Ладно? Сделай это для меня, хоть раз.

Ямадо усмехнулся, но не успел ответить: на берегу показалась человеческая фигура — офицер шел со стороны радиостанции, шел быстро, сняв фуражку и на ходу вытирая платком лицо. Подойдя, надел фуражку и застегнул ворот у кителя. Вахтенный у трапа подбросил руку к шапочке.

— Вызвать дежурного. Построить команду!

Когда на палубе стих топот ног и по обоим бортам в два ряда вытянулись серые рабочие рубахи курсантов и синие кители офицеров, капитан вышел из надстройки на корме (оттуда лестница вела в его каюту) и, став перед строем, негромко произнес:

— Сегодня на рассвете доблестная авианосная авиация императорского флота уничтожила в гавани на Гавайских островах Тихоокеанский флот Америки. Старший офицер, командуйте сниматься со швартовых. Это война!

Жемчужная гавань на Гавайях. Наши авианосцы потопили девять американских линкоров...

Сотни судов под красно-белыми флагами растеклись тогда во все концы океана. Солдаты в кепках с длинными козырьками и с зелеными обмотками на ногах затопили острова от Суматры до Австралии и от Филиппин до Гуама. Даже враг признал наши победы.

Все углы мира будут собраны под одной крышей. Десять тысяч лет непобедимой японской армии!

В Бирме на нашу сторону перешли двадцать тысяч индийцев. Они будут воевать за свободу Индии, вместе со своими желтолицыми братьями они войдут как победители на улицы Калькутты и Дели.

Дело было так: американцы, чтобы спровоцировать нас, объявили боевую тревогу, а тревога, вы сами знаете,— это разрешение применять оружие, нашим кораблям не оставалось ничего делать, как первыми нанести удар¹.

...8 декабря на всех улицах передавали полные меди и барабанного боя марши, но почему-то ни слова еще не было сказано о нападении на Жемчужную гавань и об уничтожении американского флота. Наконец в том же правительственном сообщении было объявлено: «...разорвать блокаду Японии странами А, Б, К, Г». Старикам пришлось объяснять нам, что это Америка, Британия, Китай и Голландия, а то мы не понимали, хотя и поверили, что наш флот проводил учения у Гавайских островов. «Его вынудили», — говорили нам.

На город хлынули, подобно тропическому ливню нубой, белые призывные листки, сотни коротко остриженных парней обходили десятидворки, прощаясь с каждым, кто остается дома. Да, да, мы были уже острижены коротко, в желто-зеленой форме, каждый из нас дал клятву верности императору, а теперь железнодорожный вокзал, кучкой вокруг каждого сверстники, они поют военный

¹ Японская версия событий.

гимн «ками га ё», старики призывают верно служить знаменам Ямато и не бояться смерти. Я выкрикиваю слова клятвы, и под крики «банзай» меня вносят в вагон. Поезд медленно трогается, и мимо мутного оконного стекла проплывают фонари и стены домов с висящими на них длинными узкими бумажными лентами, на которых напечатаны обращения военных комендантов.

...Нас увозили в зеленых скрипящих вагонах, полных жизни и неясной надежды уцелеть, а возвращались мы в деревянных ящичках, в каждом черный или серый, как кому повезет, пепел, и солдаты запасных частей и военной полиции строем проходили, держа эти ящички у груди, по улицам, и толпа испуганно расступалась, и каждый ящик должен был иметь на себе надпись, его надо было вручить родственникам погибшего, но кто знает, чей пепел лежит в ящике, на котором одна торопливо написанная фамилия?..

...Арестована группа писателей, искажавших в своих статьях истинные цели войны и клеветавших на справедливые действия империи...

...На оккупированных территориях Индокитая и Бирмы введены «военные бонь». Военные власти имеют право расплачиваться ими с населением за продовольствие, одежду, а с промышленными компаниями за любые товары и сырье. На железнодорожных путях в Сейсине сгорел вагон, в нем было несколько миллионов бон для будущей свободной Индии.

За окном ветер гонит по бухте черные полосы (мы называли их шкваликами), в комнате темно — лампочка горит вполнакала. Нефедов сидит с ногами на кровати и рассказывает. Рассказывать он не любил, но тут на него что-то накатило.

Это случилось, когда их везли эшелоном на Тихий океан. Состав вышел из Севастополя девятого мая сорок пятого года. Над Северной бухтой, над желтыми с белым известковыми скалами взлетали ракеты, поезд, проходя Инкерман, дал длинный гудок, около железнодорожного полотна стояли, обнявшись, трое солдат.

Один из них поднял над головой автомат и дал очередь в небо.

Ехали долго, целый месяц. За Читой поезд остановился у светофора. К вагону подошла женщина, у нее было молодое скуластое лицо и слегка раскосые глаза, она жевала соломинку и улыбалась. В теплушках настежь распахнуты двери, в каждой сидят, свесив ноги в клешах и пыльных башмаках, матросы. Нефедов нагнулся и спросил: «Где стоим?» — «В степи», — засмеявшись, ответила она. Поезд ждал долго. Когда паровоз дал гудок, кто-то крикнул:

— Пригласи его остаться!

Женщина снова засмеялась, она смеялась едва слышно, прикрывая рукою рот:

— Вы что, не видите, он боится.

И тогда Нефедова сзади толкнули. Растопырив руки, он упал на полотно, вагон со скрипом двинулся.

— Что же вы стоите, не догоняете? — спросила она.

Он не ответил.

Они долго гуляли по степи. Она рассказывала, что эвакуирована, приехала сюда с Украины, из Донбасса. Учительствует. Когда стемнело, привела к низенькому, с черными погашенными окнами домику.

— Вот здесь и живу, у одних стариков. Поселили. Они меня не любят, но вы не обращайтесь внимания, они почти глухие.

Постелила в коридорчике при входе и пришла среди ночи. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Женщина тяжело дышала. Нефедов почувствовал тоску.

— Прости, — сказал он ей.

— Зачем же ты тогда слезал с поезда?

Утром, едва взошло солнце, она пошла его провожать. На крыше обходчиковой будки, на холодных голубых рельсах лежали чистые капли.

— Какой ты странный, — сказала она. — Ты не подумай, что это я так со всеми, я первый раз. Видишь, как получилось... Неужели я тебе противна?

— Нет, что ты, ты хорошая.

У светофора остановился поезд. Прежде чем влезть в зеленый пассажирский вагон, Нефедов наклонился и поцеловал учительнице руку.

— Ничего, — сказала она и всхлипнула, — ты приезжай, кончится война, обязательно приезжай. Я первый раз встретила такого... Я буду ждать тебя.

Конечно, донос на меня был, без доноса с должности не снимают. И написал его кто-то из тех, кто работал все время рядом. Это мог быть начполит, в конце концов, именно он знал больше всех, чаще всего говорил со мной и мог следить за каждым моим шагом. Неосторожно оброненное слово, книга, стоящая у меня на полке, зашифрованная пометка в календаре. Мало ли что... И вот теперь — никак не могу привыкнуть — утро, в руке тяжелый портфель, вместо привычной черной комбриговской «эмки» трамвай, сиденье жесткое и установлено неправильно, с сильным наклоном, живот у меня подобран, грудная клетка сжата, я пытаюсь вытянуть ноги и прогнуть спину, ноги упираются в железные стойки. Я перебираю фамилии, вспоминаю лица... А что, если донос был написан человеком, которого я почти не знал? Моя фамилия могла всплыть совершенно случайно, скажем оттого, что чье-то положение стало безвыходным и стали нужны просто какие-нибудь фамилии. Вагон вздрагивает и качается, звенят в рамах стекла, за окном проплывает мост, желтая маслянистая вода, свиваясь, устремляется между опорами. На Тихом океане был свой стиль — никому не угрожать. Крики и удары кулаком по столу — это было раньше: Северный флот, немцы в тундре на самых подступах к городу, оплетенные колючей проволокой, неглубокие, выдолбленные среди камней окопы — их можно было разглядеть в полевой бинокль с сопки, нависшей над фиордом... Кто он, человек, из-за которого я теперь еду в разболтанном, гремящем трамвае, еду, чтобы через час выйти к классной доске и, подняв остро отточенный мелок, нарисовать небесную сферу и секущую ее плоскость?.. Да, на Севере любили припугнуть, поставить на место, но все это можно было выбросить из головы, когда катера длинной цепочкой вытянутся из фиорда, пройдут туманный раздавленный Рыбачий и впереди, у лиловых скал Варангера, едва заметными черными пятнами проступят силуэты немецких транспортов...

...Подобно тому как планисфера дает нам плоское изображение выпуклого и ошибается (нельзя изобразить полушарие в виде круга, не поступившись его окраинами), так и отношения людей в наших воспоминаниях ущербны. В центр, не искажая, мы переносим лишь то, что считаем в человеке главным, а остальное опускаем, хотя, может быть, именно оно-то и было самым суще-

ственным. Те, кто общался с Нефедовым, этого главного в нем не замечали. Особенно это видно по тому, что рассказывал о нем Рассоха. Он и не пытался разобраться в своем товарище. Более разных людей, чем они, трудно вообразить. Такие, как Рассоха, уверены, что мир плоский, как на киноэкране, их уверенность простирается на все кажущееся. Нефедов не был уверен ни в чем. Может быть, он видел все окружающее нас черно-белым, как видят его насекомые? Или — в обратной перспективе, подобно изображенному на китайских и японских миниатюрах? Если ему попадались чужие слова, он переписывал их не изменяя, он предпочитал пользоваться ими как клише, как знаками. Цитаты из токийских газет или американских журналов он воспроизводил, не устранив то наносное, что могла дать только война.

Его робость от неуверенности в том, что рассказанное все поймут одинаково. Рассказывая, он пугался.

Ито стоял за верстаком и правил погнутые велосипедные спицы. В сарайчике стало темно, кто-то бесшумно заслонил собой свет.

— Ну надо же, выследила. — Он сплюнул.

— Ты один?

— А что? Лучше уйди, вдруг придет хозяин.

— Я ждала тебя тогда, после той ночи, а ты не пришел. И вот вчера иду по улице, вижу: ты разговариваешь со своим стариком. Как он?

— Бывают лучше... Ничего себе не подыскала?

— Подыхаю. У тебя нечего поесть?

— Откуда? Тебе здесь нельзя быть. Уходи. Или, ладно, давай так: вечером я закрою мастерскую и угощу тебя. Ну, иди, иди...

Он стоял около запертых дверей, поигрывая ключом, и не сразу заметил, как она опять появилась в переулке.

— Не бойся, мой давно ушел. Целый день охал, он уже еле волочит ноги. Ну что — пойдём?

— В таком платье меня никуда не пустят.

— Ничего, я знаю одно место.

Он повел ее на окраину, к бетонному памятнику морякам с крейсера «Асама», на котором по вине капитана взорвались котлы. Здесь, рядом с таким же бетонным серым зданием госпиталя, в тупике была дешевая лавка. Они купили два рисовых колобка, ушли на пу-

стырь, там нашли два ящика, и она начала жадно есть, запихивая в рот куски пальцем.

— Как тебя зовут?

— Думала, подавлюсь... Юкки. А тебя?

Прошел военный патруль. Проходя мимо, один из солдат, щелкнув пальцами, показал стыд, а остальные загоготали.

— Знаешь, почему меня никуда не берут? Девушка должна быть чистой. «Поди,— говорят,— назад в ту канаву, из которой выбралась...» Ты видел на Второй улице дома? Так вот, там три разряда. Первый—для японцев, для настоящих, как они сами себя называют, не то что мы с тобой. Второй—для тех, кто приехал с Окинавы. И третий—для корейцев. Так вот, меня не возьмут даже в третий. Ты ни разу не ходил в такой дом?

— Дура.

Она жалко усмехнулась.

— Я давно не мылась по-настоящему. И платье на мне видишь, какое. Ты ничего не понимаешь.

— Что понимать?

— Я хочу хорошенько помыться. У тебя мыло есть?

— Есть. И таз. А утюг я могу попросить у соседки.

— Ну, наконец-то. Ты ночуешь в мастерской?

— А где же? Там, на полу.

— Мне холодно под мостом.

— Я не виноват, что ты попала туда.

Она придвинулась и взяла за руку:

— Я ночью приду к тебе. Можно?

— Зачем?

— Тебе что—жалко?

— Нашла чем купить. Ладно, приходи. Чтобы соседи не заметили, я выкручу лампочку над дверью.

— Не бойся, я прокрадусь...

Она пришла как обещала. Укладываясь, Ито набросал поверх циновки, расстеленной по земляному полу, кучу ветоши.

— Хорошо у тебя тут, бензином пахнет, и мягко,— сказала Юкки.— Вот видишь, мне начало везти, значит, я обязательно найду работу. Давай сначала полежим просто так... Какие у тебя острые коленки! Повернись на бок. Дай руку, я тебе что-то покажу.

Через месяц ее взяли посудомойкой в ресторан. Ресторан был расположен на одной из главных улиц в

первом этаже пятиэтажного дома. Люди шли в него целый день гуськом один за другим: чиновники в темных костюмах и белых рубашках, странные молчаливые люди с военной выправкой, тихо проскальзывающие в стеклянные вращающиеся двери мимо швейцаров в форменных кителях с нашивками. На кухне огромные печи, заставленные противнями, на которых дышит рис и шипит залитая красной приправой соя, дымящиеся котлы с нагретой водой, незакрытые медные краны, из которых, изгибаясь винтом, вытекают зеленоватые струи, громохание тарелок, чавканье опущенных в горячую воду тряпок, шлепанье жестких кистей, которыми смахивают с тарелок остатки пищи. Жарко, потно, к голому телу липнет синий рабочий халат, рукава закатаны, кисти рук влажные, кожа к концу дня на ладонях рыхлая, каждая царапина воспалена.

Но все-таки это была работа. Они сняли поблизости комнату в четыре циновки, и, когда Юкки в конце недели приходила домой, она протягивала Ито две зеленые бумажки — сам Ито изредка получал от старика прибавку, — тогда они позволяли себе вечером пойти в маленький ресторанчик на углу, где всегда играла тихая музыка, столы были накрыты бумажными скатертями, а посетителям предлагали после рыбы и соевого пирога чай. Ито иногда брал себе еще чашечку саке, а Юкки, чтобы не отстать от него, — бутылочку слабого пива. На этикетке был нарисован буйвол, стоящий посреди рисового чека, и человек в соломенной шляпе конусом. Потом они возвращались в свою крошечную комнату, доставали из стенного шкафа матрас, простыню, два потертых валика под головы, раздевались и лежали, тесно прижавшись друг к другу, слушая чужое сердце, как оно раздувается и опадает, как испуганно сокращаются мышцы.

— Когда кончится война и у нас будет свой домик, — шептала Юкки, — мы будем спать на разных матрасах. А еще я хочу фонарь, синий с красными цветами, и цветы в нише, как у всех порядочных.

— А я хочу, чтобы у нас было двое детей и чтобы они родились один за другим. Чтобы в праздники ты выводила их хорошо одетыми. Будь осторожна, нам еще рано заводить ребенка.

Они шептались долго, пока не затихал дом, не переставали стучать двери, пока за стеной не прекращали ссориться и считать истраченные за день деньги.

Нашим адмиралам не терпелось отомстить за Жемчужную гавань. Они сделали так: авианосец — на его палубе армейские бомбардировщики — подошел к островам. Но приблизиться ближе 800 километров адмирал, который командовал соединением, не рискнул. Когда самолеты были подняты в воздух, мы уже знали: долететь обратно не хватит горючего. «Сядете в Китае!» — было сказано нам. Но никто не предупредил нас, что Китай был похож тогда на лоскутное одеяло — китайские и японские войска занимали города в беспорядке, фронта не было. Среди целей в Токио кружком у всех на картах был обведен императорский дворец. Одна бомба-таки упала неподалеку от него. Мы приземлились кто где. Тех, кто сел на аэродромы, занятые японцами, отвезли в Токио и казнили. Они рубили головы всем, кто бомбил Японию. Мне повезло, я сел в России...

...Пришло время вспомнить историю. Нашей опорой в прошлом были гонинкуми¹: каждые пять дворов имели своего старшину и свою печать. Все члены пятидворья в трудную минуту были обязаны помогать друг другу. Если кто-нибудь совершал преступление, отвечали все. За поведением одного следили пять дворов. Некоторые говорят, что именно тогда в стране появилась привычка к шпионажу и доносительству. Это не так, просто в эпоху Токугава полицейский стал важной фигурой в деревне, делиться с ним сведениями стало почетным, — страна наконец превратилась в образцовое государство.

...Следует запомнить: шпионы совсем не обязательно носят с собой в карманах реактивы и с их помощью читают зашифрованные письма. Они совсем не обязательно проникают, как черви, в дома, входят в высшее общество и там соблазняют офицеров Генерального штаба. Ерунда, они собирают информацию, читая наши газеты и слушая радио.

С сего дня вводятся «недели антишпионажа». Каждую неделю следует напоминать населению с помощью газет, кинофильмов, наклеек на спичеч-

¹ Гонинкуми (яп.) — уличный комитет, пятидворье.

ных коробках: «Помни о шпионах». Развесить во всех людных местах плакаты «Палец у рта». Бдительность нации должна быть натянута, как кожа на барабане.

Радиоперехват: японскими подводными лодками потоплены советские суда «Ангарстрой», «Кола» и «Ильмень».

К сведению публики: закрыты развлекательные предприятия первого разряда, в том числе театры «Кабуки» и «Нитигеки». Артисты отправлены на завод, где изготавливают авиационные бомбы.

Из всех видов физической культуры следует развивать только изучение приемов борьбы сумо, фехтования на мечях «будо» и в первую очередь плавание. Многие солдаты тонут после того, как пароходы, на которых их перевозят, торпедируют подводные лодки.

Женщинам с европейской прической по этой улице ходить запрещается.

В школах в каждом классе надлежит вывесить национальный флаг.

— Не так, не так! Руку прикладывать к козырьку, сжав пальцы. Ты приветствуешь воина! Забудь о том, что тебе десять лет. На занятиях ты уже солдат.

В помощь полиции в деревнях организовать охранные отряды из подростков.

С сего числа распоряжением Министерства внутренних дел созданы соседские группы. В каждую объединяются десять семей, проживающих по соседству. Цель групп — политическая, экономическая и духовная мобилизация населения. Группам контролировать распределение продуктов и одежды, подписку на обязательный заем, сбор металлолома, а также разверстку трудовой повинности. Организовать посещение храмов и проводы солдат на фронт. Собираться на собрания, где ее члены обсуждают поведение и ошибки соседей. Старший

группы входит в городской или сельский комитет. Туда же ему надлежит передавать все анонимные доносы и сообщения.

Соседские группы получили указание усилить контроль за духовным единством общества. Строго указано следить за тем, чтобы женщины не делали прическу на европейский лад.

В Иоимури пятидесятипятiletний Мияути от- казался сделать принудительный денежный вклад в банк. На собрании соседской группы он был объявлен отщепенцем, затем последовали арест, допрос и заключение в тюрьму. Та же участь постигла и сорокапятiletнюю Еогами, которая выразила на улице, около наклеенной на стене газеты, сомнение в правдивости военной сводки... Желаем группам благополучия и успеха.

Подсобное хозяйство стояло на отшибе в лесу. Когда Кулагин подошел к нему, смеркалось. Включили фонари — всплыла дорога, застывшая сухая грязь, прошел ворота, под последним фонарем увидел в кустах едва заметную исчезающую тропинку. Шел по ней, осторожно нащупывая ботинком твердую землю, соскальзывая, попадая в траву, мох, прошел шагов сорок — и вдруг из темноты засветилась бельмом — крошечным окошком — избушка. Окно плотно занавешено бумагой, блеснула металлической ручкой дверь. Поднялся на крыльцо, прислушался, дважды раздельно постучал, дверь отворилась. Едва Кулагин переступил порог, человек, стоявший за дверью, сразу же ее захлопнул.

— За вами никто не шел?

— Никто.

Маленький, застеленный пожелтевшей клеенкой стол, два табурета, над столом слабая, свечей двадцать пять, без абажура, на искривленном шнуре лампа. Цыгун уселся напротив, помолчал, посмотрел на Кулагина и наконец деланно-безразлично произнес:

— Ну, раз пришли, расскажите о работе. Давно хотел вас послушать.

— Что рассказывать? Работа как работа. Техника. Рассказывать ночи не хватит... — Но тут же спохватился: торопиться не надо.

— Я вас не про технику, техника меня как раз мало

интересует. Меня интересуют люди. Они ведь у вас все с допуском. — Слово «допуск» подчеркнул.

— Что люди? Стараются. Не в них дело.

— А вот загадками не говорите. Вы пооткровеннее... Все-таки вернемся к народу. Вы их хорошо знаете? Ну например, у кого где родственники?

— Какие родственники?

Уполномоченный сидел под лампочкой, черные тени стекали в глазные впадины. Еще одна тень кольцом окружила рот.

— Что-то вы плохо меня понимаете. Или не хотите понимать... Скажем, офицеры — отношения у них в семьях нормальные?

— В каких семьях? Офицеров всего два: я и техник. Я холостой, у техника жена беременная. Беременная — это, по-вашему, как — нормально?

— Только не надо шутить. Я обслуживаю вас... Итак, вы считаете, что все у вас в порядке.

— Я этого не говорил.

В тишине стало слышно, как шумят сосны, ночной ветер набрал силу, с треском отломилась и упала на крышу ветка.

— Английский язык вы откуда знаете?

— Я его не знаю.

— А с лейтенантом Нефедовым разговариваете.

— Не разговариваю... А-а, было один раз. Он инструкцию к гирокомпасу перевел. Американскую. И спрашивал — правильно или нет? Сам в электросхемах не тянет. Он мне читал, а я объяснял. Вот и всё.

— Значит, язык знает только Нефедов... А что он вам про свои встречи с иностранцами рассказывал?

— Не было иностранцев, языку его родная тетка учила. Она у него работала в школе, язык заставляла учить силой. Каждый день, говорит, по пять слов на карточку ему выписывала, он в трамвае едет и учит; в школе сидит — карточку вытащит и шепчет... Вы что, его в чем-то подозреваете?

— Может быть, и тетка... — Помолчал и быстро: — А как у вас насчет женщин?

Кулагин вздрогнул. Заторопилась, забилась жилка в виске.

— Это теперь вы лично меня обслуживаете?.. Но тогда я не понимаю вопроса.

— А вы не волнуйтесь, сядьте, поспокойнее. Чего понимать? Я про ваших знакомых. Вот, например... — Цыгун достал из кармана записную книжку, сделал

вид, что плохо видит, поднес к лампочке. — Кор... Корзун.

Ах, Маша, Маша, не хватало, чтобы и ее пригласил этот негодяй... Плохо, вот когда плохо.

— Да, знаете, я со всеми, кто в нашем доме живет, знаком. Как же иначе? Встречаемся в коридоре, здороваемся.

— Только здороваемся?..

Цыгун поднялся с табуретки, вместе с ним поднялась его тень, она легла на потолок. Оттого что Кулагин смотрел снизу, тень показалась большой, а комнатка крохотной, потолок низкий. Стало видно, что стены не оклеены, в пазах между бревнами белыми болезненными пучками — мох.

— Ну что же, будем считать,— тень Цыгуна покачалась и остановилась,— будем считать, что разговор у нас не получился. Можете идти... Подождите, сперва я выгляну...

Он погасил лампочку, скрипнула дверь, в комнату вкатился густой запах сырой хвои, в темноте раздались:

— Можно.

Когда Кулагин сошел с крыльца, Цыгун предупредил:

— О нашем разговоре никому. Поняли?

Тропинка, кусты, забор подсобного хозяйства, там раздались голоса, распахнулись ворота; качая фарами, выехал на дорогу грузовик. И сразу же покатили запахи коровьего стойла, бензина, сена, над забором, над крышами сараев задвигали руками черные сосны. «Что же теперь будет?» — подумал Кулагин.

Катился, катился на Восток поток железнодорожных платформ, громоздились на них танки, стояли, задрав кверху зачехленные стволы, зенитные пушки. Медленно ползли, подолгу простаивая на станциях, поезда, битком набитые горластыми, шумными солдатами. Высыпали на полустанках, вокзалах, завивались кольцами вокруг гармонистов — эх, пляши, пол-Европы прошел! — гремели котелками, чайниками, матерно ругались, догоняя медленно ползущие вагоны,— руку, руку, деревня, подай!.. Плывут мимо хмурых станционных зданий автомашины, кухни, на платформах горы мешков и ящиков. «Где здесь Третий Украинский?..» Ехали в отдельных зеленых вагонах бритоголовые генералы, мрачного вида лощеные штабисты, девицы с ними в хромовых

сапожках, все с одинаковыми орденами — красными звездочками. И ехал в одном из вагонов генерал, высок, тучен — гора мяса, белый, надвинутый на глаза лоб. Ехал, зная, что после проверки местных, закисших от безделья армейских частей надо будет проверить еще и флот — странное воинство, не роющее окопов и носящее вместо спасительной зеленой одежды бросающееся в глаза черное и синее, да еще с золотыми погонями и нашивками.

Ни разу в жизни не был он на боевых кораблях и вообще по палубе судна ходил всего один раз: мальчишкой взял его отец прокатиться по Днепру, воспоминание это оставило в душе смутный тревожный осадок. Пароходик только отошел от причала и за первым же поворотом налетел на топляк, раздался тихий удар, пароход стал, поднялась паника, подружили к берегу и долго ждали там, уткнувшись носом, пока не разыскали автомашины и не отвезли перепуганных пассажиров назад в Киев. Что-то необычное, тревожное, где опасность не видна, а спрятана под водой, — вот чувство, которое осталось с тех пор у генерала. Во Владивостоке, сойдя с поезда, решил сразу же начать с моряков — посмотреть стрельбы. Шутки с генералом были плохи. Кроме обычных катеров, на учение никаких других решили не выводить, но генерал, выслушав доклад, сказал, как придавил камнем:

— После артстрельбы и торпедной атаки покажете стрельбу с радиоуправляемых. Как вы их называете? ВУ?

— ВУ, — тоскливо согласились моряки. — Волновые...

В назначенный день (погода отличная, низкая волна, облачность с разрывами) корабли вышли в море. На мостике крейсера группа армейцев, все в зеленом, на плечах узенькие погоны младших офицеров (чтобы запутать японских шпионов, окажись они на корабле). Желтоватые, похожие на паруса, полотнища щитов медленно проплыли по горизонту, отгремели залпы сторожевиков, группа наблюдения аккуратно подсчитала пробоины. Настала пора торпедной атаки, и здесь случилось непредвиденное: дымовую завесу, из-за которой должны были появиться катера, снесло почти на самый крейсер, поэтому выскочило из дыма в самый последний миг что-то плоское, ревущее, мечущее из-под себя белую пену, выплонуло из желобов две торпеды, круто развернулось, назад в дым уйти не успело, пролетело под кормой, едва не задело бронированный борт крейсера,

высоко подброшенное пеной от крейсерских винтов, плюхнулось в воду и помчалось прочь, оставляя за собой дымный след и замирающий бензиновый грохот.

Генерал покосился на моряков: у тех белые лица, белые, каменные, не поймешь — то ли все в порядке, так и надо, то ли чуть не разбили катер, не погубили команду? Промолчал, только спросил:

— Катера ВУ в районе? — и услышал от командира бригады:

— Давно выведены в море.

Два катера волнового управления... С высоты крейсерской боевой рубки рассмотрел наконец их генерал на самом горизонте в бинокль, увидел, как покидают их черепаши выпуклые палубы крошечные муравьишки-люди, как уходят на тут же качающееся на волнах судно, спросил, покривившись:

— А там, внутри, никого не оставили? А то скажете — радио, а внутри человек ручки крутит.

Комбриг усмехнулся, и генерал решил: дерзок!

Аппаратуру для управления катерами еще в порту установили на крейсере, генерал прошел к ней на крыло мостика. Дали первые команды — около катеров выскочили два синих клуба, катера послушно поползли куда-то в сторону.

— Почему уходят?

— Будут атаковать из-за горизонта.

Катерам скомандовали увеличить ход, они снова послушались и исчезли под белыми шапками брызг и пены. Скомандовали поворот. Одно из пятнышек охотно покатилося влево, потом остановилось и стало увеличиваться. Генерал похвалил:

— Славно идет. Ни за что бы не подумал. А где же второй?

И тогда на мостике воцарилась тишина. Второго пятнышка не было. Запросили дальномерщиков, те осмотрели горизонт в огромные пятиметровые трубы:

— Второй катер продолжает уходить!

Командир звена катеров и Кулагин нажимали кнопки. Катер не слушался.

— Заглушите ему моторы, — вполголоса сказал над ухом Кулагина комбриг. — Не торопитесь. Без паники.

Но кнопки были уже нажаты, ручки перепробованы, а с дальномерного поста неслось:

— Катер уходит!

— Куда уходит?

— Курс ост.

— Что еще за ост?

— Восток.

— В Японию...

И снова над мостиком повисла, теперь уже совсем жуткая, тюремная тишина.

— Уничтожить,— коротко и зло бросил генерал, круто повернулся и, скользя подкованными сапогами на железных ступеньках, прогрохотал вниз, скрылся в командирской, отведенной для него каюте. Забегали тогда офицеры, выкрикивая приказания, замелькали связисты с бумажками, и так бегали до тех пор, пока с береговых аэродромов не поднялись истребители, не нашли в море беглый катер и, снизившись до бреющего полета, не расстреляли его, а летающая лодка-разведчик не доложила: «Утонул».

Через два дня, вскрыв хрустящий конверт с лиловыми печатями и пугающим коротким, как выстрел, грифом, прочитал командир бригады лаконичное: «Катера ВУ в случае фактических боевых действий для выполнения заданий не привлекать». Еще (в тревожные бессонные ночи догадается об этом он и сам) в другой адрес, с грифом и вовсе пугающим, проследовало письмо, в котором были имена всех, кто в тот день выводил торпедные катера в море и управлял ими с крейсера.

Крут был генерал, жесток. Правду говорили те, кто воевал с ним на западе.

Каждый месяц он должен был представлять наверх донесения, и каждый раз, когда садился за стол и клал перед собой лист чистой бумаги, охватывало отвращение. Ну что можно написать, если офицеры целый день в море или на занятиях, а матросы только тем и заняты, что возятся с моторами, или катают на тележках от пирса к торпедной мастерской и назад белые торпеды, или маршируют строем в столовую и обратно, а вечерами сидят на скамеечках около врытых в землю бочек с водой, смолят папиросы, или свистят в клубе, в десятый раз смотря поцарапанные, с исчезающим звуком фильмы? Все ленты в бригаде знали наизусть, и киномеханик порой нарочно под радостный гогот пускал какую-нибудь часть задом наперед. Вот отчего Цыгун, как-то сидя в приемной у начальства в городе рядом с опером, обслуживавшим авиационную часть, сказал:

— Руку натер,— показал ладонь,— десять раз переписываю. А что писать? Хоть бы одна сволочь...

На что опер вытащил из нагрудного кармана сложенную вчетверо бумажку.

— Пять минут — и все дела.

— Ну? — удивился Цыгун. — А что, у тебя их много?

— Столько же, сколько у тебя. Бабы... — Он произнес это слово растягивая. — Муж в воздухе, а она... Мне скажи чемодан написать — напишу. От блядства до измены Родине — один шаг.

Он сказал это, играя бумажкой, и Цыгун задохнулся от радостного понимания.

С этого дня работать стало легче.

В органы он попал случайно: служил зоотехником в колхозе, стал погибать скот, вскрыли корову — афты на слизистой.

— Признаваться будем или как? — спросил следователь. — Заражение ящуром. Типичное вредительство. — Это он сказал в сторону, человеку в штатском, который молча сидел у края стола.

Цыгун упал на колени.

— А ну, выйди, — распорядился человек. Следователь вышел, и человек, не размазывая, предложил написать заявление, что болезнь началась после того, как председатель колхоза по приказанию предрика привез и пустил в стадо несколько больных коров.

— Не было, вот ей-ей не было. Каких коров? Откуда бы он их взял? — взмолился Цыгун.

— А если не было, то я его опять позову, — жестко сказал человек и кивнул на дверь, куда вышел следователь. — Значит, вредительство на себя берешь? Прикрываешь контру? Ты знаешь, кем до революции был ваш предрик? Молчишь...

— Дайте бумагу, — прошептал побелевшими губами. — Только научите, как писать.

Второе заявление написал через год: прошу зачислить меня в органы.

Его послали обслуживать флот. Форму выдали морскую, а в сорок втором добавили золотые погоны. Все ничего, да много техники, страшно: всегда можно что-то испортить, взорвать. Правда, часть не поднимут по тревоге, не угонят — квартира, жена, ребенок в тепле, своя кухня. На продсклад придешь вечером — кладовщик без разговора от бруса белого масла отвалит кирпич. Тушенка американская, доппак (торпедникам за выход шоколад дают, сгущенку, а тут и в море идти не надо). И все равно как на льду, потому что, пока не надоумил опер, фамилии навверх не шли. А без фамилий какой ты

работник? В один день загремишь туда, куда уже пока-тили и председатель колхоза, и предрика...

Да, нехорошо чувствовал себя Цыгун, отправляясь в то утро в город, и даже не в том дело, что позвонили ночью, а в том, что вызвал новый начальник отдела, а говорили про него разное: прямо из Москвы, новая метла чисто метет, рвется назад в Москву, а чтобы снова в Москву попасть, надо... И вообще кто любит встречи с начальством?..

Явиться было сказано утром к десяти, и шел теперь оперуполномоченный рейсовым катером. С моря ветерок, на палубе зябко, но в общую, набитую народом, каюту идти не хотелось. Запахнул поплотнее китель и, ежась, смотрел, как плывут мимо, подрагивая, снизу зеленые, сверху с белыми проплешинами сопки, течет встопорщенная короста — бараки на склонах, суетятся у причалов разноцветные разновеликие суденышки, плавающий кран уперся тупым носом в берег, поднимает на набережную катер. Вырвал из воды, катер, поблескивая красным днищем, еще висит в воздухе, красные капли дождем сыплются в воду, а на берегу уже заведены оттяжки и крошечные людишки, уцепившись за них, тянут, как муравьи, чтобы, когда кран начнет опускать, посадить катер точно на сбитую из бревен клеть.

Потом по улице в гору, ноги тяжелые, нет конца той горе.

В кабинет пригласили сразу, хотя в приемной уже было несколько человек, и это тоже — догадался — плохо.

Новый начальник сидел за черным старого дуба столом, глядя прямо на Цыгуна, молодой — чистый, волосы приглажены щеткой, не в форме, в гражданском.

— Товарищ Цыгун? Давайте знакомиться. — Но из-за стола не встал, руки не подал, сесть тоже не предложил. Помолчал. — Так как в бригаде у нас, у моряков?

Отвечать надо быстро.

— Дела, товарищ полковник, сложные. Бригада — соединение большое. И катера, и береговая база, тут же семьи, свое подсобное хозяйство... — Подсобное ввернул на всякий случай, — завхоз известный вор. — Обо всем недавно представил донесение вашему заму. Есть несколько серьезных сигналов, по ним начал проверку.

— Сами как устроились? У вас ведь девочки?

Холодком подуло: «как устроились?» можно понимать по-разному — «не прихватил ли чего лишнего?» А начальник уже вышел из-за стола, прошелся («В каких

это ты кабинетах подсмотрел, кто так говорит, расхаживая?»)

— Я хочу, чтобы все, с кем я работаю, понимали: мы призваны обслуживать части и работать с людьми. Но тут есть тонкая разница... — Начальник говорил легко, красиво, и от этого слова перестали пониматься, потекли, вытянулись в нитку... — Ни армии, ни дивизии не ошибаются и не предают, ошибаются и предают люди... Вы знаете, как распространяются радиоволны?

Ответа не ждал.

— ...Так вот и люди. Какой путь они выберут? Неизвестно. Американские катера к вам давно пришли?

— Пять месяцев назад.

— Вы их проверили? Американцы ведь не дураки, такой шанс упустить не могли. Надо было все-все обыскать: ящики, рундуки. Командирскую каюту лично обшарить, все перевернуть... Это ваша крупная недоработка.

Про американские катера ясно, для страха. Цыгун покорно опустил голову. Главное впереди. Что он сказал про радиоволны?

Пол под ногами растрескался, паркету лет сорок, не меньше. Что тут было во время русско-японской войны? Банк... Начальник перестал ходить, и от этого стало ясно: сейчас...

— Скажите, Цыгун, а что у вас произошло во время инспекторской проверки? Вы сами в море не выходили?

«Быстро, быстро вспомнить... Как всегда, прибежал ночью нужный матрос, все-все доложил. Только бы угадать, что ему надо».

— Кажется... вышел из-под управления катер.

— Такие вещи вы должны знать совершенно точно.

Начальник вновь зашел за стол, сел, подвинул к себе лежавшую на краю тонкую зеленую папку, взял руки в замок.

— И куда же катер пошел?

«Вот оно, началось... Повернуть голову, отжать воротник...»

— В море. Ушел, но был потоплен авиацией, успели поднять с аэродрома.

— И всего-то?.. А если понимать так: режимный катер чуть было не ушел в Японию. Чуть не ушел, а вы имеете об этом самое смутное представление. Так, так, так!... А скажите, катер сам мог уйти?

И вот тогда-то с ужасающей простотой все стало ясно:

— Не мог. Никак не мог.

— Да-а, проморгали. Такое чепэ чуть было нам не подкинули. И вы проморгали, и... — Начальник спохватился, больше никого не назвал. — И в какое время вы это сделали? Сейчас, когда так нужна бдительность. Кричим «победа», а что война еще не закончена, забыли. Что фашистская резидентура осталась, не помним. Неужели процессы, которые мы вели перед войной, нас ничему не научили? Идиотская болезнь беспечность. — Начальник снова начал говорить легко, скороговоркой, и от этого стало совсем страшно. — А как мы работаем? Как ведем себя? Вы сколько раз квартиру себе меняли? Два раза. У чекиста должны быть чистые руки. Никаких поблажек себе... Почему я должен объяснять вам азбучные вещи? Ну да хватит: то, что произошло в бригаде, это не случайно. Понимаете? И я жду от вас...

— Фамилии,— выдохнул Цыгун и тут же, торопясь, начал называть.

— Не суетитесь. Давайте по порядку, с самого верха. И садитесь, не стойте, в ногах правды нет... Так, от комбрига до командира звена мы с вами прошли. Проверить надо каждого. Но это все — командиры, а чтобы катер сам в море повернул да пошел, как по заказу, куда надо, следует предварительно в нем покопаться, залезть в мотор... Не знаю куда еще. Ни кобмриг, ни командир звена этого делать не будут.

— Кулагин. Старший инженер-лейтенант Кулагин. — Все стало на свои места. И как он сам раньше не догадался! Что баба, баба мелочь... Ах ты!

— То-то... Давно бы так. — Начальник раскрыл зеленую папку. — «Во время оккупации Украины... Вы слушаете?.. Мать Кулагина эвакуировалась из Харькова на Урал. По показанию соседей, зимой 1942 года приходил немецкий офицер, молодой, лет тридцати, звание не установлено. Спрашивал Кулагину, назвался родственником, оставил рижский адрес, если она вернется. Соседи побоялись и адрес выбросили...» Вот такая, товарищ Цыгун, информация.

...Когда пришел в себя, снова вернулась способность слушать и понимать, начальник уже говорил, опять быстро, любясь, как ловко у него укладываются мысли.

— ...Я не хочу сказать, что ваш Кулагин изначально был врагом. Может, все произошло случайно, его завербовали, заставили сойти с дороги. Он, может быть, и не заслуживал такой судьбы, был, как все мы, простым человеком — и вдруг родственники... О, родствен-

ники — великая сила, их ведь нельзя менять. Не мы их выбираем, а они нас. Вот почему всегда начинайте с них. В старых личных делах можно найти немало интересного. Человек писал когда-то, не задумываясь, что пройдет время, и дело снова возьмут в руки, лет через пять, и сравнят... Тогда-то, обычно, и всплывает... Знаете, над чем я сейчас думаю: вы и Кулагин. Понимаете, что вы наделали? Я читал ваши донесения: «Матрос Стешенко, по заявлению соседей, живет с женой флагманского артиллериста...» Вас давно взяли в кадры? — Он снова вышел на середину комнаты. — Слушайте внимательно: инженера не трогать. Он, конечно, успел кого-нибудь завербовать. Нужна группа. Дальше: как он передавал японцам сведения? Связь в его руках, к радиопередатчикам постоянный доступ. Надо проверить все передачи на частоте катеров. Все, что шло в эфир. И действовать быстро. Насчет комбрига и командира звена — вариант тоже проработать. Людей в помощь я дам. Но чтобы никаких неожиданностей. На все вам только неделя.

— Волновые сейчас в море не выпускают, можете не беспокоиться, — взмолился Цыгун. — Что мне неделя? Ведь столько надо проверить, в одной морской разведке читать радиоперехват дней десять.

Начальник сунул руку в карман, вытащил ключик, отпер в стене сейф, достал из него бумагу, высмотрел в ней что-то и, заперев, коротко бросил:

— Восемь. Больше не могу. Восемь дней, и чтобы к этому времени у меня на столе все лежало. Какое, кстати, у вас образование? — Нехорошо усмехнулся, ответа дожидаться не стал. — Конечно, в нашем деле образованны далеко не все. Знаете, что Клаузевиц говорил?

От Клаузевица замутило совсем. Не чуя, как барственно начальник кивнул, подтолкнул в плечо, вышел из кабинета, желтыми кругами по сторонам потекли стены, прислонился, отер со лба пот.

«Проглядел, проглядел Кулагина, а ведь мог и сам сообразить: где секретов больше, туда ОНИ и лезут, как черви собираются... Какого проглядел. Это тебе не вор на подсобном хозяйстве. Кстати, завхоза тоже надо будет взять, чем больше, тем лучше... Кажется, на этот раз все обойдется. Обойдется ли?»

Успокоился, уже идя назад рейсовым. В бухте кран поставил свой груз и ушел. Катер высился там, задрав

нос, под ним копошились муравьи-людишки — скребли днище, красили.

«Тоже торопятся, у всех свой срок, каждый к своему часу должен закончить... Восемь дней? Управляюсь».

Он стоял около входа в клуб: хотелось увидеть Машу, посмотреть издали на нее, даже не здороваться, а только посмотреть. Цыгун подошел незаметно, стал боком, произнес еле слышно: «Зайдите после кино». От этого Машу не дождался, расхотелось смотреть фильм, ушел бродить. Дорога увела к перешейку, тот отделял южную, мелкую, часть бухты от моря. Низкий, песчаный, намывной, на нем стояло несколько почерневших от дождей рыбацких бараков, сушились на кольях сети, к стенам были привалены вытащенные из воды лодки. В темноте все это казалось выдуманным, нарисованным или вырезанным на доске или на камне; пахло смолой, рыбой и водорослями, по обе стороны перешейка себребилась вода.

Постояв около сетей, жадно подышав солью, посмотрел на ручные часы (огненные стрелки на огненном же циферблате показывали: кино вот-вот кончится), торопливо пошел назад. На подсобном шумно дышала корова. Нырнул в кусты и знакомой тропинкой поторопился к цыгуновской избе. Там уже полоской в окне горел свет. Уполномоченный быстро закрыл за Кулагиным дверь и сразу же спросил:

— Ну, как вам кино?

— Я не смотрел.

— Что так? Надо было посмотреть, поговорили бы... Мне понравилось... Я вот все присматриваюсь к вам, человек вы интересный — лишнего не болтаете... А у меня такой вопрос: из ваших матросов на оккупированной территории никто не был?

— Не интересовался. А что, надо было?.. Постойте, как это — на оккупированной? Ведь если бы кто там и был, как бы он на катера попал? Вы бы его первый и убрали.

— Да?.. А вот таких разговоров среди матросов при вас не было: мол, чуть войну не проиграли, немца до Москвы допустили? Не говорили?

— При мне язык никто не распускает.

Разговор не получался.

— А теперь в порядке учебы. Очень сложно завести по радио мотор?

Теперь Кулагин удивился.

— Ну, знаете, в двух словах этого не объяснишь. Вы устройство шагового искателя знаете?

«Шаговый искатель... Сволочь такая».

— Ладно, оставим. Вы мне все-таки про своих матросов что-нибудь расскажите. Раз уж мы начали встречаться...

— Просто матросов у меня нет. Все — специалисты. У одного мотор, у второго электроприборы, у третьего радиоаппаратура. Об этом лучше говорить на катере, там все можно и показать.

«Что это он все про матросов? Наверное, хочет, чтобы я назвал фамилии. Говорят, бывает так: спросят любые фамилии, а потом тебе их и предъявляют... Но матросы тут ни при чем. У опера на уме что-то другое. Что он может подозревать? Если нужны матросы, можно посмотреть их личные дела. Катера тоже ни при чем... Что он может понимать в катерах. Неполадки... Где их нет? Катера — гордость бригады. Неполадки не в счет. Я сам как на ладони: не был, не состоял, не привлекался... Маша? — Как обожгло. — Конечно, Маша. И не она сама, а муж. Связист, штабник, у него в руках радиостанция, документы, через него все приказания, все донесения. Если под кого копать, то скорее всего под него...» — И сразу все стало на свои места. — Вот почему — я. Сперва я, потом — Маша, ее легко запугать — расчет простой, через нее — все о муже. Живут они плохо, это известно. Мерзко, ах как мерзко... Предупредить ее? Оскорбится... Нет, говорить ей нельзя».

Тускло, вполнакала, светит лампочка. Молча сидят друг против друга. Копошатся на погонах тени. Погоны морские, одинаковые. Фиг они одинаковые, оттого и злоба.

«Издевается инженер, издевается. За дурака считает. Это уж точно — за дурака. Все, думает, рассчитал. Оттого и не отвечает. Погоди, посмотрим, что ты запоешь через неделю. Надо посмотреть по личным делам, кто из матросов родом из Средней Азии. Казах, кореец, таджик... Японец вполне может сойти за таджика».

Оперуполномоченный сглотнул слюну. Война к концу, а тут такое дело свалилось...

— На сегодня все. Можете идти...

Из продовольственного склада выносят картонные коробки с допайками.

— Что там? — спрашивает штабной писарь и лезет рукой в коробку. — Ого, сгущенка, шоколад...

— Уйди, сволочь!

Пайки были введены тогда, когда катера были маленькие, металлические, плавали на них в резиновых костюмах по грудь в воде, на ходу заливало. Сейчас катера большие, жить на них можно. Пайки отменить забыли.

По-прежнему, что ни день, гремят по ночам в казармах звонки, вскакивают одурелые от смрадного ночного воздуха матросы, в охапку схватив робы и бескозырки, громыхая сапогами, скатываются по деревянным лестницам вниз от казарм к бухте, там припадают к торпедным аппаратам, забираются в турели к пулеметам, обрушиваются в люки к моторам в машинные отделения. Все изготовлено к выходу, катер замер около кнехтов, к которым привязан кормой и носом, сейчас матросы сбросят с чугунных вздыбленных столбов канаты, взревет, ударят винты, медленно поползет, вытянется на середину ночной зловещей воды горбатый морской торпедоносец... Отбой! Не взорвались, не ударили моторы, не полетели в воду сброшенные с кнехтов канаты, медленно выбираются из катера мотористы, пулеметчик, торпедист, расстегнул, стащил с головы шлем командир, грохочет сапогами, стягивает с ладоней чистые перчатки, идет в штаб. А в Корабле бродят в окнах красноватые огоньки, припали к стеклам испуганные женские лица: неужто началось? Нет, пронесло. Странно, непонятно, тревожно: а ну как уйдут? Кто вернется сам, кого принесут завернутого в белую, из госпиталя прихваченную простыню? Наконец слышны шаги — возвращаются из штаба, идут с катеров. Открывай дверь, лезь под одеяло, что же ты, дура, такая холодная? У окна стояла, тебя ждала...

Августовским прохладным утром Нефедова вызвали в штаб. Бригадный штурман сунул в руку доверенность на получение карт, низкий раздавленный зеленый «виллис» ждал уже около дверей, вооруженный сопровождающий (карты секретные) сидел в нем. С места рванули, круто на поворотах взвизгивая тормозами, скатились на шоссе, хрустя мелким стреляющим щебнем, помчались в объезд города в Гидрографию.

Обратно ехали вдоль железнодорожных путей, через товарную станцию.

На путях, набитые плотно, как патроны в обойму, стояли эшелоны. Их хвосты не помещались на боковых линиях и вылезли на главную. Чтоб пропустить проходящий состав, вагоны то и дело двигали, лязгала сцепка, вскрикивали маневровые паровозы. Между путями качалась серо-зеленая толпа — скатки, ремни, каски, плоские, как ножи, штыки. С грохотом прокатили полевую кухню. Медленно, скрежеща и качая над толпой дуло орудия, проползла самоходка. На ней кто-то торопливо мелом написал «срочный ремонт». С платформ скатывали автомашины. Пронесли минометную плиту. Тонкий молоденький голос крикнул было: «Рота, стройся!» Голос утонул в реве паровозного гудка... Над растекающейся толпой поднималась ржавая пыль, стояли запахи мазута, разлитых под колесами помоев, мочи.

— Поберегись! — Едва не задев Нефедова, рядом проехал низенький, как жук, тягач с противотанковой пушкой.

— Ящик с тушенкой раздавил, паразит!

Медленно, обдавая людей паром, лязгая, прошел еще один состав. На платформах стояли лоб в лоб, скрестив пушки, танки. Люки были открыты, танкисты, сбросив шлемы, сидели на машинах. Эшелон где-то попал под дождь, капли на танках блестели.

— Сила-то какая прет! — выдохнул кто-то рядом.

— Думаете, скоро начнется? — спросил Нефедов.

Человек переменялся в лице, поспешил прочь.

Прозвучала команда, глухо, вразнобой ударили сапоги, закачались зеленые пилотки, задвигались скатки, автоматы, дула винтовок — полк потек от железнодорожных путей вниз под горку, к шоссе. Там, за мысом, за домами, поднимались стрелы портовых кранов. «Виллис», качаясь, перебрался через пути, чтобы тут же, на дороге, застрять, упереться в колонну. Солдаты шли оглядываясь, за поворотом открылся порт, около длинного, очищенного от людей и машин причала вытянул ладно сбитое тело длинный серый фрегат. На мачте шевелился бело-голубой флаг. Колонна втянулась в порт, солдаты в ожидании погрузки стали располагаться на земле. Шофер крутанул руль, «виллис» проскочил мимо ворот порта, пошел, ходко карабкаясь на сопку. На перевале ударил ветер — заискрило, засверкало, вспыхнула синь, а потом и открылась Гомера, катера, причалы, на склоне сопки домики, среди них огромный Корабль, за ним полузакрытый деревьями штаб. Когда подъехали

к нему, в коридорах уже метались люди, флаг-штурман тащил ворох бумаг, увидев Нефедова, крикнул:

— Беги в секретную часть, получи дополнение к логии. Карты привез? С девиацией у тебя все в порядке?

— В порядке.

— Планы всех портов не забудь: от Юкк до Гензана¹.

— А что такое?

— Ничего.

Нефедов растерялся, пожал плечами. Но остаток дня прошел спокойно.

Идти к командиру бригады не хотелось. Как все люди, ощущающие себя обделенными, он с неприязнью думал о тех, кто уже до революции составил себе положение, получил образование, в любом разговоре держался уверенно. Никогда не видел Цыгун предрика, о котором сказал тот, кто вербовал в органы: «Не обошло». Эта мысль, помнится, доставила ощущение справедливости.

Но идти надо было, надо было разузнать, что записано в личном деле Кулагина.

Комбриг торопился, принял, стоя посреди кабинета, уже одетый в меховую кожаную куртку, в руках летный шлем, принял, как всегда, вежливо, извинился, спросил, чем может помочь. Разговор получался коротким.

— Вот, зашел,— сказал Цыгун, стараясь не глядеть в глаза,—пустяк, проверочка, мне бы дела офицеров.

— Чьи дела?

Цыгун замялся, называть одну фамилию Кулагина не следовало, назвал первые, которые пришли ему в голову: двух командиров дивизионов, начпрода береговой базы, потом запнулся и добавил единственную нужную:

— Может быть, сходите сегодня с нами? Три катера, на двух командиры молодые, сразу увидим, кто чего стоит.

Оперуполномоченный не переносил качку, и комбриг это знал.

— Вам про наше учение говорили?

— Когда катер чуть не ушел?

Комбриг пожал плечами.

¹ Современные названия портов: Юкки — Унги, Расин — Наджин, Сейсин — Чхонджин, Гензан — Вонсан.

— Уйти ему не так просто. До середины моря бензина бы хватило, а там остановился бы, нашли.

— Как до середины? А мне сказали...

Это вырвалось неожиданно, но комбриг уже распо-ряжался насчет дел, извинился и ушел. «Ведь надо же такое ляпнуть, показать интерес!» Дверь открылась, кадровик внес дела.

— Вам будет удобнее работать с ними здесь. Никто не зайдет. Когда кончите, скажите секретарше, я беру.

Сразу же раскрыл дело Кулагина. «Родственники со стороны отца и матери». Родственников, кроме умершей в детстве сестры, показано не было. Отец умер в тридцать восьмом... Концов нет.

Спустя полчаса кадровик принимал из рук Цыгуна папки с личными делами, а комбриг в это же время, привалясь к ограждению катерной рубки, застегивал под подбородком шлем и с досадою размышлял: «Просто так он прийти не мог. Дела взял четверых. Начпрод отпадает. Командиры дивизионов и так под наблюдением. Остается Кулагин... Катер вышел из-под управления на глазах у генерала... Как сказал уполномоченный? Удивился, что только до середины...» Вспомнил: принимая бригаду, знакомился с офицерами. Последним, куда он пришел, был отряд волновых. Кулагин удивил: на вопрос, уверен ли он, что, когда начнется война, катера покажут себя, ответил:

— Об этом надо было думать лет пять назад. Сейчас поздно.

Такой разговор перед всем отрядом вести не следовало, и он тогда промолчал.

Катер малым ходом уже проходил мимо миноносцев, здесь только что ошвартовался корабль — винты отработали задний, откипела и погасла пена, змеями взвились в воздух и упали на причал канаты, юркие матросы закрепили их за чугунные палы, с мачты скатился бело-голубой флаг, точно такой же медленно пополз вверх по кормовому флагштоку. Комбриг вздрогнул: вспомнилась снова Балтика, Ревель, семнадцатый год, над серыми угрюмыми кораблями нехотя опускаются белые флаги с косыми синими крестами, на их место вразнобой поднимаются наспех сшитые алые, бушуют на кораблях митинги, орет матросня, каждый день сходят незаметно на берег и не возвращаются офицеры, товарищи по морскому корпусу, комиссары обещают выборы командиров. Тронулось, качнулось. Никаких сомне-

ний, ничего, кроме радостной уверенности в будущем, у него, у мичмана, сына попа из Кинешмы, мальчишки, стоявшего на крыле мостика, тогда не было.

На сигнальном посту взвился флаг «Застопорить ход», на берегу заторопились, занервничали, глаза уколола морзянка: «Немедленно вернуться в базу». Командир катера обернулся, вопросительно посмотрел, комбриг кивнул. Один за другим описав по бухте полукруг, катера тяжело, нехотя потянулись к причалу. Там по дорожкам, среди кустов, от домов уже бежали люди.

Черна и глуха августовская ночь, темными парусами плывет над бухтою Золотой рог, над Уссурийским и Амурскими заливами, странно притушены огни в прибрежных поселках, отключены маяки, катится осторожно к берегу низкая волна. Медленно ползет над горбами сопок у горизонта светлый квадрат Пегаса и кружат, словно высматривают что-то внизу, глаза обеих Медведиц. И уж совсем необычно сегодня движение на всех дорогах: между бухтами, между городом и спрятанными в сопках военными городками, радиостанциями и укрытыми зенитными батареями урчат грузовики, глухо топают солдатские сапоги, в порт уже втягиваются, растекаются по причалам безликие, покачивающие штыками и касками колонна за колонной, рота за ротой.

С вечера не ложилась бригада. То у одного, то у другого пирса с грохотом заведется мотор, покрутит на полных оборотах, замолкнет. Или — чуть приоткрылись двери мастерской, выкатили тележку с торпедой, молча повели ее к катеру, что стоит под краном, крышка у торпедного аппарата отброшена, сейчас проглотит черная дыра маслянистую стальную сигару, проглотит с мотором, с винтами, с головой, заряженной четвертью тонны тротила. Трясет молодых матросов: началось!

В штабе плотно завешены окна, быстро входят и выходят люди, на разные голоса звонят телефоны, секретчик сбился с ног: носит, кладет на стол перед комбригом узкие белые листки, на каждом — «Секретно».

Разговоры. Каждый не говорит — выкрикивает:

— Карты портов Северной Кореи на все катера выданы...

— Первой высаживается в Расин разведрота капитана Яковенко...

— Головным катер Рассохи, штурман Нефедов, командиру дивизиона идти замыкающим...

— Верно, что вход в Расин заминирован?..

— Пакет из штаба флота, «Вскрыть лично»...

— Флагманского штурмана ко мне!

На минуту замолчали и снова:

— Бензина Б-100 хватило в обрез на одну заправку. Тыл обещает прислать танкер туда — жест в сторону карты, в сторону бело-желтой Кореи.

— Порт Расин. Рыбацкий причал. Роту высаживать на него. Вход в порт пристрелян. Следующий план — Сейсин... Можно, конечно, высаживаться сюда, в ковш около металлургического завода...

— Далеко от города, армия не разрешит.

— Тогда прямо в порт.

Флагштурман, командиры дивизионов — все вышли, бесшумно вошел кадровик, тихо затворил за собой дверь, замер около стола, вполголоса:

— Оперуполномоченный Цыгун смотрел только одно дело — Кулагина. Папки с личными делами я завязываю своим узлом. На остальных узлы нетронуты.

Оглянулся на дверь. Что-то в этом кадровике всегда нравилось, хотя ни разу ни одним словом, не касающимся службы, никогда не перекинулись. Понимает, чем рискует. Комбриг кивнул. Когда кадровик вышел, отодвинул план Расина, сжал губы. Значит, Кулагин. Потянулся к телефонной трубке.

— Командира первого дивизиона... Да, это я. Вызовите сейчас же Кулагина. Возьмете его с собой. На один из катеров... Ну и что же, что идет механик отряда? Еще один механик не помешает.

«Уйдет с десантом — ищи ветра в поле. Война кончится, может, забудется, а то и — награжден орденом, отличился в бою... Пусть будет так».

Без стука — начальник политотдела.

— Ну что, комбриг, не пускает тебя комфлота в десант? Боится: вдруг обойдешь его — катера ведь первыми пустят, можешь и Героя отхватить... Не любит он тебя.

— Сказал — пока сидеть.

— А мне приказано сформировать группы для работы с населением. Пойдем вместе с десантом.

Какой будет эта война? Короткой, легкой или долгой, кровавой? Темнит, темнит комфлота, все знает, а молчит. У адмиралов и у лейтенантов войны разные. Солдату на границе и часу на нее хватало; в три подняли по тревоге, в четыре тело накрыли плащ-палаткой, в пять уже мимо прополз немецкий танк...

— Ты мне машинистку не дашь?

— С ума сошел. Я ее месяц подбирал. Своих что, жалеешь?

Затрещал телефон, прямой со Штабом флота.

— Слушает командир бригады... Все готово, все... Как прикажете... Поторопить людей? Вас понял.

Сел, подпер голову, посмотрел в спину уходящему начальнику политотдела, но больше телефонную трубку не снимал: люди грузят торпеды, и так торопятся, подгонять нельзя.

Когда вышел на крыльцо, на востоке уже серело, за перешейком море, как посыпанное пеплом, вдоль горизонта кучевое облако, выше него — небо с умирающими звездами, на западе, над ломаной черной линией сопки, у крайнего мыса, дырой — древняя звезда Сириус. За ним и лежат тревожные, знакомые только по картам берега.

Посмотрел на часы. Пять.

Комбриг был прав, он говорил, что мы жили тогда между двух войн. Одна на западе. «В Европе», — говорили мы. Сталинград, окружено двести тысяч немцев. Курская дуга, с обеих сторон участвуют тысячи танков... Из четырех тарелок репродукторов — музыка. Загрохотало, лопнуло — салют, протяжно тонким голосом — ураа-а...

О второй войне мы не знали ничего. Штабные офицеры, которые читали разведсводки, изредка говорили: «Сайпан», «Филиппинское море», «Окинава»... Сотни стальных кораблей топили друг друга не сближаясь, с палуб авианосцев поднимались гудящие, как шмели, торпедоносцы. Сбитые на половине пути, летчики падали в океан. Корабли тонули, источая черный мазутный дым. Если огонь доходил до оружейных погребов, палуба вспучивалась и весь корабль поднимался в воздух. У людей, попавших в воду и не утонувших, отрывали ноги акулы.

Когда американцы захватили Окинаву, они смогли бомбить в Японии любой город. Однажды на Токио сбросили миллион зажигательных бомб.

Бухта Гомера жила в неведении этого.

Из нашего с Рассохой окна была видна бухта. Она была похожа на голубую гусеницу. Вход в нее закрывали две скалы. Когда мимо скал проходило судно, вспугнутые гудком, в воздух поднимались, изгибаясь, как дымные струи, стаи бакланов и кайр.

Дальше высилась сопка, темное пятно на боку: когда в одиннадцатом году наследник российского престолазнакомился с Приморьем, он обещал побывать и здесь. Местные лесопромышленники наняли артель, мужики вырубili на склоне сопки двуглавого орла. Наследник проехал мимо, поляна заросла, но, присмотревшись, и сейчас можно увидеть две орлиные головы.

Однажды Рассоха пошел посмотреть эту поляну. Раскрыв окно, я следил, как он шагает по дороге. Дул ветер. Прежде чем скрыться за поворотом, он расстегнул китель и оттопырил полы. Ветер подхватил его и понес. Его несло, как под парусом.

...С сего числа закрываются опорные пункты пацифизма журналы «Тюо корои» и «Кайдзо». За созерцательное отношение к войне уволены профессора киотской философской школы Такаяма Ивао и Такасака Масааки. Оporочивших себя профессоров заменили сторонники философии разгрома Англии и Америки...

...Приступить с текущего месяца к использованию труда заключенных и военнопленных. Военнопленных китайцев направлять на угольные шахты и рудники. При использовании заключенных обращать внимание, чтобы в их руки не попали предметы, которые можно было бы использовать как холодное оружие. Продолжительность рабочего дня десять часов, для предприятий, где применяется труд заключенных и военнопленных, — четырнадцать. Разрешается привлекать женщин к ночным работам. Запретить производство предметов роскоши (золото, серебро), а также изготовление дорогих тканей (бархат); запретить производить галстуки мужские дороже 4 иен, часы дороже 50 иен, авторучки дороже 5 иен...

Вместо риса выдавать по карточкам смесь толченой пшеницы, вермишели и сухарей...

...С сего числа запрещается печатать в газетах фотографии людей с раскрытыми зонтиками, так как это может стать для врага источником информации о погоде. Запрещается также употреблять выражения типа «жаркий душный день».

Из продажи изъят номер газеты «Майнити», в нем обнаружена фраза: «С бамбуковыми пиками не выйдешь из положения, нужны самолеты». Автор статьи мобилизован в армию солдатом.

...Вооруженные палками жители квартала окружили дом, они ловили вора; когда его нашли в одной из комнат и вытащили на улицу, он оказался мальчишкой лет пятнадцати. У старухи, стоявшей в очереди, он украл две картофелины. Вора вытащили на середину улицы и забили до смерти. «Бороться с ворами — это наш долг, — сказал Хацуко, — и наше десятидворье никогда не позволит, чтобы кто-то нарушал закон, наша улица останется опорой государству!»

Учитывая, что тысячи гарнизонов оказались на заброшенных в просторах океана островах в тылу наступающего американского флота, Армия приняла решение начать строить подводные лодки и снабжать умирающих от голода солдат. Ни один из них не будет забыт.

Ликвидировано Министерство торговли и промышленности. Вместо него создано Министерство вооружения.

Авиационная кампания Накадзима объявлена Первым государственным арсеналом вооружений.

Впредь на всех военных предприятиях рабочие являются закрепленными, уход считается дезертирством и наказывается по законам военного времени. Похвально, что несколько заводов ввело в цехах работу под надзором жандармерии.

В Токио раскрыта шпионская группа. Во главе ее стоял русский агент Рихард Зорге... Его приговорили к казни через повешение. Вешали тут же, в тюрьме. Никакой табуретки, которую выбивают из-под ног. Балка под потолком, на ней — петля. Человек стоит на полу. Пол раскрывается, и человек повисает над бездной. Потом петлю перерезают и тело падает в яму. В этой тюрьме работал мой брат.

В двенадцать часов двадцать пять минут, идя в надводном положении, подводная лодка И-124 доставила в район атолла Маороа торпеду «кайтай». Два человека, одетые в легководолазные костюмы, заняли в ней места. Раза в два больше обычной, торпеда лежала на палубе лодки, обхваченная металлическими креплениями,— стальной, перепачканный коричневым маслом снаряд, над ним зубьями два стеклянных козырька, через них видны головы водолазов. Командир лодки сыграл погружение, но, как только волны перекатались через палубу и над водой остался только перископ, лодка перестала погружаться, а затем медленно двинулась вперед.

Командир управляемой торпеды младший лейтенант Куamoto сидел сгорбившись на переднем сиденье, не рискуя высунуть лицо из-под козырька. Он знал, что при кажущейся медлительности движения плотность мчащейся навстречу воды сравнима с крепостью камня. В мутном зеленом полумраке вспыхивали и стремительно проносились светящиеся искры. Он поправил обхватившее шею переговорное устройство, услышал в нем треск и, прижимая микрофон к губам, спросил сидевшего сзади моториста, что показывают приборы. В ответ послышался еще более сильный треск, и Куamoto понял, что связь не работает. Прямо перед ним шевелился, светя зелеными буквами, компас — лодка шла на северо-запад. Стрелка глубокомера сперва показывала десять метров, затем качнулась и отошла на двадцать, одновременно качнулась и переместилась влево на пятнадцать градусов картушка компаса. Именно в этот момент командир подводной лодки капитан 2-го ранга Сауки увидел в разрыве атоллового кольца серое, раздавленное, хищное, стальное тело корабля — на рейде стоял крейсер, о котором уже два дня сообщала разведка. Оставалось доставить торпеду ко входу в атолл. Командир был уверен: как пройти сетевые заграждения и подкрасться к кораблю, Куamoto знает наизусть, целую неделю, сидя в торпедe в бассейне под водой и держа на коленях алюминиевый планшет, он изучал план атолла, поглядывал на компас и высчитывал на каждом курсе расстояние. А сейчас в перископ командиру лодки было видно, как медленно раздвигается, увеличивается вход в атолл, как поднимаются из воды белая, разорванная на части пенная гряда над рифом, желтый песок, редкий частокол неподвижных согнутых ветром пальм с резными султанами. У входа покачивался на

волнах сторожевой катер, вправо и влево от него подпрыгивали красные и черные буйки — проход закрывала сеть.

Сауки нажал педальку — сигнал, по которому Куамото должен приготовиться, — застопорил электромоторы, а когда стрелка указателя скорости замерла на нуле, приказал минеру освободить «кайтай». То, что произошло после этого, заметил один Куамото: торпеда покачнулась, спереди и сзади стукнуло — отпали крепления, — торпеда начала всплывать. Треск в наушниках стал меньше, моторист и без приказа понял, в чем дело, сзади тонко запели винты, торпеда набирала скорость. Куамото шевельнул рукоятку руля — снаряд слушался. Бросив беглый взгляд на компас, он лег на курс, ведущий прямо на середину пролива. Главное — обнаружить сеть и, поднырнув под нее, очутиться внутри атолла. Показалось дно. Сначала это было неровное, поросшее причудливыми желто-зелеными отростками кораллов поле, затем оно выровнялось, навстречу потекла однообразная грязно-серая равнина. Наконец Куамото решил всплыть, уменьшая ход, и взял руль на себя. Посветлело, зыбкое водяное зеркало над головой заколебалось, раскололось, сквозь стекло водолазной маски хлынул свет, в лицо ударил ветер. Торпеда медленно продолжала двигаться, качаясь на пологой длинной зыби. Прямо перед ней то поднимался, то пропадал низкий берег. Проход виднелся далеко вправо. Куамото понял, что сбился с курса, обернулся, показав мотористу рукой, куда плыть. Моторист кивнул. Торпеда, заливаемая потоками воды, двинулась вдоль берега. Через четверть часа она погрузилась. Сети все не было, и Куамото, отчаявшись, уже решил было снова всплывать, когда впереди возникла красноватая стена, стена распалась на квадраты. Сеть! От ее нижнего края до дна не более полутора метров. За торпедой тянулся желтый хвост поднятого со дна ила, нос ее вошел под сеть, но стальной ржавый трос уперся в стеклянный козырек. Неожиданно хорошо заработало переговорное устройство.

— Вылазы! — скомандовал Куамото мотористу и, перекинув ногу через борт, вывалился из кабины. Обхватив торпеду руками, водолазы начали протаскивать ее под сетью. Наконец это удалось и, заняв в ней снова места, Куамото и его помощник продолжили движение. Пройдя около мили, они всплыли. Прямо на торпеду шел небольшой рыбачий катер. Торопливо нырнули, пройдя еще четверть часа, поняли, что попали на мелко-

водье. Теперь они были у самого берега, отсюда хорошо была видна лежащая посередине атолла светло-серая громада крейсера. Итак... Итак, сейчас произойдет то, к чему он так долго готовился: они пересекут под водой пространство, отделяющее их от корабля, и, когда в серо-голубой дымке покажется его затененный борт — стальная, опущенная в воду изогнутая стена, за которой копошатся сотни ничего не ожидающих людей в ненавистой американской форме, — он, Куamoto, сделает то, что приобщит его к героям, отдавшим жизнь за великую Японию, — шаг по дороге, которой веками шли тысячи. Он никогда не видел ни одного американца, разве что их самолеты в небе над океаном, самолеты, беззвучно проплывающие, чтобы нести свои бомбы к островам, на которых забытые, отрезанные от Японии умирают тысячи крошечных гарнизонов. Надо ли видеть врага для того, чтобы ненавидеть его, сбросить бомбу, направить в борт, за которым он прячется, торпеду или снаряд? Удар штыком можно нанести и в спину, а если летчик взят в плен, ему можно отрубить голову. Можно ли? Такой спор вспыхнул однажды в казарме, он кончился тем, что одного из споривших увел офицер контрразведки. Конечно можно. Он, Куamoto, никогда не задумывался над ответом. От долгого пребывания под водой болели уши, в голове шум. Куamoto оглянулся: у моториста из носа текла струйка крови. Ни слова не говоря, он показал ему на корабль. В лице моториста что-то дрогнуло, серое от усталости, оно побледнело. Куamoto определил направление на корабль по компасу. Погрузились, легли на курс, который должен был наконец вывести их к цели. Аккумуляторы рассчитаны на час работы. Куamoto посмотрел на часы: с момента, когда они отделились от лодки, прошло уже пятьдесят минут. «На движение полным ходом заряда не хватит, — понял он, — придется идти самым малым». Все последующее показалось ему вечностью. Глубина внутри атолла непрерывно менялась, дно то показывалось, приближалось к самой торпеде, то проваливалось, стремительно уходило вниз, и тогда под торпедой оставалась черная бездна. «Дойдем ли?» Акула со стеклянными неподвижными глазами вынырнула сбоку, некоторое время шла рядом, потом, безразличная ко всему, не узнав людей, не сделав видимых движений, отдалась, растаяла в зеленоватой дымке, еще больше усилив чувство страха и неуверенности. Куamoto снова представил себе, как впереди появится, выплывет из бездны

борт стального гиганта, как он, зажмурив глаза, толкнет вперед ручку электромотора, тот пронзительно запоет, стена приблизится, торпеда упрется в него носом, живой, ведомый им снаряд на миг замрет, а затем начнет сплющиваться от удара, спрятанные в глубине двухсоткилограммового заряда маятниковые взрыватели качнутся, пропуская ток к детонаторам. Толчок! Куамото испуганно открыл глаза: впереди курилось облачко поднятого со дна ила, вертелись обрывки водорослей, плавали белые куски коралла. Винты еле вращались. Куамото решил всплыть и в последний раз осмотреться. В наушниках — тишина, оглянулся — в кабине позади него никого, моторист выпал при ударе. Тихий звук винта был ровным, едва слышным — кончался заряд аккумуляторов. Он всплыл и увидел, что находится в ста метрах от борта крейсера. Но там уже гремели колокола боевой тревоги, на воду торопливо спускали моторный катер. Когда он подошел, у Куамото не было сил. Его втащили в катер, надели наручники. «Кто вы?» — спросил по-японски переводчик. У Куамото задержалась щека...

Мимо него то и дело пробегали матросы в странных плоских шапочках, подскочил офицер и что-то стал резко, громко приказывать. Спустили трап, от берега уже спешил другой катер. Куамото быстро свели вниз по трапу и втолкнули в него. Шли, прижимаясь к самому борту крейсера. Куамото увидел, что якорная цепь уже натянута, очищая ее от грязи, сверху льется вода из брандспойтов. Когда катер проходил клюз, вода колыхнулась и из нее поднялся, с грохотом ударил в борт якорь, флаг с кормы уже был перенесен на мачту, черный шар на мостике показывал «малый ход», развели боновое ограждение, и корабль, набирая скорость, устремился к выходу. Белая пенная волна выкатилась на коралловую мель. Крейсер стремительно уменьшался. Он уходил. Если бы Куамото мог спокойно оценивать то, что видел, он, вероятно, подумал бы, что это похоже на бегство. Не понял он и тревоги, с которой его ввели в штаб, протащили в комнату с зарешеченными окнами и, торопливо крича, угрожая, стали допрашивать.

Окончится война, пройдут месяцы плена, он станет инвалидом с коляской и маленькой пенсией, пристрастится к чтению книг о войне и однажды, читая о том, как была доставлена на базу на Марианских островах атомная бомба, наткнется на упоминание о том, что крейсер, на борту которого перевозилась бомба, был

атакован малой подводной лодкой с экипажем из двух человек, что атакован он был во время стоянки на рейде атолла, водитель торпеды взят в плен, а труп второго члена команды был найден неделю спустя на берегу. Когда смысл этой фразы дойдет до него, старик снимет очки, вытрет тыльной стороной руки слезящиеся глаза и долго будет сидеть в коляске, вздрагивая и раскачиваясь.

Идут, идут вереницей тучи, медленно накапливаются на вершинах сопок, созрев, почернев в ядре, срываются, катятся по горному склону, волоча за собой серые космы дождей вниз, в долину, где блестят мокрые, не просыхающие черепичные и соломенные крыши. День за днем моросит, льет, ночью не включают на улицах фонари, закрывают в домах свет, рано исчезают из магазинов и ресторанчиков посетители. Мрачно и недобро в городе — который год тянется война, идут похоронные извещения, и гнетет, гнетет ожидание: что дальше?

Одиноко и пусто в доме Кадзума: остались в нем две женщины. Редко-редко приходит весточка: две-три строчки от Сайто, и не сразу поймешь, все еще он на острове или уже перешел со своими миноносцами в какой-нибудь китайский порт? Еще реже пишут мальчики, да и что писать из училища? Рано-рано поднимают их сигналами злых боцманских дудок, выгоняют обнаженными по пояс на плац, и там — ветер не ветер, дождь не дождь — две тысячи рук поднимаются вверх и падают, две тысячи матросских башмаков гулко топают по плацу... Всего один раз приезжали братья. Ямадо на вопросы буркнул: «Все как надо», а Суги рассказывал много, но понизив голос и все время чего-то недоговаривая. Нет больше у госпожи Кадзума детей, нет мальчиков, будто и не было светлых, промелькнувших, как один день, лет, будто и не клала она им никогда под подушки кораблики счастья, не наряжала, как кукол, в дни чичигосан, не надевала ранцы с обезьянами в первый радостный день занятий в школе... Долго стояла тогда госпожа у садовой ограды, рука на каменном столбике-фонаре, смотрела, как уходят, а местами, где уклон особенно велик, сбегают двое юношей, тонких, в синих форменных матросских костюмах. Подпрыгивают, дрожат белые чехлы фуражек.

Нет больше у тебя сыновей...

Вечером залезла в фуру. Сперва помыла тщательно,

мылом, лицо, руки, узкие девичьи ступни, потом забралась по горло в бочку (служанка вовремя нагрела воду, перемешала красные угли в топке), едва выдерживая горячую воду, медленно опустилась на дно, задохнулась от чувства, что вот-вот не хватит силы, но через минуту по всему телу побежало блаженное тепло, долго сидела, выставив плечи, покатые, светлые,— пока они понемногу не начали краснеть,— потом вылезла, снова намылилась, слила на себя теплую воду из таза и снова забралась в раскаленный дымящийся розовый рай. Там сидела долго, теряя счет времени. Дважды служанка принесла и подала в фуро чай. Выпила не торопясь, растягивая блаженство, нехотя, лениво выбралась, начала растирать розовое с красными пятнами тело, набросила на плечи халат, запахнулась, прошла в спальню. Еще не укрывшись, сидя на циновках, колени уже под одеялом, протянула руку, включила радио. Черный бумажный кружок в деревянной коробке на полу начал с полуслова: «...в бою у берегов Новой Гвинеи в ночной атаке наши миноносцы потопили два крейсера противника. Четыре наших корабля пошли на дно...»

Потом без перерыва заиграла музыка и хорошо поставленный голос запел:

Десять тысяч лет счастливого правления тебе.
Правь, господин, пока стоят незыблемо скалы...

Плача, выключила радио, натянула одеяло на плечи, голова на волосяном валике, долго лежала неподвижно, молча, без сна...

Атолл Бикини. Когда к нему подошли наши корабли, они спустили на воду бронированные катера, вооруженные пулеметами, и те направились к берегу. Там оказалось всего пять японских солдат. Когда до катеров оставалось несколько сот метров, все пятеро покончили жизнь самоубийством.

На атоллах и вулканических островах, в тылу нашего наступавшего флота, остались маленькие японские гарнизоны. Скучные запасы еды они израсходовали в первые же месяцы. Потом в дело пошли крысы, крабы и мелкая рыба, подобранная в лужах во время отлива. Остров, продуваемый со всех сторон ветрами, севшие батареи радиоприем-

ников, тишина в эфире, солнце, короткие частые дожди, белый безжизненный песок.

...Мы называли эти острова «полигонами» и посылали бомбить их молодых летчиков. Можно было спуститься до бреющего полета и попробовать попасть одиночной бомбой в землянку. Забавное занятие... Я думаю, японцы все подошли там с голodu.

На одной только Новой Гвинее, когда ушел флот, осталось сто двадцать пять тысяч человек. Японцы бродили по джунглям, полным москитов, малярийных комаров и змей. Пока были патроны, они охотились на диких свиней, а потом пытались ловить птиц силками, сплетенными из травы. Их находили лежащими на земле, уже мертвыми. У одного, когда мы обнаружили его, были вырезаны мышцы ног и рук. Их съели... Дольше всех по джунглям бродил один взвод. Их капрал спал, подложив под голову мешочек с солью, — в соли была вся его сила, он выдавал ее по щепотке. Винтовки у солдат, — чтобы они его не убили, — он отобрал. Когда через десять лет после окончания войны его поймали, он все время твердил, что ему нужен приказ сдаваться. Я думаю, он просто сошел с ума.

Слабый ветер шевелит верхушки пальм, листья, ударяясь друг о друга, стучат, как жести, на взлетной полосе стынут серые, горбатые истребители с неподвижными винтами. Около штабного барака вытянулась молчаливая шеренга — в строю девять летчиков, все в легких, расстегнутых на груди комбинезонах, без шлемов, голову каждого охватила белая повязка. В стороне — еще одна шеренга. Каждый из нас стоит в ней, чувствуя, как переминаются с ноги на ногу, наваливаясь на него, соседи. Солнце расплавленным шаром плывет над головой. Раскаленный бетон прожег ботинки. Тени у деревьев подобрались к стволам, сжались и исчезли. Через запыленные окна барака виден висящий на стене календарь. 9 октября. Белые повязки продуманны: идущий в последний бой надевает на голову ленту. Наконец из барака вышел генерал. Тень от длинного козырька упала ему на лицо. Генерал, руки по швам, стал перед шеренгой и начал выкрикивать:

— Священный ветер... Спасенная родина... Путь вои-

на... Американские авианосцы... — и наконец назвал имя — Юкио Секи.

Юкио Секи стоял первым в шеренге. У него было сухое, с провалившимися щеками лицо. Глаза напряжены и полузакрыты. Каждое слово генерала он жадно ловил, чтобы бережно унести с собой в небо. Все мы знали: приготовлено девять машин, но тот, кого зовут Юкио, поведет пятерку, ту самую, где под сиденьем у каждого летчика укреплен ящик с толом, и, прежде чем бросить с высоты машину на американский корабль, каждый летчик выдернет из ящика предохранители...

Четыре истребителя будут прикрывать самоубийц. Юкио Секи, протянув ладони, принял из рук генерала маленькую чашечку саке. Идущие на смерть вкушают радость. Еще одна команда — шеренга дрогнула и распалась — летчики бросились к машинам.

Наша группа тоже разошлась, надо занять место у края поля, чтобы видеть, как один за другим истребители запускают моторы, как бегут, подпрыгивая, в конец полосы и уже оттуда, снова взревев, начинают разбег. Одна за другой машины ушли в небо и там стали на круг. Сделав несколько оборотов, круг распался. Черные самолетные точки поползли на восток. Там, на подходе к островам, как мусор, брошенный на воду, рассыпаны серые щепки — корабли американцев.

Над крышей барака дрожат усы антенн. Никто не расходится. Время течет медленно. Солнце сместилось, и у подножия пальм снова появились зубчатые тени. Из барака вышел генерал. Он оскалил зубы и выкрикнул:

— Великий день... Священные традиции самураев... лейтенант Юкио Секи сдержал слово... Американский авианосец горит... Еще три корабля повреждены... Один самолет разбился о воду...

Над островом в небе слышался гул. Стали видны четыре точки. Они превратились в крестики. Истребители прикрытия шли на посадку. «А тех пяти больше нет,— подумали мы. — Они отдали жизнь за Японию, их тела теперь дым...»

Офицер, перепоясанный ремнями, в плотно застегнутом у горла кительке, на стриженной голове зеленая матерчатая кепка, взобрался на бочку и осмотрел рыбаков. Лицо скуластое, сморщенное. Достал из полевой сумки бумагу. Люди стояли молча, со страхом ожидая.

Коротко вылаивая слова, объявил приказ — эвакуировать остров.

На сборы дал два часа. Рыбаки, ошеломленные, разошлись, и сразу же между хижинами засновали бесшумные, как летучие мыши, женщины, у раздвижных, покосившихся дверей появились узлы, тючки, над сараями, домами закурились дымы, офицер ходил и распоряжался, где поджигать.

— Куда они нас повезут? — кланяясь, спросила Сатоко у старосты. Тот пошел узнавать у офицера, офицер накричал на него. Но скоро прошел слух: везут на Хонсю, это большой остров, там много городов, но еще больше людей, и, значит, эвакуированным рассчитывать не на что.

— Стариков заберут в армию, вот увидите, а женщин пошлют на фабрики...

Сатоко вспомнила о бумажке, которую сунул ей в руку на прощание брат Ямадо, порылась в ящике, где держала тряпки, нашла ее, положила в кожаный мешочек, в котором хранила деньги. Стала одевать сына. Тот, ковыляя, сделал несколько шагов — не надеванные ни разу башмаки резали ноги, — заплакал, прикрикнула: «Тебя повезут на пароходе!» Он скривился, пароходы видел только проходящими мимо. Кожаный мешочек со шнурком надела на шею, начала увязывать вещи, набралось два узла. Около домов уже громоздилось брошенное тряпье. Подхватив узлы, подталкивая впереди себя сына, побрела следом за теми, кто уже ушел. За перевалом открылась бухта, посреди нее на якоре однотрубный, с ржавыми бортами пароход, над ним молча кружат чернокрылые поморники. С бортов стекают струи воды — матросы моют палубу. Над берегом, над желтым раскаленным песком тек и слезился воздух. Заметив приближающуюся толпу, на пароходе спустили две шлюпки, те, шевеля веслами, толчками стали приближаться к берегу.

Грузились на шлюпки, заходя по колено в воду. Одна женщина с ребенком на спине поскользнулась и упала. На пароход лезли по веревочной лестнице, верткие деревянные ступеньки выскальзывали из-под ног, пальцы Сатоко бились о железо. Мальчишка с неожиданной ловкостью, как обезьяна, лез впереди нее. Вещи подхватили краном и грудой вывалили на палубу. С трудом нашла свои узлы, перетасила к мачте, устроилась между двумя связками канатов, прикинула: не будет ли на ходу заливать, посадила мальчишку и села сама, под-

вернув ноги, прикрыв голову от солнца куском мешковины. Грузиться кончили к полудню. Застучал дизель, залязгала лебедка, с тоскливым стуком гроыхая от ударов о палубу, поползла якорная цепь. Судно закачало, берег стал поворачиваться и отходить за корму. Пароход вышел в океан.

Двое суток тащились по синей, голубой пустыне. Набегали короткие злые дожди, но люди были им рады — на время оставляли зной и жажда. Однажды на пароходе стали кричать и бегать: кто-то увидел ползущую по горизонту точку — самолет. Свой или американский? Было очень страшно...

В порт пришли ночью. Город показался черным, улицы, начинаясь прямо от причала, шли как ущелья. Стариков сразу же отделили, построили у трапа и увели. Кричали женщины — их задержали на палубе, потом, когда причал опустел, на берег сошли и они, растерянные, голодные, с плачущими детьми, застыли, сбившись в дрожащую, обреченную кучу. Когда небо над гаванью стало сереть, из темноты вымыло кирпичные стены складов и изогнутые крыши домов. Пришли служащие порта в сером и полицейские в синих форменных куртках, стали прогонять приехавших, какой-то чиновник сказал, что тех, кто пойдет за ним, он устроит на общественные работы — рыть землю.

— Окопы. Скоро здесь будет война, — шепнула соседка, она держала за руки двух девочек. — Кто нас накормит? Я пойду с ним.

Прошли ворота. Чиновник приказал оставить вещи на улице и пообещал прислать за ними машину. Сатоко с несколькими женщинами решила их караулить.

— Кириидзуми...

— Что ты шепчешь? — спросил ее сын. — Я хочу есть, ты слышишь, я хочу есть.

Ито призвали в январе. Пришел почтальон и принес красный листок. Вторую такую же повестку принесли в мастерскую.

— Вот ты и попался, — сказал хозяин, — а я-то думал, ты протянешь еще годик, глядишь, война бы и кончилась. Наши войска уже вступают в Индию. Не вступают? Значит, я напутал. И уже бомбят Австралию. Говорят, у нас есть оружие, которым можно разрушить любой город в Америке. С чего ты взял, что мы оставляем острова?

Юкки, увидев повестку, проплакала всю ночь. Ей очень хотелось иметь ребенка.

— Ну вот, а ты говорил, потерпи, потерпи, когда окончится война... А если теперь тебя убьют? Ито, постарайся, ну сделай это ради меня. Я так тебя люблю. Если бы не ты, я так бы и осталась под мостом. Меня покупали бы за деньги, а я бы говорила: ну вот еще один день прожила. Я не могу без тебя, без твоего ребенка, умоляю тебя, ну пожалей сегодня меня...

— У него нет технического образования, это деревенский мальчишка,— сказал один из офицеров в приемной комиссии. Комиссия сидела за столом, рядом трое. Ито, в расстегнутой, выпростанной из штанов рубашке, сгорбившись, стоял перед ними.

— Ничего, главное, здоров. Есть указание сейчас направлять в авиацию именно таких,— вполголоса объяснил старший. — Не обращать внимания на образование. — Он был председателем комиссии, два остальных важно закивали. У председателя поперек лба багровел шрам, он получил его в Китае в самом начале войны, во время усмирения восстания.

Остальные члены комиссии снова закивали, и в личном деле Ито появилась запись: «Воздушные силы. Оставить на Сайпане».

В тот день мы прикрывали высадку десанта в заливе Лейте. Наш «Сент Ло» бродил переменными курсами недалеко от берега. Эскортный авианосец — их переоборудовали из торговых судов, дешево и сердито, никто ими особенно не дорожил, нас совали в каждую дыру. Так вот, в 10.50 раздался сигнал тревоги. Появились японские самолеты. Их мы насчитали не больше десятка. Один направился к нашему «Сент Ло», сделал над ним горку и вдруг обрушился в пике. Он падал, а я видел кабину, шлем и неподвижное желтое лицо летчика. Потом — взрыв, и сразу загорелись отсеки с бензином. Огонь хлестал из всех дыр, мы метались по палубе, это был какой-то ад... И вдруг палуба наклонилась и стала уходить у меня из-под ног. Остальные японские летчики тоже пошли в атаку, они врзались в борта авианосцев, как торпеды... Я буду помнить это всю жизнь... Меня вытащил из воды катер... Что у меня с кистью руки? Сгорела... Да, это был черный день: 9 октября 1944 года — начало атак камикадзе.

Его звали Ясунари Аоки. Он направил свой самолет на один из кораблей, но промахнулся. Он врезался в воду, не долетев несколько метров до борта. Аоки подняли из воды. В кармане его летной куртки нашли письмо: «После того как я умру, ты можешь делать все, что тебе вздумается». Я спросил его: «Кому адресовано письмо? Девушке?» Он ответил: «Моему брату».

Флотом, который, напав на Пирл Харбор, начал войну, командовал адмирал Ямамото. Так вот, наши адмиралы давно охотились за ним. И вдруг радиоразведка перехватывает сообщение: Ямамото вылетает на Новую Гвинею инспектировать расположенные там части. Ему устроили в воздухе засаду. Истребители охранения сразу были сбиты, и настал черед двух пузатых транспортных машин. Прежде чем расстрелять их, наши истребители несколько раз промчались мимо окон и видели, как Ямамото, припав к стеклу, смотрит на них... Обе машины развалились в воздухе... Японцы увидели это с берега, спустили катера и кинулись подбирать трупы. Тело адмирала тоже нашли. Его предали огню, а урну с прахом отвезли в Токио. Огромная кубическая, украшенная орденами и лентами, она стояла в мемориальном парке Хибая. Тут же стоял портрет адмирала... Я думаю, доживи адмирал до сентября сорок пятого, мы бы его повесили. Мы — это американцы, англичане и русские.

Пальмы и панданусы, рыжая трава вдоль обочин, крутые холмы сваливаются к воде, через воду просвечивает беловатый с черными пятнами мертвый коралловый риф. Извиваясь как змея, колонна новобранцев поползла в глубь острова, перевалила через прибрежные холмы и замерла около низких одноэтажных, крытых проржавевшим железом барачков. За бараками курилась коричневой пылью, тянулась взлетно-посадочная полоса, около нее сустились люди. То вытягиваясь из капониров, то ныряя в них, перебежали, ревели моторами, тянули за собой хвосты кирпичной пыли учебные самолеты.

А потом однообразные дни занятий в классах, в ангарах, где стояли на деревянных козлах разрезанные со вскрытыми цилиндрами моторы и лежали на цемент-

ном полу уложенные в ряд бомбы и снятые с машин пулеметы, около них набитые остроголовыми медными патронами ленты.

Камикадзе... это слово Ито услышал через неделю.

В полдень приехал генерал. Раскаленное до белизны солнце дрожало в зените, тени пальм собрались к подножию стволов. Подняв оранжевую тучу пыли, на посадочную полосу нелепо, боком, юля и прыгая, сел «зеро». Когда он остановился, из кабины вытащили летчика — у него была прострелена шея. Летчика унесли.

— Где выделенные для героев машины? — спросил генерал. Он был мал и худ. Вислые, по-собачьи, щеки дергались.

Несколько истребителей стояло в стороне в линию. Над ними на шестах был натянут маскировочный брезент.

Генерал спросил про моторесурс, кисло поморщился (моторы требовали переборки), спросил, можно ли их заменить, услышал в ответ: «Только у двух — в авиамоторный склад на днях попала бомба», подергал щекой, подлез под крыло истребителя и, присев на корточки, долго рассматривал шасси.

— Эта мысль не моя, — сухо сказал он, вылезая оттуда и стряхивая с колена пыль, — я не хочу выдавать ее за свою, но она мне нравится. Еще никто не довел ее до металла. Это сделаем мы, мы опережим тех, кто отсиживается в тени токийских пагод и вечерами молится, чтобы ночь прошла без налета...

Он говорил непонятно и зло, но все собравшиеся слушали его, согласно кивая.

— Позовите механиков, — закончил генерал.

Переделанный самолет испытывали вечером. Длинные тени уплотнились и перечеркнули аэродром, солнце опускалось, делясь надвое у горизонта, на посадочную полосу выкатили истребитель. В кабине сидел молодой летчик. Он был без шлема, лоб пересекала белая лента. В конце полосы стояли наготове два автокрана, а неподалеку от истребителя — автомашина. Дрогнул и сделал один оборот винт, мотор затрещал громче, самолет вздрогнул и, выдувая из-под крыльев длинные струи смешанной с сухой травой пыли, побежал по полосе.

Генерал и его сопровождающие проворно сели в автомашину и покатили следом. Когда самолет прекратил разбег и остановился, к нему подогнали краны. Генерал и вся свита присели на корточки. Они сидели и молча смотрели, как два крана медленно, с натугой поднима-

ют самолет. Наконец тросы обтянулись, скрипнуло, за-трещало — и зеленая короткокрылая птица, лишенная ног, приподнялась в воздух.

Шасси осталось на земле.

— Так,— сказал генерал и хрипло, по-бульдोजьи дергая щеками, засмеялся. — Значит, взлет пройдет нормально, все в порядке — самолет поднимется в воздух, а шасси останется на земле. Три дня вам на переоборудование всех машин. Что вы мнетесь, капитан?

— Вы совершенно правы, взлеты пройдут нормально. — Капитан, командовавший группой камикадзе, испуганно вытянулся. — Все будет так, как вы приказали.

— Камикадзе... Я не могу приказать им взлетать без колес. Они добровольцы,— сказал генерал. — Я могу только приказать переоборудовать самолеты. И обратите внимание, капитан, в казарме у вас грязь. Следите за чистотой. Прикажите подкрасить самолеты. У них отвратительный вид. Заведение с девками, а не воинская часть, не аэродром. — Он стремительно пошел прочь.

...Появились карточки «хайкю», по которым дают рис с добавками, а мясо, жир и сахар малыми порциями только больным в госпиталях.

Объявлено начало «Движения за увеличение естественных удобрений». Содержимое выгребных ям и сортиров контролируется полицией. Женщины выходят на улицы с совками и следуют за каждой лошадью, ожидая, когда та поднимет хвост, и тут же подбирая совком желтые дымящиеся шары. В городах превратили в огороды все клочки земли, перекопали скверы и узенькие полоски между домами, посадили там бобы и китайский остроконечный, похожий на морковку картофель, вдоль каждой стены натянуты веревки, по ним змеятся побеги гороха и висят плети огурцов и кабачков. Когда они начинают созревать, приходится по ночам охранять их, — в городе бродят нищие и дезертиры.

Около магазинов с утра выстраиваются очереди за пайками. Женщины терпеливо ждут, они стоят часами, до тех пор пока дверь не открывается, не выходит хозяин лавки и не говорит: «Извините, сегодня опять ничего нет».

...С улиц исчезли яркие кимоно, и не стало видно высоких причесок. Женщины носят широкие шаро-

вары момпе и просторные темные блузы хантэн, еще они надевают капюшоны, которые при пожарах защищают голову. Пропало мыло, а за хворостом или за угольными брикетами приходится стоять целыми днями...

Когда состоялось собрание нашей десятидворки (я первый раз попал на него, так как уезжал помогать больной матери в деревню), нам было еще раз сказано, что главное — это учет жителей: чтобы не было дезертиров и людей, уклоняющихся от воинской повинности. А еще очень важны охрана квартала, борьба с пожарами, поимка бродяг, воров и дезертиров. Особо обратить внимание на разговоры, кто что говорит, и не нарушают ли эти разговоры запретов, наложенных правительством? Во время налетов американской авиации надо следить особо тщательно. «Задержан неизвестный. Собирался подавать сигналы вражеской авиации» — так доносили мы в полицию. Наши донесения читали в соседних кварталах вслух: пример патриотического поступка, все должны подражать ему.

С мая сего года основную часть пайков (рис) выдавать только по месту работы. Норму выдачи рыбы установить 30 граммов в день на человека.

Учитывая, что основным видом топлива в домах является уголь и брикеты из смеси каменного и древесного угля с опилками, ввести их нормированную выдачу.

Покупая по карточкам, можно жить и на горсть иен в месяц, но тогда ты еле поднимаешься по лестнице. На черном рынке горсть риса стоит уже в двадцать раз дороже.

Даже яйца стали роскошью, все проклинали черный рынок, но покупают на нем.

В поселке Ханедо до войны жило двести семей. Каждый крестьянин имел от пяти тан до одного тё земли. Сейчас осталось всего сорок семей, в которых нет ни одного мужчины старше шестнадцати и младше шестидесяти лет. В поселке за месяц умерло от голода пятнадцать человек...

Дневной рацион китайца, привезенного с материка для работы в шахте, — три пирожка с бобовой начинкой, одеяла им не положены. На Хоккайдо плохо работающего воспитатели сначала бьют, а потом волочат за ноги по земле. Говорят, это называется «кнут любви и наказание слезами».

В руднике во время работы нашли двух корейцев, заснувших в штреке. Провинившихся вывели на поверхность и убили, вводя между ног раскаленный железный прут...

30 июня в городе Ханаока восстали рабочие-китайцы. Они убили трех воспитателей, прославившихся особыми зверствами. Вызванная военная полиция и войска окружили восставших на площади перед кинотеатром «Керакукаи». Из девятистот окруженных убито 416 человек, площадь завалена трупами...

Жизнь в городе становилась все тяжелее. Получив красные бумажки о призыве, из ресторана исчезли один за другим все мужчины, остался один старик швейцар. Юки видела несколько писем, пришедших от тех, кто был призван, — листочки, исчерченные черной тушью (вычеркнуто цензурой). Девушки боялись трудовой повинности и, когда хозяин за какой-нибудь пустяк грозил увольнением, становились на колени и умоляли простить.

— Говорят, Токио сгорел дотла, — сказала как-то Юки ее напарница, они стояли у плиты, в медном котле klokотала жидкая соя. Она показала пальцем вверх, там были потолок и крыша, над которыми по несколько раз в день пролетали американские самолеты.

— Они бросают много-много маленьких бомб, каждая горит, как бенгальский огонь, и поджигает все кругом. Отчего они ни разу не бомбили наш город?

— Может быть, они считают его не очень важным?

— Ну да, а аэродромы кругом? Раньше был один, а сейчас уже третий заканчивают, желтая пыль оттуда так и идет, так и идет... А еще скажу: вчера я видела несколько пленных, их вели по улице, и люди бросали в них камни. Говорят, лагерь где-то в городе, их держат под землей как животных. Поэтому американцы не бомбят нас, они боятся попасть в своих.

Когда вечером Юкки уходила из ресторана, в дверях хозяин ухватил ее за рукав:

— Постой, надо поговорить.

Он осмотрел ее с ног до головы, задержался взглядом на плотно запахнутом на груди халатике и, не отпуская руки, добавил:

— Задержись. Я давно хотел познакомиться с тобой поближе. Разве я не должен знать о своих работницах все? А? Мы даже попьем чаю. Приготовишь в моем кабинете

Мимо них, стараясь не смотреть, торопливо бормоча: «Спасибо, до завтра» — проскользнула последняя из работниц. Юкки почувствовала, как злобно тяжелеют плечи, обреченно опустила лицо.

— Да, да, конечно, я сделаю все, что вы прикажете. Только... Я не знаю, как вам сказать... Дело в том, что я... Вы ведь понимаете: пройдет несколько дней — и я смогу сделать для вас все это.

— Что ты мелешь? — Лицо хозяина покраснело, нижняя губа оттянулась, показались нижние неровные зубы. — Смогу сделать... Почему для того, чтобы поговорить с тобой, я должен ждать?

— Несколько дней, всего несколько дней, — забормотала Юкки, пряча глаза, — ведь у нас, женщин...

— Не могла найти другого времени. А ты не врешь? Можешь идти. Только теперь сама подойдешь ко мне. Смотри, а не то...

Кланяясь на ходу, Юкки проскользнула мимо него и на слабых, дергающихся от испуга и боли ногах побрела по улице. Конечно, она не недотрога; если бы не это, ей бы тогда не выжить, но теперь у нее Ито, а этот сальный, с гниющими зубами и потными руками скот...

Около ее дома в тени от фонаря, раскачивающегося на проволоке, натянутой от стены до стены, кто-то стоял. Переулок был узок и извилист, в нем часто случались нападения, недавно трое дезертиров убили возвращавшегося домой железнодорожного рабочего. Над трупом жена, плача и раскачиваясь, показывала всем две смятые бумажки-деньги, которые он получил днем и которые спрятал за подкладку форменной куртки.

— Вот, вот они, — бессмысленно повторяла она, расправляя и снова складывая бумажки. — Может быть, он мог откупиться?

Не думая, что рискует, Юкки пересекла улочку, углубилась в зыбкую тень, и тотчас человек у двери шаг-

нул к ней и, прежде чем она успела крикнуть, крепко обхватил за плечи.

— Ито... — прошептала она и без сил сползла по его телу на землю.

Они лежали на брошенном на циновки матрасе, потные, и бормотали каждый свое, не веря в то, что случилось, не веря в то, что они встретились, что жизнь вернула им вчерашний день, и эти минуты ничем не отличаются от тех, о которых так часто и так горько оба вспоминали.

— Только скажи мне правду, ты не бежал? Ты не дезертир? Тебя не разыскивают? — спрашивала она, наклоняясь, становясь на колени и заглядывая ему в лицо. — Я все равно узнаю. Я помогу тебе. Я знаю, где прячутся те, кого ловит полиция.

— Да нет же, о чем ты говоришь. Третий раз повторяю — мне дали увольнение. У меня с собой документы. Не показывать же их тебе.

— Нет, рассветет, покажи. Это глупо, но если не покажешь, я не смогу успокоиться. Уйду на работу, а там буду думать только о тебе и переверну на себя бак. У нас недавно одна облила себе кипятком всё — лицо, руки, грудь.

Она сказала про работу, и перед глазами всплыла красная рожа хозяина. Она застонала.

— Что ты?

Жарко дыша ему прямо в ухо, прижимаясь и вздрагивая, рассказала про сегодняшний разговор. Ито выслушал спокойно, повернулся и заснул.

Едва он подошел к дверям ресторана, как старик швейцар угодливо распахнул перед ним дверь. В полутемном зале за низкими столиками сидели несколько человек. Наклонясь и торопливо двигая зажатými между пальцев палочками, они сосредоточенно ели скользкое, срывающееся тесто.

— Извините, только бобы и лапша. Что прикажете подать, господин военный? — Перед Ито стояла некрасивая пожилая, с густо накрашенным лицом женщина. — Бобы не очень хорошие, прошлогодние запасы.

— Позовите мне хозяина.

— Он у себя наверху.

— Хорошо, я поднимусь... Или нет, пускай спустится.

И еще чтобы здесь была... У вас работает посудомойка Юкки?

Женщина удивленно подняла брови.

— Конечно. Вы хотите пожаловаться на нее хозяйину? Лучше сделать это у него в кабинете.

— Я сказал: попросите его сюда. И пригласите посудомойку. Нет, не нужно переодеваться, пускай она выходит в том, в чем работает.

Женщина низко поклонилась и быстро ушла. Ито одернул полу кителя, прошелся взад-вперед. Колыхнулся занавес, который отделял зал от коридора, ведущего и к кухне и к лестнице наверх, на второй этаж, раздёрнулся, и в зал торопливо вошел полный мужчина в европейском костюме. Заметив Ито, он направился прямо к нему, поклонился и, растягивая в улыбке губы, спросил, что желает господин военный.

— Сейчас придет еще один человек,— ответил Ито.

— Мне сказали. Она работает у нас посудомойкой. У господина вышла с ней какая-нибудь неприятность? Женщины этого сорта...

— Да.

Из коридора несло сырым запахом кухни. Занавес снова колыхнулся, и в дверях показался Юкки.

— Иди, иди сюда,— сказал хозяин,— не бойся. Говори, что ты там натворила.

Юкки, дрожа, приблизилась.

— Это он? — спросил Ито.

В зал снова вошла накрашенная женщина, за ее спиной задержался, приоткрываясь и закрываясь, занавес, замелькали белые халаты и настороженные, сменяющие друг друга лица.

— Это он?

Юкки кивнула.

— Что это значит? — начал было хозяин, и тогда Ито, удивляясь сам себе, не торопясь достал из кармана платок, обернул им пальцы и, сжав их в кулак, нанес ему удар в лицо. Хозяин зажал рот ладонью. Из-под коротких с толстыми ногтями пальцев хлынула кровь. В коридоре заметались, кто-то из обедавших вскочил, раздался звон разбитых чашек и крик.

— Если я приду сюда еще раз, я застрелю тебя,— сказал Ито. — Идем, Юкки.

— Мне надо переодеться.

— Я позову сейчас военную комендатуру,— прохрипел хозяин, размазывая по лицу кровь. — Помогите!

Никто в зале не шевельнулся. Ито сунул руку в карман, чтобы оставить там платок, испачканный кровью, но все поняли его жест по-своему — люди за столиками пригнулись, а хозяин опрометью кинулся наверх.

— Теперь я потеряла из-за тебя работу,— сказала Юкки. Они неторопливо брели домой. — Может быть, тебе надо было просто поугаждать его?

— Нет, я все сделал правильно.

Когда они вошли в комнату, Ито вытащил из угла плетеную сумку, с которой Юкки ходила за покупками, и сказал:

— Собирайся.

— Что ты задумал?

— Мы поедем к матери. В этом ресторане я тебя не оставляю. Будешь жить в деревне.

Они шли, держа вдвоем за ручки сумку, мягкой пыльной дорогой. В черных, с продавленными крышами домах ни огонька. Подойдя к своей лачуге, Ито остановился и долго стоял, прислушиваясь.

— Не надо бояться,— сказала Юкки. — Стучи. Видишь: грядки прополоты — в доме живут.

Он подергал дверь. Загремело железо, кто-то, шаркая, подошел изнутри и осторожно потащил засов. Дверь приоткрылась, в щели смутно зажелтело человеческое лицо.

— Это я, Ито. Я вернулся, мать.

Дверь распахнулась. Из темноты на скудный зеленоватый свет словно бы выползла маленькая сгорбленная женщина.

— Ты не один, Ито? — сказала она.

— Это Юкки. Она будет жить у тебя, пока не кончится война.

— Она не кончится никогда. Ты же знаешь, у меня нет еды и не на чем спать. От твоей постели давно уже ничего не осталось.

— Как-нибудь разберемся.

— Мы можем до утра посидеть здесь,— сказала Юкки.

— Мне надо рано уходить. Я и так опаздываю.

— Пришел... Не иначе как из-за нее. Можете вынести из дома два чурбака. — Проходя мимо Юкки, она наклонилась и посмотрела на ее живот.

— Нет,— сказала Юкки. — Мы не потому приехали.

— Раз привез ее мне, так хоть постарайся, чтобы те-

бя не убили. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Этой войне нет конца. Правда, что американцы вот-вот будут здесь?

— Не знаю. Помогайте друг другу. Я буду стараться не умереть, мать. Никогда ничего тебе не обещал, а теперь обещаю.

Когда завывали сирены, Ито уже стоял в строю в проходе между бараками и слушал короткие, как лязг, фразы, которые бросал командир учебной роты:

— Рота переформируется в роту противодесантной обороны... Слушай боевое расписание... Получить оружие. Полный боекомплект патронов... Гранаты...

...Американцы? Откуда? Еще вчера остров был в тылу. Ни о каком флоте не было и речи. В курилке болтали о боях около Филиппин. Правда, неделя, как начались налеты авиации, но они пока редкие. Два дня назад из подбитого самолета выбросился с парашютом американский летчик. Ито видел, как его вели избитого, а потом втолкнули в казарму. Около зарешеченного окна поставили часового...

— Р-разойдись!

У Ито в вещмешке лежал припрятанный бинокль. Он нашел его после одного из налетов около разбитого зенитного орудия — бинокль лежал возле убитого унтер-офицера, мертвые пальцы цепко держали ремешок. Ито бросился в казарму, спрятал бинокль под рубашку и, прижимая его, побежал мимо бараков к сопке, откуда можно было увидеть берег. Пробегая мимо последнего барака, он заметил около дверей толпу.

— Эй, Ито, назад! Ты куда? Всем снова собраться.

В бараке были убраны столы, перевернуты и сложены скамейки, у стены стояли тесной шеренгой курсанты, перед ними так же молча, навывтяжку — командир роты и незнакомый полковник. Пахло мужским потом и ботинками.

Полковник заговорил, слова его падали как камни:

— Путь воина означает смерть. Враг приблизился к последнему рубежу. За нами Япония. Пора думать, как достойно отдать ваши жизни. Того, кто уклонится, ожидает бесчестие. Божественный ветер семь столетий назад уничтожил захватчиков. Божественный ветер снова обрушится на врага. Тонут их корабли, пораженные нашими летчиками. Тонут, пораженные торпедами, в которых сидят ваши товарищи. Солдаты приковывают себя

к пулеметам. Сотни уже осуществили свою мечту... Я не могу сказать, что ждет тех, кто уйдет отсюда со мной. Оружие секретно. Как только оно обрушится, неприятель в ужасе отвернется от Японии. Император верит в отмщение. Нельзя терять время. В «Хакагуре бусидо»¹ сказано: «В сражении старайся быть впереди всех». Те, кто сегодня даст согласие, умрут раньше остальных. Их смерть вызовет зависть оставшихся. Мне нужны люди, знакомые с летательными аппаратами, но не обязательно летчики. Разойдитесь в молчании, посоветуйтесь сами с собой, возвращайтесь и называйте свои фамилии. Честь будет оказана сорока пяти. Благодарю тех, кто вернется. Господин капитан, распустите курсантов.

— У того берега уже полно американцев,— шепнул сосед. Они с Ито стояли, тесно прижатые друг к другу, их стриженные головы соприкасались.

Когда толпа разошлась, Ито бегом бросился к сопке. Каменистой тропой, до крови раздирая о колючие кусты ладони, скользя, добрался до вершины. Впереди горбилась и обрывалась черная линия утесов, в бухтах дрожала вода. У горизонта угрюмо выстроились серые корабли. Ито вскинул к глазам бинокль: за кормой у каждого, образовав пенное кольцо, вращались по кругу едва заметные точки — катера с десантом. За кораблями в туманной дымке медленно перемещались два авианосца. Сейчас с них поднимется черный рой, над кораблями замелькают огненные искры, дымный вал обрушится на берег, пенные кольца за кормой разорвутся и цепи катеров двинутся к берегу. Внизу, у самой воды, среди наспех вырытых окопов и траншей, перебежали солдаты — они казались потревоженной стайкой муравьев. Сейчас их размажут по земле...

Назад он бежал, выбиваясь из сил.

«У нас две роты охраны, три сотни курсантов, технари. Сколько придет американцев? Десять тысяч, двадцать? Они убьют нас всех...»

Между бараками уже метались, выносили какие-то ящики, кричали. Грохоча подкованными ботинками по камням, пробежал с винтовками и ручным пулеметом взвод.

И вдруг Ито остановился: около штабного барака неторопливо расстилал на земле циновку тощий, с вытянутым желтым лицом офицер; молча кучкой стояли у дверей солдаты. Офицер нагнулся и поднял с земли что-

¹ «Хакагуре бусидо» (яп.) — «Путь воина», кодекс самурая,

то завернутое в тряпку — блеснула сталь. Захлебываясь слюной, он крикнул — из барака вывели американского летчика. Он был в бриджах, в ботинках с медными заклепками. Заклепки блестели. Разорванная рубашка, руки связаны за спиной. Пленного поставили на колени, офицер зашел сзади. С крыши сорвалась и, раскинув крылья крестом, повисла в неподвижном воздухе птица. Пленный обернулся, увидел занесенный над его головой меч и тонко, по-заячьи, вскрикнул. Меч описал полукруг, и голова исчезла, вместо нее теперь бил тонкий красный фонтан, небо и висящая в нем птица стали розовыми.

Ито бросился бежать, он бежал, не разбирая дороги, сперва к своему бараку, потом, не понимая, что делает, к аэродрому. Там, посреди бетонного поля, около двухмоторного самолета сутились фигурки курсантов. Но уже закричала, завывала сирена, часто застучал пулемет, зеленые трассы повисли в небе, оттуда навстречу им из-под черных, быстро несущихся, сверкающих стеклами машин (тупорылые, с белыми звездами, за стеклами головы летчиков) отделились и неслись к земле такие же черные, как машины, капли. Ито бросился под ближайший куст, не успел прижаться к земле — здесь убьет, надо перебежать, — подскочил, снова упал, и тогда совсем рядом, за спиной, лопнуло, оглушило, над кустами повис синий лоскут дыма, а по земле уже катилось, брызгая красным, размахивая рукавами, чье-то полураздетое тело. И снова загрохотало, поднялись коричневые пыльные фонтаны, полетели серые куски бетона, а огонь и дым уже удалялись, дымное одеяло, разматываясь, накрывало аэродром.

Самолеты скрылись. Прежде чем перестал стучать пулемет и начали стонать и звать на помощь раненые, он добежал. Около двухмоторного самолета полковник строил набранных в лагере добровольцев.

— Что стоишь, ты у меня записан? Лезь!

Да, да, скорее, как обезьяна вверх по алюминиевой лесенке, и только стоя в машине — самолет уже дрожал, ревел моторами, раскачивался, за спиной лягнула за пором, закрылась дверь, — вспомнил: «Юкки!»

Полковник устало упал на откидную металлическую скамейку, а Ито подполз к круглому маленькому иллюминатору. Внизу рябило море, вот — дальние бухты, к ним, рассыпавшись, стоями, волоча за собой белые пенные хвосты, шли катера с десантом.

Через несколько часов полета вышел летчик, приказал всем рассесться по местам и пристегнуть ремни.

В мутном желтоватом оконце приближался, увеличивался новый остров — гористый, коричневый, зеленый, похожий на зверя. В заливе, как в пасти, дрожали низкие, серые, раздавленные, с острыми носами корабли. Сели на заросшем травой, изрытом воронками от бомб запасном аэродроме. Спешно построились и спустились к морю. Там у причала уже стоял катер. На нем пересекли залив. Серые корабли, когда катер проходил около них, закрывали носами небо.

Берег встретил бетонными причалами, грохотом кранов, вонью и дымом складов и казарм. Медленно поползали грузовые низкие, с далеко выставленными вперед моторами автомобили, вереницы полуголых людей переносили на спинах тюки. Их охраняли солдаты в небрежно расстегнутых у ворота рубашках. Качалась рыжая пыль, скрипели блоки веревочных подъемников — строили казармы и склады, — вверх ползли ведра с цементом, пакеты белых кирпичей. Миновали стройку, миновали казармы, дорога поднялась на поросшие рыжим колючим кустарником холмы. Навстречу по-прежнему попадались, рыча и покачиваясь, грузовики с длинными моторами, в них тесно сидели полуголые, с наголо остриженными головами люди. Ито понял, что это пленные китайцы.

Прошли брошенную деревню. Здесь около пустых хижин стояли неподвижные с темно-зелеными листьями саговники, молчаливые голодные собаки лежали у дверей. За последним строением открылась рыжая от пыли прямая взлетная полоса, в капонирах по обе ее стороны зазеленели прикрытые маскировочными сетями новые «Зеро», и старые «И» с изогнутыми по-чаячьи крыльями, и двухмоторные, тоже старые, бомбардировщики.

Из барака, рядом с которым торчала мачта, а на ней лениво развевался полосатый ветровой конус, вышел офицер, остановился, как на пружине подбросил к фуражке руку, выкрикнул:

— Четвертая эскадрилья приветствует новых героев, — и ушел.

Горн на побудку подбрасывал ровно в шесть. Вскрикивали с коек — окна затянуты сетками от москитов, рамы распахнуты настежь, — торопливо заправляли простыни, ровняли жиденькие, поношенные одеяла, бежали

в туалет — наскоро сколоченное из досок шаткое сооружение с длинной, пахнувшей хлоркой выгребной ямой, с пропиленными в досках очками, строились на плацу. Огромное с синей каемкой солнце, не успевшее набрать силу, медленно поднималось над резными верхушками деревьев. Две сотни обнаженных по пояс молодых парней, гулко и дробно стуча сапогами, обегали круг и, рассыпавшись по плацу, начинали под гортанные выкрики офицеров приседать, широко расставив ноги, разводить руками, вращать туловища, старательно запрокидывать головы к небу. В небе белыми христианскими крестами плавали олуши. Они внимательно следили за непонятными движениями людей. Затем утренний завтрак: оловянные миски с рисом и кусочками рыбы, чай из огромных медных, начищенных до блеска чайников, столы, накрытые бумажными скатертями, в углу барака ваза с мертвыми, узловатыми ветвями гибискуса. Затем переходили в класс. Здесь на металлическом столе лежала черно-желтая бомба с короткими крыльями и козырьком, под которым дырой зияло место для летчика. Курсанты по очереди залезали в нее и, слушая выкрики офицера, то шевелили рычаги управления, то нажимали кнопки, от которых шли провода к спрятанным в хвосте двигателям — пороховым патронам.

— Не дотягиваешь до цели! — лениво кричал офицер, и курсант послушно нажимал первую кнопку.

— Патрон выгорел, смотри в прицел, снова не дотягиваешь!

--- Сто метров высоты... Не дошел, триста метров! — наконец выкрикивал обучающий, и это значило, что если бы все было в жизни и сброшенная с самолета бомба неслась к кораблю, то патроны включены поздно, крылатый снаряд врезался в волны, и теперь разорванный на куски труп летчика плавает вместе с обломками фанеры и лохмотьями одежды, а над местом взрыва уже поднимается дымный могильный клок.

— Следующий! — Очередной курсант занимал место в кабине и снова, низко нагнувшись, ловил в перекрестье прицела нарисованный на куске парусины корабль, судорожно нажимал кнопки и тянул на себя ручки.

— Курсант Начита попал в борт вражеского корабля, — торжествующе выкрикнул офицер. — Следующий!..

На Сайпан мы высаживались 15 июня 1944 года на западный берег, там были пологие пляжи.

Правда, перед пляжами большой коралловый риф, и, если бы катера и плавучие танки — словом, вся техника застряла на нем, нас раздавили бы, как вшей, соскребли, бросили в воду... Но перед высадкой на риф сплавали наши подводные пловцы, мы называли их «люди-лягушки» за длинные зеленые ласты на ногах. Так вот, ни мин, никаких заграждений на рифе не оказалось. Их японцы не успели поставить. А вообще, когда высаживаешься на остров, жди кучу навоза: в воде акулы и рифы, на берегу — змеи, тиф и дизентерия. Тропики... Я хлебнул их сполна. Нарывы на спине — это с тех пор.

Они послали для укрепления обороны острова 43-ю дивизию, но половина ее нарвалась на завесу наших подводных лодок. Пять транспортов из семи были торпедированы, плававших в воде солдат подобрали без оружия. Так, без оружия, они и прибыли на Сайпан.

Знаете, как десантные катера ждут команды, чтобы ринуться к берегу? Они выстраиваются — каждый под кормой своего транспорта — в круг. Кружат, как водяные жуки, десятки, сотни катеров и плавающих танков, а потом по сигналу разворачиваются в цепь и волнами прут к берегу. Когда мы уже были готовы идти к Сайпану, по радио объявили, что наши высадились в Нормандии. Но нам было не до того: на берегу уже бегали, как зеленые муравьи, японцы, они рыли в песке ямы и ставили пулеметы... Тут не до Нормандии.

Странные у японцев были тогда радиোগраммы, одну мне показали в штабе: «Судьба Японской империи зависит от результатов операции, поднимите дух офицеров и солдат, уничтожайте противника, решительно, как никогда. Этим вы успокоите императора».

На острове была даже железная дорога, конечно, узкоколейка, ее построил какой-то сахарозаводчик. Сбили наш истребитель «Уайлдкет», и летчик, боясь утонуть или попасть к японцам, не прыгнул с парашютом. Он заметил, как блестят рельсы, и сел прямо на них, на брюхо, не выпуская шасси. Мы подбежали к нему чуть раньше японцев. Ему схватило живот, и он сидел под кустом.

— Скажи спасибо своей машине, что она сумела так сесть,— сказал я ему. И знаете, что он ответил?

— Да, если бы она еще и умела готовить, я бы женился на ней.

— Мы вытащили ее из воды, я и американский капрал, она была уже без сил, видно долго плавала, боялась приблизиться к берегу, и к тому же сильно разбилась, когда ее сбросили с утеса — добрых двадцать метров! Мало кто из тех, кого скинули в тот день, нашли в себе силы не утонуть. А потом еще прибой: дул северный ветер, и волны так и накатывались на мыс. Мы положили ее на песок, за большим валуном, у капрала нашелся морфий в пластиковом пакетике с иглой, и он сделал ей укол. Я, признаться, думал, что она выживет, и поэтому вечером, когда мы подобрали всех оставшихся в живых, вернулся к ней. Она лежала, вытянув руки вдоль тела, платье уже высохло, но ветер наполовину занес ее песком. Она успела мне рассказать все, что с нею случилось. Она была женой летчика, а когда наши корабли стали на якоря близ острова, в деревню пришли из комендатуры и забрали ее и еще несколько молодых женщин в госпиталь сестрами.

Когда мы заняли Гарапан, госпиталь перевели в глубину острова, в пещеру. «Сначала раненых приносили каждый час, потом они перестали поступать, и я поняла,— рассказала Юкки,— что их некому носить и что американцы уже близко. У входа в пещеру стоял маленький мотор, и от него к нам были проведены лампочки. Мы перебегали от одного раненого к другому, было всего три врача, они только взрезали раны и удаляли осколки, а мы перевязывали и давали пить. Пахло сырой кровью, йодом и карболкой. Я поила раненого, когда в пещеру вошел низенький в разорванном запыленном кителе генерал.

— Мы уходим на север,— сказал он.— Все ходячие больные уйдут со мной. К моему глубокому сожалению, остальных я должен оставить.— Он повернулся к врачам:— Понимаете, они должны умереть достойно.

Генерал вышел, и следом за ним потянулись, кто на костылях, кто с палками, а кто просто, опираясь на руки.

— Юкки,— сказал мне главный врач,— все сестры тоже должны уйти. Уходите быстрее!

Но я успела увидеть. Они приготовили три шприца, даже не кипятили их, а просто положили в карманы, взяли какие-то флаконы и стали обходить больных, койка за койкой, ряд за рядом, они наклонялись, делали укол, больной вытягивался, словно от боли, и тут же замолкал.

Они убили их», — плача, сказала она.

Затем она выбежала из пещеры и стала помогать идти раненым. Они брели, как приказал генерал, на север и на третьи сутки добрались до Марпи-пойнт. До самого северного мыса на острове. Здесь собралось несколько тысяч человек. На Юкки был белый халат, и ее хотели забрать сестрой в «Последний штаб» — так называли они еще одну пещеру, где генералы Саито и Игета и адмирал Нагумо готовились отбиваться от американцев. Но когда ее вели туда, она незаметно сбросила халат. «А где же сестра? — спросили у солдат, которые пригнали к штабу крестьян копать подземные ходы и укрытия. — Убежала, погань». Она тоже получила лопату...

То, что произошло через день в последнем штабе, рассказал мне один из оставшихся в живых телефонистов. Мы допрашивали его с тем же американским кап-ралом, я не успел вам сказать, я ведь с Окинавы, но учился до войны год в Соединенных Штатах, язык я знал прилично. Кстати, со мной училась девушка, американцы звали ее Ани, она вернулась домой до войны, у нее заболела тетка, и она приехала в Токио навестить ее. Ее призвали работать на радио. Она должна была обращаться прямо к американским солдатам. Я часто слышал ее, это у нее здорово получалось. Американцы называли ее Токийской розой. Я сам слышал, как она говорила: «Это я, Ани, вы меня знаете еще как Токийскую розу. У нас есть несколько шикарных пластинок для вас. Завтра, мы знаем, вы высаживаетесь на Сайпан. Пока вы еще живы, послушайте...» И раздавалась музыка. Американцы взяли меня за переводчика, с Сайпана я попал на Окинаву, а потом в Токио. Мы встретились с Ани, она жила тогда в шикарном отеле, одном из тех, что не сгорели и не были разрушены. Там жили высшие американские офицеры. Они очень любили поболтать с ней за ужином. Правда, потом они ее арестовали и она получила десять лет. Но я отвлекся. Что случилось с «Последним штабом»? Выстрелы были уже совсем рядом с пещерой, Игета сказал: «Надо кончать, завтра утром мы бросим все оставшиеся части в последнюю атаку».

— Мы пойдем в атаку вместе с солдатами?

— Нет, мы трое кончим жизнь самоубийством.

Так решил Нагумо.

— А что делать с гражданскими? Здесь много людей из города и из деревень. Они пришли вместе с солдатами.

— Сейчас нет разницы между солдатом и не солдатом, им надо присоединиться к атакующим.

— У них нет винтовок.

— Пускай сделают бамбуковые пики. Это традиция. Это патриотично. Это лучше, чем сдаваться в плен. Напечатайте сейчас же такой приказ.

Это был их последний разговор. Я видел этот приказ. Его не успели разослать в части, пачки так и остались лежать, я сам трогал их, а одним даже подтирался, когда схватило живот.

Солнце еще не село, был вечер.

— Мы умрем ровно в десять,— сказал Нагумо.— Но нам нужны трое добровольцев.

Американец сказал бы не «десять», а «двадцать два». А трое добровольцев значило, что они выбрали способ «сеппуку». При «сеппуку» нужен секундант, чтобы отрубить голову.

Они нашли только двух. Вместе с генералами те прошли в соседнюю пещеру, генералы вскрыли себе животы. Но секунданты ослушались, они пристрелили их, ползавших по земле. Они ползали, мычали и волочили за собой кишки.

Про то, что было потом, утром, рассказала снова Юкки. Всю ночь они собирали у штаба солдат и гражданских, рубили бамбук и делали пики. Когда часы показали четыре, раздалось: «Банзай!» Американцы выкатили пулеметы, между сопок было ущелье, и американцы сидели наверху. Они потом называли это ущелье «харакيري каньон». Оно было завалено трупами. На головах у всех убитых были белые повязки.

А потом Юкки не повезло: ее заметил солдат и погнался за ней. Он бежал, размахивая бутылкой из-под саке. Когда они выбежали на Марпи-пойнт, она увидела там море людей — тысячи человек как волны перекатывались из стороны в сторону, бутылки из-под пива и саке ковром покрывали землю. Солдаты строили всех — женщин, детей, мужчин не в форме — и отводили к утесам. «Никто не должен остаться в живых, ни одна женщина не должна достаться американским зверям. Сперва гражданские, потом военные!» — выкрикивали

солдаты. Очередь вели к скалам, на самую оконечность мыса. Битва за остров была закончена, а тут она продолжалась: тех, кто отказывался прыгать, сталкивали, отцы и матери бросали вниз детей, а потом кидались сами. Перед Юкки стояла женщина, к ее спине был привязан ребенок, она прыгнула вместе с ним. И вот тогда Юкки увидела, что перед ней никого нет, а внизу кипит белая пена и мелькают камни, она успела только закричать, она выкрикнула имя мужа, но ее уже схватил за руку солдат. Она впилась ему ногтями в лицо, а он выругался и ударил ее в живот, она присела, и тогда он толкнул ее... Она пришла в себя уже в воде. На берегу стояли солдаты и пристреливали тех, кто был еще жив. Тогда она поплыла прочь от берега...

Она умерла под утро, я не заметил, как это случилось, мы спали с ней, тесно прижавшись друг к другу, я проснулся от холода, мне показалось, что я лежу около камня. Она была славная женщина, но после того, что ей довелось пережить... Она дрожала и называла меня Ито...

Я провел там еще три дня, мы бродили с американским капралом по холмам, и он заставлял меня кричать в каждую нору: «Сдавайтесь!» Если оттуда раздавались выстрелы, капрал бросал туда гранату. Потом мы вернулись к морю... В воде еще плавало много трупов, катер, спущенный с корабля, не смог из-за них подойти к берегу. Один лейтенант рассказывал, что видел беременную, у нее в воде начались роды...

Жаль Юкки.

Через месяц Ито вывезли в тренировочный полет. В капонире, полузакрытый земляными валами, стоял двухмоторный бомбардировщик, он стоял, задрав тупой нос, под одним крылом подвешен зеленый, похожий на кокон исполинской бабочки, бак с добавочным горючим, под другим — черно-желтая фанерная бомба. К ней подкатали лесенку, Ито выслушал последние советы офицера, козырнул ему и, чувствуя в ногах свинцовую тяжесть, полез. Перевалив через край бомбы, ощутил под собой жесткость деревянного сиденья, едва успел заметить, что все три кнопки, включающие пиропатроны, закрыты металлическими колпачками и что чеки на ящике с зарядом тола вынуты, успел подумать: «В ящике, наверное, песок» — как где-то рядом у самого уха заревело, раздался свист, заработал мотор, винт образовал

бледный, колеблющийся диск, самолет задрожал, линия горизонта опустилась — машина уже бежала по полю. Ито пригнулся — в кабину несло пылью и мелким песком, потом с ужасом понял, что висит в воздухе, ничем не защищенный: справа и слева за тонким фанерным бортом бездна, а в ней медленно течет плотный, холодный воздух, еще ниже зелеными пятнами безразличные, бесчувственные острова с пенными кольцами и синий океан, испещренный белыми гребешками. Самолет поднялся выше, острова уменьшились, волны исчезли, и океан стал похож на неподвижную, блестящую стеклянную плиту. Тряхнуло, Ито вздрогнул — жалкая фанерная коробка, в которой он сидел, каждую минуту могла оторваться. Он ковырнул пальцем колпачок над одной из кнопок, но тут же с испугом вспомнил, что в учебной бомбе пиропатроны пустые и, значит, шанса на спасение в случае аварии нет... Закрыв глаза, пот потек по лицу... Когда он, собрав силы, поднял веки, на поверхности океана снова проступили белые черточки, острова и белые пенные кольца стали больше — самолет шел на посадку.

Удар о землю заставил Ито вскрикнуть. Машину замотало, бросило из стороны в сторону, бомба раскачивалась, гремело крыло, машина свернула с посадочной полосы и, тяжело переваливаясь, подкатила к капониру.

Он с трудом выбрался, поймал ногой ступеньку лесенки и слез на землю.

— Почему не докладываете, как выполнен полет?

Не в силах до конца открыть залепленные пылью глаза, Ито вытянулся и, поднеся руку к шлему, прохрипел:

— Полет выполнен успешно.

На плечо его легла костлявая жесткая рука.

— Молодец. Скоро мы сможем гордиться тобой. Ты будешь одним из первых...

Но через неделю Ито вызвали в штаб отряда. За узким коричневым низким столом сидели начальник школы и несколько незнакомых офицеров.

— Я доволен вами, — сказал начальник, — ни одного замечания за время обучения. Сейчас таких мало, такие, как вы, достойны продвижения. Вам будет присвоено офицерское звание. Страна создает сеть новых школ. В одной из них вы будете обучать призывников. Может быть, это будут знакомые вам бомбы «бака», может быть, что-то другое. Школы создаются в тылу, вам придется уехать.

Сидевшие за столом согласно закивали. Ито понял: ехать придется с ними.

Заседание Военного совета началось с опозданием: наверху, над бункером, над пятиметровым слоем бетона, еще взрывались бомбы замедленного действия, подпрыгивал стол, за которым сидели адмиралы и офицеры Генерального штаба, мигали тусклые, прижатые к потолку электрические лампы, опоздавшие входили через бронированную коробку с массивной дверью, низко нагибаясь. Писарь оперативного отдела заканчивал расстилать карту, желтыми блеклыми пятнами над столом всплыли знакомые до каждой извилины берега острова Кюсю и Хонсю, бессильно цепочкой повисли, уходя на юг к Окинаве, скалистые, цепляющиеся один за другого Рю-кю.

Окинава...

— Доблестные императорские войска, отступив в северную часть острова, продолжают удерживать позиции...

— Противник захватил аэродром и уже посадил на него истребители, возложив на них противовоздушную оборону десанта...

— Сосредоточение боевых кораблей противника у острова не имеет себе равных. Только авианосцев собрано здесь больше двадцати...

Окинава...

Каждое утро начиналось со штурма. Крейсера и линкоры, подойдя к берегу, устанавливали связь с пехотой. Ярko вспыхивающие в лучах восходящего солнца, выпуклые, как рыбы глаза, линзы дальномеров шарили по берегу, высматривая желтые пятна спешно открытых окопов и черные пулеметные гнезда. Позади них в крутых, как воловьих лбы, склонах холмов чернели устья пещер. Медленно начинали вращаться башни, стальные пальцы орудийных стволов, нашарив цели, останавливались, корабли упирались этими пальцами в жалкие укрытия, из которых уже ползли скрытыми ходами прочь к спасительным норам в холмах люди. Вспышки огня, грохот и синие клочья дыма, над вершинами холмов взлетали ошеломленные канонадой олуши. Они с криком неслись прочь, а навстречу им с моря с визгом мчались многопудовые снаряды. Они врезались

в землю, выбрасывали из нее искореженные пулеметы, обломки винтовок, клочья непохороненных тел, черная завеса скрывала берег, холмы содрогались вместе с прячущимися в них. Затем к берегу волна за волной подходили низкобортные десантные корабли, плоская палуба утыкана сотнями направляющих, с каждой, воя и оставляя за собой огненный след, срывался реактивный снаряд, они летели тучей, медленно тучей опускались на землю, и там, где они падали, поднималась новая завеса пыли и дыма. Потом все стихало, и тогда на берегу, пригибаясь и прячась за каждый бугорок, вставали цепи атакующих. Люди бежали, торопясь достичь перепаханых взрывами, заваленных землей окопов. Навстречу им уже по ходам пробирались, покинув норы в холмах, японцы. Они бросались на землю около разбитых орудий, торопливо поднимали короткие с ножами-штыками винтовки, подтаскивали спрятанные в земле пулеметы и в упор начинали расстреливать бегущих... Там, где наступающим удавалось занять линию окопов и загнать японцев назад в пещеры, начинали работать огнеметы. Сбросив с плеча ранец, огнеметчик подтаскивал его к норе, в которой только что спрятались люди. Порой было даже слышно, как они дышат и шевелятся, стараясь забиться как можно глубже. Огнеметчик вставлял в нору наконечник от шланга, нажимал на рычаг, и желто-красный факел шипя исчезал под землей. И сразу же раздавался крик, а затем слышался тоскливый вой... Наступала тишина. Только из-под земли еще долго сочился дымок и вызывающий тошноту запах сгоревших тряпок, костей и кожи.

Окинава...

— Бросить против вражеских кораблей всю авиацию камикадзе. Атаковать не одиночными самолетами, а группами...

— Уничтожить американские авианосцы...

— Линейный корабль «Ямато». — Адмирал Кадзума вздрогнул. — Если ему удастся незаметно подойти к острову...

— Что значит незаметно? Американские самолеты день и ночь кружат над океаном. От Кюсю до Окинавы!

— Если ему удастся незаметно подойти к острову, он один может уничтожить все корабли американцев...

— Линкор не имеет полного запаса топлива.

— А если слить с других кораблей?

— Сколько? Две с половиной тысячи тонн... Это едва хватит на дорогу в один конец.

— Какое решение принимает Военный совет?

«Самый большой корабль в мире...»

— Я за...

— Я за...

— За...

Кадзума вздрогнул — очередь отвечать дошла до него. Он поправил очки. Сухие губы растянулись в улыбке. Воин всегда должен улыбаться. Половина сидящих за столом знает, что на линкоре служат его сыновья. Он не позволит, чтобы все видели его слабость. Прежде чем губы сомкнулись и улыбка исчезла, он успел сказать:

— Я за...

Мерно гудели турбины, подрагивала койка, неподвижная желтая ночная лампочка тлела. Лейтенант военно-морского флота Ямадо Кадзума лежал на койке одетый, поверх одеяла.

Уходили в вечерних сумерках. Самый большой военный корабль в мире с чудовищными восемнадцатидюймовыми орудиями, полуметровой броней и машинами, способными разогнать корабль до скорости курьерского поезда, покинул рейд. Выбраны тросы, которыми линкор был прикреплен к четырем стальным плавающим бочкам. Не оставляя середины бухты, корабль тяжело развернулся — закружились, поменялись местами черные, уже плохо различимые в полумгле сопки, небо на западе еще было желтым, с кровавой полосой, облака низкие, вытянутые, искрили окнами облитые закатом дома, на улицах ни одного огонька, а оттого, что на корабле тоже не зажигался ни один фонарь, уход прошел незамеченным.

Линейный корабль «Ямато»... Почти четыре тысячи офицеров и матросов.

Офицеров собрали сразу же после выхода в море, собрали по боевым частям. К братьям Кадзума вышел командир башен главного калибра. Сто офицеров стояли в строю, синие с золотом кители не шевелились.

— Окинава,— произнес командир, и строй чуть заметно качнулся.

Все знали: у острова Окинава решается судьба империи, янки окружили остров и высадили десант. Аэродромы на острове все разбиты, ни один самолет с красными знаками восходящего солнца уже не поднимается

навстречу противнику. А всего в нескольких милях от берега безнаказанно ходят взад-вперед угловатые с косыми плоскими палубами его авианосцы.

— Мы расстреляем десант. У американцев нет корабля, способного противостоять нам.

Командир не сказал: идем только в сопровождении миноносцев, с воздуха прикрытия нет...

И вот теперь глухая ночь, готовность снижена, часть команды может забыться сном.

Ямадо тревожно повернулся — скрипнули пружины, желтый уголек лампочки переместился, рядом шелестел, терся о бронированный бок корабля океан, в каюте подрагивали, вызванивали стены. Ямадо рванул на груди рубашку, расстегнул пуговицу, часто задышал, нужно бы встать, включить вентилятор.

Огромная стальная гора — броневые плиты и пушечные стволы, котлы с раскаленным паром и турбины, мерно вращающие валы с винтами, лабиринт коридоров, тихие кубрики, в них матросы в подвесных койках, такие же безмолвные каюты с офицерами... «Ямато» несся сквозь ночь, с каждой минутой отдаляясь от своих берегов и приближаясь к одинокому, затерянному в океане острову. Под главным командным мостиком, в штурманской рубке, над белыми ломкими картами склонились головы штурмана и его помощника. По плотной бумаге все дальше тянулась тонкая карандашная линия — курс корабля вел на юг.

В рубке погас свет, кто-то открыл наружную дверь, когда дверь захлопнули, свет вспыхнул снова. Под лампочкой стоял командир. Штурман вытянулся, руки по швам, а потом осторожно кончиком циркуля указал место корабля на карте. Командир, обнажив испорченные табаком зубы, слабо улыбнулся.

— Мы вышли незаметно. Это большая удача. Они не обнаружат нас, пока мы не появимся у острова, — сказал он.

Пройдут годы, и старик Куамото вычитает в книгах о войне, что, когда «Ямато» выходил из бухты, американская подводная лодка, которая уже неделю безрезультатно дежурила у Кириидзуми, как раз подняла перископ. На фоне желтых, освещенных закатным светом домов двигался силуэт большого корабля. Командир медленно повел перископом, считая башни.

— Линкор. Дайте срочную радиограмму. Из порта, курсом в открытое море, линейный корабль, — крикнул он связисту.

Но в книгах не будет написано, что в это время на «Ямато» за морем из башни главного калибра наблюдал через дальномер лейтенант Суги Кадзума. Когда лучи солнца окрасили у горизонта волны в красный цвет, ему показалось, что среди выпуклых черных и красных водяных холмов блеснуло стекло. Блеснуло, укололо глаз и скрылось.

— Это мне показалось,— сказал сам себе Суги Кадзума.

Рассвет застал «Ямато» посреди океана. Он вымыл из темноты серые пологие валы, которые, равномерно вздымаясь, приближались к кораблю, ударялись по одному о форштевень и, рассыпавшись пеною, стремительно неслись вдоль борта... Три винта мерно взбивали ее, встречный ветер гнал остатки ночного тумана, клочья его тоже летели за корму. Усталые от бессонной ночи, одуревшие, матросы тоскливо дрожали, сидя в жестких металлических сиденьях у зенитных орудий. Солнце, багрово-красное, еще не обжигающее, висело над океаном.

— Так,— вздрогнув, произнес в боевой рубке командир линкора, когда вахтенный офицер доложил, что сигнальщики видят в воздухе машину.

Через узкую, прорезанную в полуметровой броне щель ему была видна часть горизонта — небольшая белесая дуга, линия, где пересекались вода и воздух, над ней медленно, почти незаметно для глаза, перемещалась точка. Командир с усилием толкнул бронированную дверь, вышел на крыло ходового мостика, поднес к глазам тяжелый черный бинокль и, когда зрачки, сузившись, освоились с блеском воды, увидел уходящий прочь от корабля, похожий на крылатую серебристую рыбу гидросамолет — летающую лодку, в которой безошибочно угадал «Каталину». Он отбросил голову назад, коснулся затылком жесткого, стоячего воротника — посмотрел вверх. Своих истребителей не было, да и не могло быть.

Летающая лодка побродила у горизонта, а затем пересекла курс линкора. «Смотрит, куда идем», — тоскливо подумал командир и занял свое место на вращающемся табурете у края мостика. Он подумал даже: не послать ли миноносец отогнать этого соглядатая? Но миноносцы были нужны для защиты от подводных лодок, образовав кольцо, они шли вместе с кораблем. Командир кисло поморщился.

После десяти часов к первой лодке присоединилась

вторая. Они держались на пределе видимости, попеременно исчезая и появляясь. Теперь надо было ждать боевых самолетов, и командир представил себе, как от Окинав уже идут навстречу авианосцы, такие же громадные, как линкор, нелепые, с четырехугольными высоко поднятыми плоскими, как столы, палубами. На палубах качаются самолеты, а около них суетятся, прогревают моторы и проверяют оружие крошечные белолычие люди.

«Ямато» неся им навстречу...

Их заметили сразу же после полудня. Солнце уже стояло в зените, и потому черная цепочка летящих машин была видна зловеще-отчетливо. Они летели углом, как стая гусей, почти касаясь крыльями друг друга, а когда приблизились, то солнечным огнем вспыхнули застекленные кабины и в бинокль стали видны подвешенные под крыльями белоголовые торпеды. Старший артиллерист, выждав, когда самолеты приблизятся, командовал: «Огоны!» Тотчас застучали автоматические пушки, красные и голубые трассы протянулись, как пальцы, навстречу самолетам, белые ватные облачка разрывов повисли в воздухе, небо стало рябым, среди облачков замелькали искры — снаряды рвались с отставанием. Артиллерист командовал, разрывы подтянулись к самолетам, одна из машин — они шли низко, прижимаясь к волнам, — накренилась, чиркнула крылом по воде, перевернулась и, выбросив клуб черного дыма, скрылась, исчезла, растворилась в сини и зелени. Внизу, под боевой рубкой, кто-то слабо закричал: «Банзай!» Самолеты уже беспорядочно бросали торпеды, взметывая белые фонтанчики, те падали в воду, некоторые совершали после этого несколько прыжков. Сбросив торпеды, машины разворачивались и, показав на мгновение беззащитное голое брюхо и такие же беззащитные светлые крылья, торопливо, ревя, спешили уйти. Один самолет бросил торпеду поздно, она упала недалеко от борта. Командир «Ямато» даже поднял руку, словно защищаясь, но торпеда ушла на глубину, поднырнула под корабль, и в это же время самолет с ревом и грохотом пронесся над самыми мачтами. Люди, сгрудившиеся около открытых, без щитов, автоматов, увидели сквозь блестящее стекло кабины головы двух летчиков в шлемах, какие-то тряпочки, висящие под крыльями, и каждую заклепку в длинном рыбьем теле машины. Орудия другого борта не успели открыть огонь, самолет, опустившись еще ниже, помчался прочь, меняя курс, из

стороны в сторону, как зверь, который спасается бегством. В воде появилась и потянулась следом за ним, уходя от линкора, белая цепочка пузырей — это шла торпеда, проскочившая под кораблем.

Затем появились бомбардировщики. Они подкрались незаметно, на большой высоте, образовали круг и стали по одному вываливаться из него. Неслись к воде, отвратительно воя. От каждого отделялась горсть бомб и мчалась, продолжая острую линию падения самолета прямо вниз. Теперь били все орудия линкора, и снопы трасс, скрещиваясь, вливались в дрожащие, сверкающие машины.

Первая бомба попала в корму. Среди грохота боя звук от ее разрыва остался незамеченным, но в боевой рубке тотчас зазвонили телефоны и голоса наперебой стали докладывать: горит погреб, тридцать человек унесло в корабельный госпиталь, три ствола вышли из строя.

Вторая волна торпедоносцев... Эти оказались удачливее. Линкор дважды вздрогнул, вспышки озарили стекла дальномеров, из-под борта поднялись и обрушились на палубу два пенных столба.

— Попадания в районе мидельшпангоута. Пожар у кормовой мачты, — пролаяли телефоны.

В башне пахнет порохом и стоит необычная тишина. Кресло наклонено, в окулярах визира непривычно косо застыла синяя полоса горизонта. Около орудий полуголые с искаженными лицами матросы. Суги Кадзума оторвал глаза от окуляров, хотел было встать — нестерпимо болели спина и грудь, — схватился рукой за металлический поручень — пальцы соскользнули, вспомнил про брата, неловко, скрючившись в жестком дрожащем полом кресле, вырвал из зажимов тяжелую металлическую телефонную трубку, торопливо набрал номер кормовой башни. Трубка молчала.

Кресло под ним продолжало медленно наклоняться. Суги снова заглянул в визир. Светлый, полный воды и воздуха стеклянный кружок... Горизонт теперь пересекал его наискосок. По синему полукругу воды нелепо вверх, как жук по стене, полз серый эсминец. Это значило, что у корабля уже сильный крен. С грохотом откинулась, ударила в броню, распахнулась дверь, в проеме выросла фигура незнакомого офицера. Лицо измазано черным, левая рука висит как плеть, вместо кисти — белая кукла.

— Какая башня? — хрипло выдавил офицер и, теряя силы, сел на пол.

— Первая носовая,—торопливо ответил Суги.

— В машинном отделении пожар. Горит корма.— Вошедший поднес куклу к глазам, лицо его исказила гримаса боли.

— Как вы прошли сюда? Все двери задраены.

— Какая разница, сейчас мы перевернемся.

Матросы с ужасом, оглядываясь на Суги, слушали вошедшего.

— Пытался найти командира, чтобы умереть рядом с ним,—сказал офицер, и в глазах его появился блеск.—Зенитные орудия не могут больше стрелять, крен чересчур велик.

— Мы тоже не можем,—сказал Суги.—Мы стреляли по низко летящим торпедоносцам, вели заградительный огонь. Что горит в корме?

— Пороховые погреба.

«Там Ямадо, Ямадо...» Суги прижался лбом к визиту и начал что-то шептать просительно, кресло под ним вздрогнуло, а в окулярах, в голубом наклонном небе, над медленно ползущим эсминцем снова зарыбились белые комочки разрывов. «Снова летят»,—подумал Суги и вцепился двумя руками в кресло. «...Милая, добрая мама...» Самолеты миновали корабли охранения и начали сближаться с линкором, с беспомощным стальным гигантом, почти лежащим на боку, у которого уже не стреляло ни одно орудие. Летчики с потными от напряжения и злобы лицами взяли стальную грудку в перекрестие прицелов, сейчас они нажмут кнопки сбрасывания и длинные белоголовые торпеды с неподвижными до времени винтами медленно отделятся от самолетов и начнут зловеще приближаться к воде. Семь богов в бумажном доме на склоне зеленой горы... Снег, благостно падающий на красные сосновые ветви... Одеало, под которым так тепло ногам... Суровое и спокойное лицо отца. Вы будете служить на одном корабле, самый могучий корабль в мире... Торпеды, вздымая фонтан брызг, прикасаются к воде, зарываются в нее; вот завертелись винты, подводные снаряды, обрета силу и скорость, продолжают заданный путь, они направляются к нему, к Суги... От взрыва он вылетел из кресла, башня с матросами, цепляющимися за стенки, с застрявшим на элеваторе последним снарядом, с чужим раненым офицером, как-то нелепо катящимся по полу, стала медленно поворачиваться и наклоняться. Последнее, что видел Суги Кадзума, был огромный черный снаряд, вылезавший из лотка элеватора. Снаряд оторвался от лотка

и повис в воздухе, а потом стал надвигаться на него, увеличиваясь в размерах и закрывая собой весь мир...

Для команд японских миноносцев линкор погиб, вначале изменив очертания: из громады мачт, башен и труб он превратился в лежащий без движения длинный, красный, цвета сурика, которым было выкрашено днище корабля, остров. По нему ползали крошечные человеческие фигурки — пытаюсь спастись, люди вскарабкались на него. Неожиданно линкор стал оседать, один его бок приподнялся — корабль пытался в последний раз выпрямиться — и исчез под водой, выбросив облако брызг и пара.

Для американских летчиков, которые следили изда- лека, светло-серый корабль, опуская все ниже к воде мачты и трубы, превратился сперва в черную, а потом в красную полосу и наконец исчез, оставив на поверхности дрожащее белое пятно. Гибель людей летчики не видели.

Для команды «Ямато», для тех, кто не стал искать спасения на днище перевернутого корабля, а отплыл сколько мог в сторону, гибель линкора сперва не казалась их гибелью. Корабль умирал медленно: вначале они услышали грохот — это сорвались с места котлы, отделились от барбетов и начали падать орудийные башни. Потом огромный красный остров стал погружаться, сперва не торопясь, затем все быстрее. Когда он исчез, на его месте неожиданно вырос водяной холм. Этот холм осел, а там, где он только что был, начала стремительно с ревом расти воронка и по зеленым наклонным стенам ее покатались в черную глубину люди...

Последним утонул Ямадо Кадзума. Его не затащило под воду. Он долго кружил среди шуршащих пузырей и кричал: «Суги!» Потом брюки, китель, ботинки стали как гири, но и захлебываясь, он продолжал кричать: он понял, что любит брата больше, чем отца, больше, чем мать, любит больше всех на свете.

«Окинава — спасение или гибель Японии». «Мы позволим им высадиться на остров, затем агаками самоубийц уничтожим их флот и разгромим на берегу их войска». «Камикадзе — ключ к победе». Вот что задумали они: сотни самолетов с самоубийцами. Чашечка саке и прощальное письмо домой. Еще белая головная повязка. Это, пожалуй, все, что они могли предложить своим парням.

В эсминец «Вуш» врезались один за другим три камикадзе. Каждый самолет нес двухсотпятидесятикилограммовую бомбу. Корабль разорвало на части. Он утонул и унес на дно 87 жизней. Эсминцы гибли один за другим. Только близ аэродрома Кадена на Окинаве в те дни прибой выбросил тела ста пятидесяти моряков с наших эсминцев.

Февраль сорок пятого в Токио был особенно холодным и ветреным. Изголодавшиеся, оставленные детьми, старики погибали в своих домах. А совсем рядом в городах на берегу Внутреннего моря — в Такамацу и Кириидзуми — уже наступила весна, неожиданно ранняя и, как никогда, теплая. Цвели персиковые деревья, а в каналах плавали, то и дело ныряя за рыбой, черные кормораны.

Имею честь сообщить министру, что произведенным обследованием установлено: средний вес учащихся в школах с 1940 по 1943 год снизился до 31 килограмма, а рост до 137 сантиметров. Когда детей отправляют на сельскохозяйственные работы, они неделями едят сырые, выкопанные из земли овощи.

Ошибкой является с утра до вечера думать только о пище, говорить только о пище, надо забыть, что такое вкус сахара.

Из префектур Токио и Осаки эвакуировано четырнадцать тысяч детей. Их вывезли в деревенские районы и поселили в синтоистских и буддистских храмах. Дети бродят по деревням, выпрашивая еду, их ловят и отправляют вскапывать поля и полоть сорняки.

Для интенсификации труда на заводах ввести премии, которые выдавать водкой.

Для работы под землей на шахтах и рудниках ввезено еще несколько сот тысяч корейцев и китайцев. Для работы на авиационных заводах мобилизованы глухонемые и несколько сот слепых.

Сформированы женские «Отряды служения отечеству через производство». Объявлен перечень из семнадцати профессий, которыми запрещено заниматься мужчинам.

На острове Хоккайдо из-за нехватки шахтеров, призванных в армию, для работы в угольных шахтах мобилизованы женщины.

Сократить норму риса до трехсот граммов на день. Разрешить там, где это необходимо, заменять по карточкам рис смесью гаоляна, кукурузы и ячменя.

...Настоящим доношу, что писатель Мюсеи Токугава вчера в присутствии двух неустановленных лиц сказал: «Исход уже ясен».

Все мужчины и женщины от тринадцати до шестидесяти лет, кроме больных и беременных, считаются мобилизованными для работы на военных заводах. С мужчинами каждую неделю проводить занятия по штыковому бою. В связи с нехваткой винтовок всем выдать бамбуковые пики.

«Коли, бей! Если пика сломалась, навались всем телом, опрокинь врага!»

В городе Осака жандарм во время тревоги заметил старуху, бегущую из лавки с пригоршней бобов. Привязав ее к столбу, он скрылся в бомбоубежище. Поступок жандарма был неправильным. Хотя столб и старуха сгорели, воровку следовало взять с собой, а после отбоя наказать ударами палки.

«Власти боятся пожаров. Спешу сообщить тебе, отец, что делается у нас в Токио. Солдаты ходят по городу и пишут мелом на домах: «Покинуть. Срок пять дней». Те, у кого есть родственники в деревне, увозят мебель на повозках и тачках, им помогают мобилизованные студенты. Улицы завалены книгами, музыкальными инструментами и мебелью. Около каждой кучи стоит владелец и предлагает купить за бесценок. Но кто купит? За-

чем? А к дому уже подходят солдаты, обнюсая его веревкой и, ухватившись, раскачивают. Когда дом рушится, его начинают разбирать. Завтра настанет очередь нашего дома».

Я, Хиакэ Ушида, записал в те дни в дневнике: «Стою у вокзала; ласточки снова, впервые за много лет, стали лепить гнезда под карнизом станции. Они ничего не хотят знать о нашем горе».

В школе не должно быть никаких гребней, шпилек. Гладкие волосы, собранные сзади в черное резиновое кольцо. Матросская блуза без тесьмы. Штаны крестьянские, цвет тесьмы на них показывает год обучения. Расположение и число карманов — согласно прилагаемому рисунку. В карманах разрешается держать только туалетную бумагу и носовой платок. При необходимости разрешается брать полотенце для рук и полотенце для ног. Ходить босиком, невзирая на холод.

«Мама, слушай большую просьбу Мицуко. Мама, как только получишь это письмо, приезжай. Приезжай, пожалуйста, мама.

Мама, каждый день Мицуко плачет. Все обижают меня. Когда в нашей группе украли ящик с завтраком, меня заставили сказать, что это сделала я. Теперь все презирают меня.

Мама, Мицуко умрет, если ты не приедешь. Пожалуйста, захвати с собой чашечку риса. Я так голодна. Я больше не могу терпеть. Каждый день нам дают только по кусочку тыквы.

Мама, пожалуйста, как только получишь письмо, выезжай. Обязательно выезжай.

Мицуко».

Я хорошо запомнил этот день, потому что это был день моего рождения. С утра шел редкий для марта снег, люди с трудом пробирались по узеньким, протоптанным в снежной целине тропинкам, брели в затылок один другому по непривычно белым улицам, мимо неподвижных, застрявших в снегу трамваев. С наступлением темноты они попрятались в домах, улицы опустели, лишенный угля и дров город забылся сном. И вот тогда раздался вой сирен. Они прилетели с Сайпана, как все-

гда держа курс прямо на конус горы Фудзи и оставляя справа от себя тусклый вечерний океан. Первые самолеты повесили над городом на парашютах осветительные ракеты, и те стали лениво спускаться, роняя огненные капли и заливая зеленым светом притихший город.

Потом на высоте, где их не доставали ни истребители, ни зенитные снаряды, проплыли первые «летающие крепости». Они проплыли, чтобы разом, по команде, уронить на дома баки с напалмом. Разбиваясь, баки выметывали фонтанами жидкость, которая сразу же воспламенялась. Волна за волной проплывали в высоте над городом машины, и каждый раз на землю обрушивался черный град, который, коснувшись земли, превращался в огонь.

Так продолжалось до рассвета, а когда поднялось дымное синее солнце, появились одиночные машины. Снизившись, они стали фотографировать. Эти снимки сохранились, на них видно, что снег растаял, город из белого стал черным, некоторые районы выгорели полностью, каналы завалены трупами — в воде люди пытались искать спасение. Целые семьи задохнулись в домах: их не тронул огонь, защитили каменные стены, но огненный смерч, поднимаясь, уносил вместе с собой воздух. Смерч со свистом высасывал воздух из каждого негоревшего дома, а на его место с таким же свистом в вылетевшие окна и двери врывалось раскаленное дыхание пожарищ...

Следующий день — 10 марта — был Днем Вооруженных Сил. По сгоревшему Токио, рассекая толпу беженцев, тащивших на тележках свой жалкий скарб, по засыпанном пеплом и углями улицам прошел, играя марши, военный оркестр. Несколько сот трубачей и барабанщиков шли, надувая щеки, изо всех сил ударяя в барабаны, оглушая понуро бредущих стариков, заставляя плакать детей и сменяя с пути замешкавшихся инвалидов.

Небо казалось бездонным, а аэродромные постройки невесомыми, на крыши ангара семеро солдат в зеленых робах стучали молотками. Подбежал офицер и что-то зло крикнул. Солдаты исчезли. «Семь богов счастья с тем, кто полетит вместо меня сегодня», — подумал Ито. По асфальтированной дорожке к полю уже катил странный крылатый снаряд с двигателем-трубой и застекленной кабинкой для летчика.

Его катили мимо бомбардировщика, стоявшего у взлетной полосы. От штабного здания мимо ангаров следом за генералом, испуганно расширив глаза и выпятив грудь, шагал летчик.

— Вы должны стоять вон там! — Голос дежурного раздался у Ито над самым ухом. — Десять шагов к северу от штабного здания. Плохо выучили инструкцию. Сегодня ошибаться никому нельзя. — Генерал подал знак, и дежурный бросился к нему.

Ито смотрел на летчика: белой повязки на лбу нет, значит, не будет и ритуальной чашки саке. Ну конечно, сегодня лишь пробный полет, и летит не он, Ито, а этот парень с удивленными глазами.

Крылатый снаряд «Сюйсюй» распластался на тележке, взлетная полоса тянулась перед ним как дорога в вечность, сейчас первый из японцев взлетит в небо верхом на ракете. «Сюйсюй» — это значит «осенние воды»; чтобы дожидаться конца войны, надо пережить осень.

Группа стоявших около снаряда распалась, генерал ушел к башне, чтобы оттуда наблюдать за полетом. Приподняли стеклянную крышку кабины — она сверкнула, летчик застегнул шлем. За выпуклым стеклом его голова казалась головой уродливого насекомого. Последним от самолета отбежал техник. Заработал мотор, из трубы двигателя вылетел язык пламени, крылатый снаряд задрожал и тронулся с места. Сноп огня вспух и раздулся, оставленная самолетом тележка отпала и побежала вихляя, беспомощно прыгая по дымному асфальту.

— Летит!

Маленький самолетик, в котором сидел человек-насекомое, приподнял одно крыло и, уклоняясь от черной надежной реки асфальта, устремился к ангару. Под крики испуганных солдат он врезался в него. Из черной пробоины в стене повалил дым...

Через месяц Ито было присвоено новое звание, и он получил предписание отправиться в Корею.

— Это будет сюйсюй? — стараясь не выдать страха, спросил он.

— Бака. Мы решили не рисковать. Крылатая бомба, простой и надежный бака, — скаля в улыбке зубы, ответил начальник школы. — Начальник базы там адмирал Кадзума. Явитесь к нему... Что у вас в руках? Самоучитель английского языка? Выбросите немедленно.

Когда Ито ушел, начальник школы стал мучительно

вспоминать. Что-то с этим Ито не так, существовала какая-то ошибка, о которой он знал, но припомнить которую теперь не мог. Он вспомнил о ней, когда война была кончена: канцелярия работала отвратительно, матери погибшего летчика было послано извещение о смерти сына, но его послали матери Ито. Погибнуть должен был он.

Они вошли в Кириидзуми рано утром, спустились в него с холмов, еще полных ночной сырости и бормотания малых сов. Дорога, по которой Сатоко тащила за руку сына, обогнула безлюдный, с выбитыми стеклами, неработающий завод и вывела их на берег моря. Здесь знакомо висели около домов сети и пахло гнилой рыбой. Сатоко тащила мальчика за руку, а тот с трудом поддавался, безразлично и тяжело переставляя ноги, глаза его были полузакрыты.

— Скоро, скоро придем, осталось только найти дом.

Но когда она спросила попавшегося навстречу старика— тот вышел из своей лачуги и стоял лицом на восток, грея морщинистые лоб и щеки,—старик вяло прищелкнул языком и ответил, что улица, про которую она спрашивает, совсем в другой стороне и ей надо пройти город насквозь.

— Дома там стоят редко, тебе придется все время спрашивать, дома хорошие, не чета этим. Но люди другие, не каждый ответит. Кого ты вздумала, оборванка, там искать?

Она пошла дальше, волоча за собой ребенка. Главное теперь — найти улицу. Надо торопиться, потому что везде, где они проходили, люди говорили: не сегодня завтра сюда придет война.

В поселке под Окаяма их задержала полиция.

— Эту бабу надо направить в женский рабочий отряд. Будешь работать на заводе,—сказал чиновник, к которому привели Сатоко.— Мальчишку в государственный детский дом.

Но сначала их отправили в фильтрационный лагерь, в бараки для эвакуированных. В одной половине барака жили женщины, а во второй — солдаты-инвалиды с Лусона и из Бирмы. Солдаты с утра рассаживались на солнце у стен и вели бесконечные разговоры о боли в культих и о гниющих ранах. Они рассказывали о черно-зеленых кораблях, подходящих носом к берегу, и о катерах, идущих впереди этих кораблей, о катерах, ко-

торые тучей бросаются на остров, где ты лежишь около пулемета в сыром, отрытом в прибрежном песке окопе.

— Они способны переползать через рифы... — говорили они.

«Надо что-то делать, надо что-то придумать...» И Сатоко пошла помогать на кухню, около которой всегда вертелось с десятков пришедших с воли мальчишек. За горсть бобов они помогали выносить помои и чистить кирпичной крошкой миски. И вот однажды, когда мальчишки под вечер уходили, она крепко взяла за руку сына и еще кого-то и, громко крича, что едва нашла их, прошла мимо хмурого, безразличного часового. Выйдя за ворота, протащила обоих до дороги, а когда перестали быть видны крытые серой соломой наклонные крыши бараков, бросила руку чужого мальчишки и пустилась бежать.

И теперь вот он, город той незнакомой женщины, и она идет по нему, волоча за собой сына, оглядываясь то и дело на море — не появились ли уже черно-зеленые корабли?.. На улицах все больше народу, но люди не разговаривают между собой, а угрюмо спешат на работу, на службу, в продуктовые лавки, на рынок, запах которого тревожно стоит в воздухе. Где эта женщина, к которой она идет уже вторую неделю? Идет, волоча за собой мальчика. Женщина, которая, увидев его и поняв, кто он, закроет в ужасе рукой рот и, прежде чем заговорить, будет долго-долго собираться с силами.

Начиналась жара. Пыль, пролежавшая всю ночь на холодных камнях, нагревалась и становилась легкой. Какой она окажется, эта женщина? Высокомерный мальчишка — такой неопытный, она сразу почувствовала это, — мальчишка, пытающийся скрыть свою неопытность под напускной грубостью. А его брат... Он так и не пришел, она ждала его, как условились, до тех пор, пока не увидела, как выходит из бухты белая шхуна. И вот теперь она бредет по улице незнакомого города, шумной, переполненной народом, жалко, настороженно всматриваясь во встречные лица. Улица сузилась, стала тихой, зеленой, изогнулась и стала ползти вверх по склону. У домов появились низкие решетчатые ограды и садики, цветные черепичные крыши.

— Видите, сосновая роща и вершина храма? Вам надо идти туда. — Мусорщица, которая объяснила это, снова побрела с совком вниз по улице, шаркая растоптанными ногами.

Вот и дом, сад, подстриженные шары кустов, бумажные стены, но бумага в желтых потеках, ее давно уже не меняли. На веранде, наклонившись, что-то делает женщина: высокая прическа, в волосах отблеск зеленого, идущего из сада света. Сатоко ухватила рукой за столбик садовой ограды и судорожно сжала детскую руку. Ребенок вскрикнул. Услыхав крик, женщина на веранде подняла голову. Сатоко оперлась о калитку, — резко звякнула щеколда, калитка распахнулась. Обе женщины медленно пошли навстречу друг другу. Они шли по хрустящему желтому песку, которым была посыпана дорожка, и расстояние между ними сжималось.

«Странная посетительница, — подумала госпожа Кадзума. — Должно быть, беженка. Будет просить работу или что-нибудь поесть. Конечно, нищенка с сыном. Какое у нее грубое, обветренное лицо!»

— У меня нет для вас ни еды, ни работы, — сказала она и остановилась. — Это частный дом, и входить сюда нельзя.

Нищенка, не отпуская руки мальчика, продолжала брести к ней.

— Я пришла сказать вам, госпожа... — Теперь она стояла, уронив руки, прижав их к худому жалкому телу, говорила устало, готовая тут же сесть и больше не подниматься. — Я хочу сказать... Мы оба хотим спать.

Госпожа Кадзума вздрогнула, подняла руку и резко произнесла:

— Вы ошиблись. Я никогда не видела вас.

— Если вы мать братьев Кадзума, то мы пришли правильно. — И только теперь, чувствуя, как кружится голова и как дрожат ноги, начала опускаться на землю. Госпожа Кадзума посмотрела на мальчика — и сразу все поняла.

А мальчик уже заметил что-то в небе — там плыл серый прозрачный крест. В книгах, которые много лет спустя начнет читать старик Куамото, будет написано, что в те дни одиночные самолеты стали все чаще появляться над городом. Мальчик увидел, как от самолета отделилась точка, а над ней вспыхнуло белое пятнышко.

— Смотрите!

Обе женщины тоже подняли головы. Они увидели сбоку от солнца, в небе, куда был устремлен палец ребенка, белый, похожий на семечко одуванчика парашют, а под ним что-то черное, круглое, похожее на маковое зерно. Затем мелькнуло, вспыхнуло, рядом с сол-

нцем родилось и стало раздуваться второе солнце. Земля сначала задрожала, а потом вспучилась, улицы перестали быть прямыми, тугой, как вода, воздух повалил ограду и отбросил женщин и мальчика к стене дома, дом приподнялся, раздулся, как гриб, и, оседая под треск рушащихся повсюду зданий, накрыл всех трюих.

...За четыре года США смогли продвинуться только до Иводзимы, воздушные рейды на Японию слабы и несравнимы с рейдами против Германии, и, наконец, Советский Союз не вступит в войну, а если вступит, у нас на материке достаточно сил, чтобы сдержать Советскую Армию. Главный враг Японии — пораженческие настроения среди части народа. С ними надо беспощадно бороться.

Мы должны помнить, что Черчилль и Рузвельт заявили в Атлантической хартии: после войны им нужны пустые острова; чтобы очистить их, каждый японец и японка будут убиты¹.

Готовить к решительной битве весь стомиллионный народ, исполненный безграничной преданности монархии. Вооружить все живое на императорской земле. Погибая, тянуть за собой противника.

«Дух трех миллионов пик».

Помнить, что сказал до войны генерал Араки: «Если мы вооружим бамбуковыми пиками три миллиона человек, мы победим даже Советскую Армию». Изготовить и выдать бамбуковые пики всем отрядам женского добровольческого корпуса. Победа неизбежна, так как японский народ обладает мистической силой, которая превратит каждого, даже невооруженного, человека в человека-пулю, которая пробьет любую броню.

При невозможности изготовить пики, выдать женщинам топоры. Когда враг высадится, каждая должна убить по одному американскому солдату.

¹ Такого заявления Черчилля и Рузвельта не было.

Из донесения военной полиции: «В городах и деревнях народ Ямато готов сражаться до конца».

Одобрена инициатива администрации: на некоторых фабриках, в предвидении высадки американцев, приступили к выдаче работникам ампул с сильно действующим ядом.

Я, командующий военным округом Тюбу, утверждаю, что в настоящее время, когда в стране не хватает продовольствия и ее территория превращается в поле сражения, существует необходимость уничтожения всех стариков, больных и слабых. Они не годны для того, чтобы погибнуть вместе с Японией.

Брат пример с командующего обороной острова Иводзима, который, увидев, что бункер, в котором находился его штаб, окружен, приказал принести микрофон и обратился к защитникам острова. «Патронов и воды больше нет,— сказал он,— и все равно те, кто еще жив, должны сражаться до конца. У меня у самого нет другого выхода». И он кинжалом вспорол себе живот. Радио не работало, не важно, слышали или нет солдаты слова своего генерала, его слышали те, кто был в штабе.

Следует неотлагательно вывесить повсюду плакаты. Для крестьян, в деревнях: «Больше сеять, больше убирать, меньше есть!» В городе: «Больше трудиться, помнить о знаменах!» Там же, в городах, в преддверии зимы: «Горячие сердца, холодные руки!» Топлива не будет, грелки в домах разжигать будет нечем.

Туман, который весь день стоял у самого берега, к вечеру откатился. Вызвездило, огромный красноватый Арктур зажегся там, где когда-то до войны включал на мысу свой огонь маяк. Офицеры ушли спать по домам. Сыграли отбой — как вдруг в казармах снова зазвенели телефоны, замелькали фигуры посыльных, к катерам побежали матросы, на дороге послышался неясный топот: огибая бухту, подходила колонна. Солдат провели к эллингу, на катерах завели моторы, и они

стали один за другим вытягиваться на гладкую мерцающую ночную воду. На каждом рядом с торпедами бесформенной кучей уже громоздилось что-то темное, закутанное в плащ-палатки, щетинящееся штыками и дулами.

Рассоха стоял на мостике, рядом с ним Нефедов, Кулагин. Все трое поеживались, недовольно оглядывались, наблюдая, как занимают свое место в строю катера.

— Приготовь Расин,— сказал Рассоха, и Нефедов полез в рубку раскладывать на столе карту.

— Японцев там много? — осторожно спросил Кулагин.

— Батальон. Если от границы не отойдут. Армия начнет в четыре.

Что там — за морем, за туманом, который серой полосой тянется от входных мысов?

Когда прошли Посьет, Кулагин спустился вниз к мотористам, а Нефедов отметил на карте: «Миновали границу». На востоке из белесого неподвижного моря уже поднималось приплющенное багровое солнце, справа от катеров горбатился сопками корейский берег.

Открылся широкий вход. Выметывая из-под бортов белую шипящую пену, катера промчались мимо низких коричневых островов, влетели в залив, и Рассоха сразу заметил в глубине его покосившийся, прижатый к берегу причал. Горел подожженный авиацией порт, журавлиные шеи портовых кранов мертво качались в нагретом воздухе. Завидя подходящие катера, выскочили из лодок на причал и бросились бежать рыбаки-корейцы. За одним, судорожно размахивая руками, спешил мальчик. Мужчина остановился, подхватил ребенка и неуклюже, скачками, бросился дальше. Катер уменьшил ход, из люков на палубу уже лезли солдаты в пятнистых маскировочных плащах. «Подхожу левым бортом!» — крикнул Рассоха. Машинный телеграф, все ручки — на «стоп». Зло крикнул матрос — ему солдаты помешали выбросить за борт кранец. Ручка правого телеграфа — «назад». Со взрывом ахнул мотор, катер задрожал, из-под кормы вылетел пенный бурун, корму стало подносить к причалу. Зеленая масса на палубе дрогнула, подалась к борту. Катер наклонился. Первым выбросился на причал молоденький лейтенант: в каске, ворот расстегнут, в руке солдатский автомат. И тут же рвануло — тонко запели осколки, взметнулась желтая пыль, лейтенант споткнулся, поднес руку ко рту. Мимо

него бежали, кричали. Разорвалось еще два снаряда. Лейтенант стоял на причале, держа руку на отлете, рукав гимнастерки разорван, около него, торопливо обматывая бинтом что-то желтое и красное, торчащее из рукава, суетился санитар. Следующий снаряд упал в воду. Катера заторопились и задним ходом, как раки, поползли от причала.

— Отхожу! — крикнул Рассоха, корабль описал полукруг и замер носом на выход.

— Солдата, солдата забыли! — высунувшись до пояса из носового кубрика, вдруг закричал боцман. Красное, с рыжеватыми бачками лицо его дергалось. И тогда из люка, дрожа и озираясь, вылез солдат. Он с трудом тащил на себе что-то круглое, зеленое, прихваченное ремнями к спине, на груди болтался автомат. Лицо у солдата было старое, в морщинах.

— Я в кубрик, подумал, проверить надо, а он там! — восторженно кричал боцман. — Все выбежали, а он — в углу. Что делать с ним, командир?

Еще два снаряда, подняв фонтаны, упали между катером и причалом. Рассоха, скрипнув зубами, перебросил одну из ручек телеграфа — катер толчками пополз к берегу.

— Командир, накроют сейчас, убьют! — жалостливо выкрикнул боцман.

На берегу уходил, разворачивался в цепь десант, японцы пристрелялись — над причалом брызнули щепки.

— Боцман, с лотом на нос! Будет полтора метра, пусть прыгает.

Катер, содрогаясь, полз вперед.

— Винты погнем, командир!

Солдат, пригнувшись под тяжестью минометной плиты, обреченно ждал.

Бросая и вытаскивая лот, боцман кричал: «Два с половиной... Два... Полтора».

Рассоха махнул рукой. Боцман подтолкнул солдата, и тот, взмахнув руками, полетел в воду. Катер, оставляя позади себя желтый, поднятый со дна ил, стремительно покатился назад.

— Ну что? — не поворачиваясь, спросил Рассоха.

Нефедов, напрягаясь, всматривался в то место, где упал солдат.

— Не видно... Слышишь, я говорю — не видно!

— Глаза протри.

— Ты утопил его. Понимаешь, что ты сделал? Утопил.

Боцман подошел к рубке. Он отдувался, возбужденный, не в силах поверить: все кончилось хорошо — десант высадили, сами целы.

Катера строились в кильватерную колонну.

— Его бы все равно расстреляли. Трибунал,— глухо сказал Рассоха. — С этим у нас четко. Ему надо было не лицом вперед прыгать, а спиной.

Кулагин уже вылез из моторного отсека и стоял, нервно потирая руки.

— Он не дезертир, его что-то задержало. Он не успел. Первый раз под пули, думаешь, просто?

— Заткнись, Нефедов. Я покурю, возьми штурвал. — Рассоха сошел с мостика. — Боцман, дай папиросу! — Губы его дрожали.

«Плита, плита его убила,— тоскливо думал Нефедов. — Сзади ударила и убила. При чем тут мы?»

Из-под кормы всплывали пенные шапки. На берегу начался пожар. Цепочка штурмовиков с красными звездами пронеслась над катерами, одна из машин дымилась и теряла высоту.

Следующий десант высаживали через сутки в Сейсин. Ночь. Горят склады. Они горят у самого берега, и оттого на причалы, на воду ложится красный неверный отблеск. Снова портовые краны. На фоне пожарища они торчат, как задранные к небу руки. Порт покинут, никто не стреляет. Катера входят в гавань и осторожно, крадучись, подходят к берегу.

В тыл отступающей японской армии высаживают разведчиков. Частые всполохи на горизонте — там бой. Разведчики, молча, по одному, прыгают с катера и, как тени, исчезают под широко расставленными ногами портового крана. Пулеметные стволы, направленные на город, запоминают их путь. Пулеметы должны их прикрывать, но прикрывать не надо. Над низкой сопкой на мысе качается белый серп луны. Зарождается рассвет. Катера, скрипя канатами, покачиваются на ласковой воде. И вдруг в городе начинается стрельба.

— Прихватил кто-то их,— говорит Рассоха. В багровых отсветах пожара его лицо кажется медным. — Сейчас раненых понесут.

Из темноты показывается человек.

— Кто там! — кричит часовой. Человек в ответ ругается и, дойдя до катера, садится на землю. С болтающихся, повисших пальцев у него капает на землю что-то черное.

Матрос-сигнальщик срывается с места и выносит из кубрика аптечку. Руку бинтуют. Раненый скрипит зубами.

— Он из-за двери меня, — говорит разведчик и качает забинтованной рукой. Рука качается, пугая Нефедова. — Я только открыл дверь, а он оттуда из пистолета. Как жахнет. Я упал. Он подошел ко мне, а я его — снизу...

— Да? — с восхищением спрашивает сигнальщик. Он первый раз говорит с человеком, который только что убил.

— Смотрю, а это не солдат, — продолжает раненый, — в кофте, гад. У него там лавка была. Пуля хорошо попала — в мясо.

— Кость не задела, — радостно подтверждает матрос.

Небо сереет. На мысе Колокольцева, который нависает над гаванью, из темноты выступает белое здание маяка. Там, как обозначено на карте, у японцев тяжелая батарея. Она не может стрелять в порт, ее огромные длиннорылые пушки поставлены так, чтобы обстреливать проходящие с моря корабли. Из-за мыса раздастся один глухой взрыв... Второй... Третий...

— Четыре, — считает Рассоха. — Орудия взорвали. Скоро сюда придут.

Разведчик поднимается, свободной рукой берет с земли автомат и идет от катера.

— Ты что? — кричит ему вслед матрос. — Ты же раненый, оставайся здесь.

Разведчик не отвечает и скрывается между горящими пакгаузами.

В той стороне, где он скрылся, слышится автоматная очередь.

— Ведь вот заядлый какой, — говорит матрос. — Ему бы остаться у нас, а он снова пошел...

Третий день в городе, полном зловонного дыма от горящего в складах зерна, от тлеющих на железнодорожных путях вагонов, от непогашенных брошенных печей металлургического завода, идет бой. Он то накатывается, то отступает. Японская армия пытается прорваться на юг.

Город защищает полк да высаженная в первую ночь разведрота. В порту рядом с двумя транспортами, на которых привезли полк, подрагивают у причальной стенки, трутся бортами два катера.

— Влипли мы с тобой, Нефедов,— говорит Рассоха. Его звено осталось в порту, на втором катере барахлит мотор, и Кулагин с мотористами второй день не вылезит на палубу. — Слышишь, уже на улицах стреляют. Вон как пленные зашевелились.

В конце причала лежат зеленой бесформенной грудой захваченные в плен, приведенные сюда японцы. Из груды тел то и дело поднимается одна, вторая фигура. Они прислушиваются к выстрелам, с надеждой всматриваются в голубые дымки разрывов на сопках, нависающих над городом.

На катере наконец заводится мотор. Он ревет, звук то усиливается, то ослабевает. Фыркнув, мотор замолкает. Из люка показывается Кулагин, сходит на берег, идет к Нефедову и Рассохе.

— Ну, все,— говорит он и трет о штанину замасленную грязную ладонь. — Моторы хорошие, да их знать по-настоящему нужно. Были бы свои... Это он к нам, что ли?

От транспорта к катерам бежит солдат, не добежав несколько шагов, замирает и быстро докладывает Рассохе.

— Скажи, сейчас иду. Полковник вызывает,— объясняет Рассоха и, выждав, неторопливо идет к транспорту.

Нефедов и Кулагин присаживаются на мешки, оставленные японцами на причале. Один мешок порван, и из него вытекает струйка чумизы.

На трапе, который опущен с борта транспорта на берег, показывается Рассоха. Лицо у него недовольное, красное.

«Наверное, поругался с полковником»,— думает Нефедов.

— Там, в городе,— говорит Рассоха, обращаясь к Кулагину,— наши заняли здание. А в нем какие-то приборы и, главное, кабели. Полковник боится: вдруг эти кабели идут к инженерным минам. А? Взлетим все на воздух. Надо сходить, посмотреть... И еще — новость. Радиоперехват: из Японии идет десант. Представляешь, что тут будет?

— Где это здание?

— Сходи на транспорт, спроси.

Кулагин уходит.

— Десант? Они же задавят нас,— говорит Нефедов.

Рассоха пожимает плечами и облизывает языком губы. Губы у него воспалены от солнца, от соленой воды, от ветра. Белые лоскутки кожи висят, как бумага.

— Ночью пойдем в дозор,— говорит он.

Катер мерно качается на пологой зыби, за бортом в черной воде купаются звезды. В турели, уткнувшись лицом в ручки спаренного пулемета, спит матрос. Нефедов, жадно глотнув воздуха, опускается — три ступеньки вниз — в рубку. Здесь на столе лежит карта. Желтоватый мыс Колокольцева как коготь свешивается с корейского берега в море. По прямоугольному экрану радиолокатора с писком бежит зеленоватый луч. Он вращается, как спица. Спица бежит, оставляя за собой размытые очертания берега и мелкие, тотчас гаснущие искры — отражения волн. Зыбь раскачивает катер, и во рту у Нефедова гадко собирается слюна. «Кислого бы», — с тоской думает Нефедов и вдруг видит неподвижный четкий мазок. Мазок распадается на несколько пятен, и те начинают медленно смещаться по направлению к берегу.

— Командир, проснись, командир! — Нефедов сбегает в каюту, трясет Рассоха за плечо. Тот мычит и отворачивается.

— Проснись ты, корабли с моря идут!

Рассоха вскакивает, трет кулаками глаза. Спал он не раздеваясь, в куртке. Кряхтя, поднимается из каюты в рубку. Зеленые пятнышки ползут к порту. Теперь их много, и никакого сомнения нет — со стороны Японии идут корабли.

— Достукались,— говорит Рассоха, и лицо его камееет. — Они сейчас нам дадут. Вот увидишь, дадут.

— Может, у них локаторов нет? — робко спрашивает Нефедов. — Ты не помнишь: на японских кораблях локаторы есть или нет? Ты разведсводки читал?

— Поди ты со своими сводками...

Если локаторы есть, то японцы должны вот-вот обнаружить катер. И как только поймут, кто это, по нему ударят из всех орудий. Самое страшное — это когда по тебе бьют из автоматов — все трассы летят прямо в глаза.

— Торпедная атака! — едва слышно хрипит в микрофон Рассоха. Он занял уже свое место у штурвала и

дает самый малый одним мотором. Катер ползет до тех пор, пока на фоне горящего берега не возникает черный низкий силуэт небольшого корабля.

— Что это? — шепчет Рассоха, и, когда Нефедов говорит: «Откуда мне знать?», так же шепотом ругается: — Набрали сопляков, чему тебя только учили?

Берег горит красным огнем, языки пожаров вяло поднимаются над черными, причудливыми крышами, багровые отблески играют на дымных облаках.

— Это сторожевик, — бормочет Рассоха, дает толчок еще двумя моторами и командует на торпедные аппараты: «Товсь».

Но глаза Нефедова уже рассмотрели: из темноты на освещенное пространство вот-вот выйдет еще один корабль.

Боцман и торпедист уже наклонились, каждый над своим аппаратом, каждый готов рвануть на себя рукоятки стреляющих, взорвать пороховые заряды, выбрасывающие длинные тела торпед. Задыхаясь, Нефедов глотает слюну, и в этот момент замеченный им второй корабль тяжело и протяжно выплывает на фон пожарища.

— Рассоха, ты видишь, Рассоха! — испуганно кричит Нефедов, но тот уже понял сам. Он снимает руку с электрических кнопок и, волоча тяжелые ноги, идет сперва к торпедисту, потом к боцману, берет каждого за руку, отводит от торпедного аппарата и, приблизив воспаленные, кровоточащие губы, кричит каждому в ухо: «Отставить!»

Затем возвращается на мостик, рывком дает задний ход всеми тремя моторами, и катер, пятясь, торопливо уползает в темноту.

— Свой, фрегат, — говорит Рассоха. — Это наш десант. Чего же это они, дураки, идут, не предупредив?

— Свой, и я это увидел. Свой! Даже раньше тебя увидел, — вздохнул говорит Нефедов. — Оповещения не дали. Тоже — штабы! Чешут задницы... Вот тебе и связь. Принести попить?

Они сидят на пороге рубки, пулеметчики, ничего не поняв, застыли в турелях, ошеломленный торпедист — у торпедного аппарата. Они сидят на пороге рубки и не видят, что со стороны моря на экране локатора появляется еще одна точка. Зеленая муха ползет по мерцающему экрану, неторопливо приближаясь к остальным кораблям десанта. Она идет наперерез самому большому, и вдруг в рубку доносится дробный стук выстрелов. Рассоха и Нефедов вскакивают. На фоне тлеющего бе-

рега снопами висят разноцветные трассы — корабли десанта стреляют во что-то крошечное, черное, прижавшееся к самой воде. И вдруг над этим крошечным взвиваются сигнальные ракеты, вспыхивают яркие красный и зеленый. Стрельба разом прекращается.

— Мать твою... своего чуть не расстреляли,— говорит Рассоха и хватает Нефедова за плечо. — Отстал, с экранов исчез, а потом появился. Вот так бы они и нас...

Нефедова мутит. Он перегибается через борт и сплевывает.

Десант входит в горящий порт и там тонко, едва слышно вспыхивает «ура!». Между горящими крышами домов начинают метаться частые вспышки выстрелов. Над мысом Колокольцева поднимается огненный гриб — японцы, уходя, взорвали склад боеприпасов.

Кулагин шел быстро, стараясь держаться одной стороны улицы, поближе к домам, где-то впереди в сопках стреляли, внизу вычертился как на ладони порт. На железнодорожных путях тянут синие хвосты — горят вагоны, дым стелется над исчезающими тонкими рельсами.

Свернул в узкую пустынную улочку. Ветер раскачивает свисающие со стен матерчатые вывески, ползут вниз тонкие с ножками буквы, тротуары засыпаны битым стеклом, осколками штукатурки, рваной бумагой, распахнуты окна и двери, никого из жителей не видно. Там, где стены разбиты, на улицу вытекли потоки вещей — низкие странные столики, такие же странные длинные тумбочки, плоские квадратные матрасы и одеяла.

— Стой, кто идет?

От стены отделился часовой.

— Где командир роты?

— Сейчас позову.

В низком бетонном, заляпанном маскировочной зеленью здании обширная комната, стены оплетены собранными в пучки проводами, посередине стол, на нем аппараты, на полу обрывки бумажных лент.

— Это же узел связи, вот телетайпы,— говорит командиру роты Кулагин. — Показывай кабели. Зря только панику подняли.

Вот и они — черные, просмоленные, похожие на длинных змей, идут наверх, к антенному полю и радиостанции, вниз, к городу, к вокзалу.

Кулагин терпеливо объясняет, но не успевает кончить — за дверью лопнула, раскатилась автоматная очередь. Командир бросился к выходу, крикнув:

— Все понял, а ты, старлей, давай отсюда. Давай уходи!

Кулагин вышел за ним следом, пригнулся: очереди раздавались недалеко. Пригибаясь, перебежал, снова очутился в знакомой улочке, и тогда из-за угла, визжа и дергаясь, выкатились трое: двое солдат пытались прижать к земле японца. Тот вырывался, на лице у него был написан ужас.

Клубок тел подкатился к Кулагину и замер. Солдаты вскочили. Один — лицо красное, рот скошен — рванул болтавшийся на груди автомат, японец тонко вскрикнул и, заметив на плечах Кулагина офицерские погоны, повалился в ноги.

— Стой! Ты что? — Кулагин стал перед солдатом, закрывая японца.

— Не мешай, старлей, я все равно его кончу! — Солдат выкрикивал, направляя автомат то на Кулагина, то на японца.

— Чего ты взъелся? Он же пленный, — сказал Кулагин. — Что он тебе сделал? А ну, отведи пушку!

Второй солдат, вытирая зеленой пилоткой мокрое от пота лицо, объяснил:

— Дружка нашего из-за угла пристрелили. Федька говорит, он видел — вот этот.

Кулагин жестом показал пленному встать. Тот вскочил на ноги и быстро-быстро что-то залопотал, вертя по-куриному головой и показывая то и дело на здание, которое только что оставил Кулагин. Он долго говорил, а потом сунул руку в карман.

— Старлей, он стрелять сейчас будет! — закричал солдат. — Хватай его, подлюку!

Но японец достал отвертку и, тыча ею в сторону телетайпной станции и показывая ее Кулагину, снова заговорил, а потом ткнул пальцем в автомат солдата.

— Вот видишь, — сказал Кулагин, — он даже стрелять не умеет. Изоляция на отвертке. Специальная отвертка. Электрик он.

— Старлей, дай я его кончу! — снова закричал солдат. — Дружка жалко; когда Федька упал, я в дом, а он как раз там сидел.

— Он говорит, что не убивал. Он вообще не стрелял ни в кого, — уверенно сказал Кулагин.

Второй солдат радостно кивнул.

— Брось,—сказал он и потянул приятеля за рукав.— Видишь, офицер по-ихнему понимает. Не стрелял,—значит, не стрелял. Пошли!

— Я отведу его сам.— Кулагин подтолкнул японца.— Иди, иди!

Они направились вниз по улице, но не успели пройти квартал, как навстречу вышел патруль. Матросы, с любопытством разглядывая японца, стали спрашивать: как там бой?

— Держатся наши. А эти с севера подходят. Жмут.

— Вы его сами взяли? — Матросы ни разу не были в бою. Вид пленного возбуждал их.

— Выходит, я.

— Японец-то зачем? Мы проводим вас.

— Нужен. Его допросят. Нужен,—прекращая расспросы, сказал Кулагин.— Чего стоим?

Они вышли на улицу, откуда открывался уже вид на порт. Сладким дымком пахла улица, море внизу зеленело мирно, серые коробочки кораблей были обращены вверх палубами, трубами, мачтами. Через стеклянную витрину парикмахерской, мимо которой проходили, Кулагин рассмотрел откинутое назад, с наброшенной простыней, белое, похожее на хирургический стол, кресло. Никелированные ручки—это было последнее, что он видел.

Раннее утро. Команды отдыхают. Нефедов замер у трапа. На причале стоит часовой и лежит полуприкрытое рисовой циновкой тело Кулагина. Из-под циновки торчат расставленные вздутые ноги. Зеленые мухи ползают по ним. Около труп сидит на корточках пленный японец.

— Кулагин... — говорит Нефедов, и ему хочется плакать. Труп лежит уже второй день. Подходит какой-то офицер и спрашивает часового, тот объясняет, что убитый с катеров, что он вел через город японца, их заметил снайпер, пуля пробила офицеру голову, но пленный не убежал и уже сутки не отходит от мертвого.

На соседнем причале по-прежнему толпятся другие пленные, их охраняют два матроса с автоматами. Японец с ужасом смотрит туда. Город дымится.

— Зачем он вел тебя? — спрашивает Нефедов по-русски.

Пленный не понимает, пугается и молчит.

Лиловое небо разворачивается над причалом, над

стоящим около него кораблем. У воды на розовом песке лежат черные длинные пятна мазута. Ледяные стекла смотрят на них из домов, освещенных пожаром, сладкий смрад поднимается вдоль корабельных мачт.

С корабля по трапу спускается женщина в матросской форме. Лицо ее плохо видно Нефедову. Она торопливо подходит к темной груде, лежащей на причале, и опускается на колени. Она шарит руками по циновке, потом начинает тихонько плакать. Пленный спит, сидя на корточках. При звуке рыданий он просыпается и отползает на несколько шагов в сторону.

— За что же это они тебя, за что? — бормочет женщина и бессмысленно водит руками по циновке. — Что сделали с тобой, а?

Она начинает раскачиваться. Она раскачивается медленно, то закрывая, то открывая для пленного корабль, воду и отраженные в воде пожары. Спрашивает о чем-то мертвого и, только вдохнув полной грудью нестерпимый зловонный воздух, пораженная, умолкает.

Они так и остаются втроем — плачущая женщина, дрожащий от холода японец и молчаливый Кулагин.

Рассвет наливает гавань молоком. Желтая вода качается между причалами. Она качается, как ласковые груди женщины.

Перестрелка, затихшая было, начинается вновь. В сопках над городом размашисто бьет пулемет. Синие трассы тянутся от одной сопки к другой, они соединяют их вершины легкими прозрачными мостами.

С корабля на причал спускается лейтенант.

— Слышь, Зина. — Он трогает женщину за плечо. — Шла бы ты на корабль. Уже чай. Шифровок несколько есть. Полковник два раза спрашивал...

— Жить не хочу! — с надрывом говорит она и начинает тихонечко выть. — За что они его, такого молодого, убили? Что он им сделал?

— Японцы опять в городе.

Он косится на соседний причал. Среди пленных заметно движение. Ободренные звуками приближающейся перестрелки, они подбегают к краю причала и что-то выкрикивают, обращаясь к пустым улицам.

— Надо и этого к ним отправить. — Лейтенант кивает на маленькую фигуру, которая жметя к земле.

На соседнем причале часовые начинают прикладами отгонять пленных вглубь, подальше от берега. Японец догадывается о смысле сказанных слов и начинает мелко дрожать. Он дрожит, как замерзшее животное. Вне-

запно, осененный догадкой, вскакивает и, показывая на Кулагина, начинает быстро-быстро говорить. Он убеждает, ссылаясь на него, забыв, что его никто не понимает.

— Заткнись,— говорит ему лейтенант,— он тебя сюда вел. Для чего? Никто с тобой разбираться не будет.

Он поднимает женщину и, поддерживая ее, ведет к кораблю.

Приходит солдат и забирает пленного. На причале остается один Кулагин. Он лежит, прикрытый циновкой. Добрые зеленые мухи ползают по нему.

Из фиолетового тумана от мыса Колокольцева показываются низкие серые корабли. Это идет из Владивостока еще один полк.

Горными реками прокатились по дорогам Маньчжурии и Кореи армии и корпуса, обвалами скатились с перевалов в равнины танки, потоками прошли по разбитым грунтовыми дорогами автомобильные колонны, желтыми, красными хвостами тянулась за ними пыль, оседала на каски, на лица солдат, на лоскутные поля гаюляна и сои. Высоко в небе проплывали вереницами голубые самолеты, вспыхивали следом за ними белыми гроздьями парашюты, на перепаханную танковыми гусеницами землю опускались с неба солдаты в пятнистых маскировочных плащах. А впереди катилась такая же неудержимая, тоже разбитая на ручьи и реки, пылью засыпанная, униженная, отступающая армия. Желтолицые, ничего не понимающие солдаты, молчаливые, ничего не спрашивающие у своих генералов офицеры, но шепотом, в кабинах автомобилей, задающие вопросы друг другу: что? Что стало с оставленными в дотах Хингана, на берегах Амура и Уссури взводами смертников? Успеют ли добраться до портов, где уже, по слухам, стоят наготове пароходы, чтобы отвезти огромную, не знавшую поражений армию на острова? Развернется ли там, как еще вчера уверяли генералы, самое главное сражение войны?

Но не успевали. Пройдя по бездорожью, перейдя где вброд, а где и по дну реки, оказывались на пути у них огромные с непривычно длинными стволами танки. У переправ и на железнодорожных вокзалах вырастали как из-под земли парламентареры, которые знали только одно слово и выкрикивали его требовательно, как приказ:

— К-а-п-и-т-у-л-я-ц-и-я!

...Летающая лодка пилота Камацу получила сообщение о взрыве через десять минут после падения бомбы. Решив произвести разведку, Камацу направил лодку к городу. Первое, что он увидел,—огромное грибовидное облако. «Он было похоже на гигантскую колонну, увенчанную головой чудовища,—рассказывал летчик.—Давайте пролетим сквозь него?»—предложил он экипажу и, получив согласие, направил лодку в середину облака. Оно клубилось и переливалось всеми цветами радуги. В кабине стало темно. «Я чувствую себя плохо»,—пожаловался радист. Скоро весь экипаж потерял способность управлять приборами. Камацу посадил лодку вблизи берега, а сам отправился в сгоревший, дымящийся город на разведку. «Кто со мной?»—предложил он. Вызвались Умеда и Томимура. Они до вечера бродили по окраинам города, не рискуя углубиться в его улицы.

Умеда умер через два года от лейкемии, Томимура—спустя двадцать лет. Камацу страдал от белокровия всю жизнь. Для врачей этот случай представляет особую ценность, так как все действия экипажа записаны в журнале с точностью до минуты.

К японскому народу!

Америка просит всех немедленно ознакомиться с содержанием этой листовки. Мы располагаем самым разрушительным веществом, когда-либо изобретенным человечеством. Одна бомба, снаряженная им, способна разрушить столько, сколько разрушают две тысячи тяжелых бомбардировщиков.

Если вы не капитулируете, мы будем применять эти бомбы, а также другое подобное оружие до самого конца войны.

Мы предупреждаем жителей: бегите из городов!

Сообщения, которые поступают в редакции, противоречивы, однако уже ясно, что сметена с лица земли большая часть города. Убиты почти все жители. Враг начал радиопередачи, из которых ясно, что он собирается убивать так много невинных людей, как только сможет. Для того чтобы выиграть войну, он не остановится ни перед чем.

Из последних новостей следует, что пожар затихает. Очевидцы утверждают, что сразу после взрыва пошел черный дождь — это падала с неба вода, перемешанная с пеплом. Первые раненые доставлены в больницы близлежащих городов.

Колонна кораблей уже сутки как тянется вдоль корейского побережья. Штиль, белая неподвижная вода.

Утром поднялись из воды зеленые, поросшие низкорослыми деревьями острова. На катерах только рота первого броска, сам десант на фрегатах и тральщиках. Нефедов высовывается из рубки, поднимает к глазам бинокль и, пугаясь, видит между зелеными пятнами кустов на островах бетонные глыбы, под каждой черная дыра — дуло ствола.

— Скройся, пока тебя не убили,— шипит Рассоха.

Медленно втягивается в залив десант, мучительно осторожно проходит мимо замаскированных сетями бетонных казематов, мимо раскрашенных в желтые, коричневые полосы оружейных щитов... С ума сойти... А впереди уже растут, поднимаются из воды причалы. От пакгаузов, от складов, от портовых зданий выбегают люди, подхватывают на лету брошенные канаты, набрасывают петли на чугунные тумбы.

— Что так? — думает Нефедов. — Что случилось? Ты понимаешь что-нибудь, Рассоха?

С неподвижно замерших кранов, с черепичных крыш домов никто не стреляет, но солдаты, спрыгнув с катеров, все равно бегут и залегают в скверах, прячутся за домами. В гавань, подрабатывая винтами, медленно разворачиваясь, один за другим входят корабли. Сбегают на набережную, грохочут сапогами солдаты, офицеры, покрикивая, уводят их в глубину улиц. Город поглощает десант.

— В чем дело, командир? — спрашивает Нефедов. — Отчего они не стреляли! Ты как думаешь?

— Хана японцам,— нехотя отвечает Рассоха и облизывает лопнувшие губы. — Хенде хох. Вон их сколько!

В дальнем конце порта прямо к воде выходит взлетная полоса. Там по летному полю суетливо мечутся кучки одетых в зеленое людей. Тонко поют моторы, поблескивая крыльями, разбегается и взмывает в воздух двухмоторный транспортный самолет. С одного из кораблей по нему дают длинную очередь. Красные и зеленые огоньки мчатся вслед машине.

— Домой рванул. Не иначе как капитуляцию Япония объявила,— говорит Рассоха. — Может, и верно все кончилось? Начальство знает, да молчит, а?

— Где штурман? Штурман! — Рыжие узкие бакенбарды боцмана возникают у ограждения рубки. — Нефедова ищут!

Рассоха, который стоит, облокотясь на турель пулемета, поднимает брови. На причале корейцы в синих блузах таскают мешки с мукой, они таскают их на спинах, весело скаля зубы, командует ими молодой парень с красной повязкой на рукаве. Швартуется самоходная баржа. Уронила на стенку носовую аппарель, по ней, своротив чугунный кнехт и измочалив настил, выкатился танк, грохнул мотором, повернул башню орудием вперед и пошел...

— Спишь? Правильно делаешь. Война кончится, спать не дадут,— весело говорит Рассоха. Он наклонился над Нефедовым, рядом с ним стоит как-то особо аккуратно и чисто одетый капитан-лейтенант. — Вот тебя и прихватили. Иди, сейчас к стенке поставят.

— Что, что? — Нефедов, который дежурил ночью, с трудом поднимается с койки. — Что случилось?

— Откуда я знаю. Натворил ты что-то. Сейчас поведут в трибунал. Натягивай штаны... Давай собирайся.

Нефедов послушно одевается, берет фуражку и шагает вслед за капитан-лейтенантом. Они идут к флагманскому фрегату, который белой горой возвышается над последним, прямоугольником врезанным в портовую воду пирсом.

Капитан-лейтенант, как все штабисты, осторожен, когда Нефедов спрашивает — зачем ведут? — отвечает: — Узнаете.

«Идем в штаб десанта. Это хорошо: командир десанта свой — комбриг. Дали ему-таки напоследок отличиться, доверили. ...А если не к нему?»

По узкому пляшущему трапу поднимаются на фрегат, светлым, масляной американской краской пахнущим коридором идут в кают-компанию. Там жарко, шуршат вентиляторы, на столе запотевшие графины с водой, в креслах вокруг стола белые кители — моряки, зеленые — армия. Во главе в белой чесучовой тужурке — комбриг.

— Ну вот, привели. Наконец-то,— недовольно покопился на армейских и быстро Нефедову: — Вы ведь английский знаете?

«При чем тут английский?»

— Не очень.

— Зовите японцев.

Ввели грузного армейского полковника и мосластого, со втянутыми щеками адмирала. Оба вытянулись у двери, но комбриг жестом показал — можно сесть.

— Скажите им, что переговоры продолжаются. Первый вопрос: сколько на этот час в гарнизоне войск?

«Как по-английски „переговоры“? А черт его знает... Хорошо, если „гарнизон“ так и есть „гарнизон“». Нефедов едва понимал, что случилось, заговорил запинаясь, японцы, услышав его, переглянулись. Адмирал сказал, что плохо знает язык, полковник не знает его вовсе, он, адмирал, боится, что переговоры будет вести очень сложно. Где переводчики, которые были вчера?

— Они вчера и японский плохо знали. И с переводчиками у них заедало. Так что пусть не придуриваются. Спросите еще раз: сколько у них в гарнизоне войск?

Японцы начали переговариваться. Наконец адмирал сказал, что установить точное число людей трудно: половина частей ушла на юг, с севера все время прибывают новые. Ориентировочно можно принять — тысяч сорок.

Армейцы переглянулись, это значило: а у нас всего ничего.

— Вчера был отдан приказ прекратить огонь, всем собраться в казармы. До сих пор в городе стреляют. Есть убитые. Почему приказ не выполнен?

— Все части приказ знают.

— Почему не хотят подписывать капитуляцию? Это саботаж.

— Нет прямой связи с Токио. Гарнизон подчиняется прямо Генеральному штабу.

— Пускай запросят.

— Уже запросили...

Августовское солнце раскалило сталь, вентиляторы месят влажный воздух. Японцы говорят долго, непонятно, все время просят повторить. Нефедов, путаясь, переводит.

В полдень принесли обед. Адмирал пошарил рукой около тарелки и, не найдя салфетки, положил на колени носовой платок. Ели молча. Комбрига вскоре вызвали, постепенно разошлись и штабные офицеры. Нефедов остался в кают-компании с японцами. Полковник сидел неподвижно, глядя перед собой бесцветными глазами, щеточка усов беспокойно подергивалась. Адмирал снял

с колен и долго складывал носовой платок. Внезапно руки его задрожали.

— Сколько вам лет? — разделяя слова, спросил он.

— Двадцать пять.

— У меня были два сына, такие же, как вы.

«Зачем он это?» — испуганно подумал Нефедов.

Полковник зло посмотрел на них, достал из кармана серебряный портсигар, щелкнув, выкатил папиросу и отошел к открытой двери.

Адмирал с трудом подбирал слова:

— У вас, у русских, главное в людях — характер. Мы, японцы, ценим исполнительность. Вы артиллерист?

— Я штурман.

— Мои сыновья были артиллеристами. Жаль, что вы не артиллерист.

Он взял из рук Нефедова стакан и жадно стал пить.

— Мои сыновья мечтали о пути воина... Сколько, вы сказали, вам лет?

— Двадцать пять.

— Вы были ровесниками. Мои пошли на флот в один день.

Вернулся полковник, с ненавистью посмотрел на адмирала, молча, неподвижно сел в углу.

В сопровождении офицеров штаба вошел комбриг.

— Получены радиogramмы, — сказал он. — Гарнизоны Дальнего и Порт-Артура капитулировали. Передайте им: ждать и тянуть больше нечего, к ночи мы все должны подписать.

По заливу плыли зеленые острова. Взлетная бетонная полоса обрывалась в море стенкой. Ударяясь о бетон, всплескивали волны. Нефедов сидел, свесив ноги, и смотрел, как дозорный катер преследует джонку под соломенным парусом.

— В Японию захотели, — весело сказал боцман. — Поздно наладились. Как думаете, отстреливаться будут?

— Отстрелялись. Все, боцман, скоро и мы домой.

— А что вас на фрегат каждый день таскают? Переводчиков нет?

— Отравились. Корейцы из разведотдела. Четыре переводчика, пищевое отравление. Замучился я, боцман. Еле отпустили на час.

— Лейтенант, Нефедо-ов! — вдоль стенки бежал матрос. Он останавливался около каждого катера и кричал: — Нефедо-ов!

— Ну чего, чего орешь, салага? Вот он, Нефедов. — Боцман подозвал матроса. — Что случилось?

— Командир ваш, Рассоха, зовет. Вон в ту казарму. Быстро велел. Кого-то там задержали. Он сказал — срочно.

В казарме, посреди гимнастического зала, на полу, сидели, подвернув под себя ноги, десятка два молодых парней, все острижены наголо, все в расстегнутых летних комбинезонах, перед ними Рассоха мямлил в пальцах какую-то бумажку и разъяренно кричал. Он кричал то на армейского сержанта, то на стоящего тут же японца, тоже в летном комбинезоне и с повязкой поверх волос:

— Сказано было — построить и вести. И пускай разбираются. Мне-то что с ними делать? А этот тоже хорош, — Нефедову, — рисунками, видите ли, объясняется. На хрена мне его рисунки. Должен я его рисунки разгадывать?.. Понимаешь, приказано было: всех пленных отправить в лагерь. Приказано — выполняй. Нет, стали тянуть, опрашивать, дотянули — приехал комбриг, а этот, — он ткнул пальцем в японца, — ему бумажку. А в ней «сикрет». Видал, гусь! Тот и прикажи: задержать, разобраться, доложить. Сикрет, сикрет. — Он плюнул. — Допроси-ка его.

Японец, коверкая английские слова, начал что-то говорить. Он бормотал, не отрывая глаз от записки.

— Та-ак... — удивился Нефедов. — На школу самоубийц напали. Тут помещалась школа камикадзе. Он по-английски еще хуже меня.

— Наплевать мне на то, что они самоубийцы. Вот что, сержант, веди-ка их в лагерь, а этого, с повязкой, оставь. Он что, у них главный?

— Главный.

— Действуй. Значит, так: я иду к комбригу докладывать, а ты с ним поразговаривай. Только по делу, на посторонние темы не очень. А то любишь болтать.

— Как вас зовут? — спросил Нефедов.

— Ито.

За столом в кают-компании снова японцы. Несколько штабных офицеров томятся на диванах, те, кто успел побывать в городе, рассказывают: магазины, рестораны закрыты, интересного в городе ничего нет, вонь и жара.

— На аэродроме, — вполголоса говорит Нефедов, — есть красная казарма. Что там было, летное училище, да?

— Не знаю,— отвечает Кадзума. Ему сегодня лучше, слабость не так заметна, руки больше не дрожат. — Спросите полковника.

— Но их старший хорошо знает вас.

— Капитан ошибается. Я никогда не был там и не знаю, чему их обучали.

— Ну вот, вы знаете, что он капитан. За казармой лежит фанерная бомба с крыльями. В нее может залезть человек. Капитан Ито говорит, что при пробном полете бомбы присутствовали вы оба.

— Я мог забыть. Конечно, я забыл. Может, и было, не знаю.

— Там обучали самоубийц,— говорит Нефедов. — А полет кончился тем, что человек разбился. От курсантов этот факт скрыли.

— Если вы так хорошо все знаете, для чего вопросы? — спрашивает вдруг на чистом английском языке полковник. — Там была школа камикадзе, капитан Ито будет наказан за разглашение тайны.

Они остаются с адмиралом в салоне вдвоем: комбрига нет — штабники увезли полковника на радиоузел говорить с Токио. Про него командир бригады сказал: «Старая лиса. Боюсь, он знает не только английский, но еще и русский. Тянет. Впрочем, японцев можно понять: шутка ли, целую армию сдают в плен. Если что не так, им обоим конец. Впрочем, пускай потянут, пускай. Завтра с севера подойдут наши... А знаете, Нефедов, адмирал только что прилетел из Токио. Был в составе императорской комиссии. Что-то связанное с атомной бомбой... Пока время у вас есть, попробуйте порасспросить. Терять ему теперь нечего».

Он долго ничего не хотел мне говорить. Желтолицый, старый, озлобленный, больной человек.

— Я прошел весь город насквозь, прежде чем нашел свой дом. Вернее, то, что от него осталось,— наконец сказал он. — Дом сперва развалился, а потом сгорел. А сад накрыл оползень... Когда я пришел, там работали санитары... Они дышали через белые марлевые маски... «Мы откопали тут три тела,— сказали они. — Две женщины и мальчик. Вы их ищите?» Я искал только одну женщину... Их старший отвел меня ко рву, куда они складывали тела... «Вы не найдете здесь ничего,— сказал он. — Теперь это уголь». Что делала императорская комиссия? Мы осматривали город. А потом пришло распоряжение: взять пробы земли и возвращаться... Два ящика с пробами. Когда мы прилетели в Токио, они ока-

зались никому не нужными... Уже была подписана капитуляция. Ученые, которым мы везли пробы, разбежались... На том же самолете я прилетел сюда... Лучше бы мне навсегда остаться там, в городе.

— Вы сказали, на том же самолете. Значит, и ящики здесь?

— Да. Но в них пепел. Просто пепел.

Взяв вооруженных матросов, мы отправились в глубь аэродрома. На самом краю летного поля стояли с железными гофрированными крышами склады. Мне пришлось долго объяснять начальнику караула, зачем я привел японца. Появился его командир — майор в выцветшей рубаше с полевыми зелеными погонами.

— Где они, эти ящики?

Кадзума показал на крайнюю дверь. В полутьме на стеллажах стояли поблескивающие, жирные от масла моторы. Около двух деревянных с веревочными ручками ящиков, лежавших на цементном полу, Кадзума остановился. Ящики были узкие, в рост человека. Солдат ломиком стал сбивать крышки. Показалось что-то серое. Я невольно вздрогнул, Кадзума присел на корточки. То, что очутилось в моей ладони, действительно не было землей. Горький тревожный запах... Когда я вытер руки о штаны, ладони остались белыми.

— Мы брали золу прямо на улице, на том месте, где произошел взрыв.

Я лизнул ладонь, на ней проступила темная влажная дорожка, по языку распространилась горечь.

— Я дышал этой пылью сутки. Может быть, она действительно нужна, но теперь это уже не имеет никакого значения. Вся Япония превращена в пыль.

Кадзума направился к выходу.

Мы вернулись на фрегат. В тот же день был подписан акт о капитуляции. Ночью, ложась спать, я наклонился над умывальником, чтобы отмыть ладони. Этот пепел я носил на коже весь день.

Корейцы стояли по сторонам улицы, недоверчиво, хмуро всматриваясь: вели пленных японцев, их вывели из казарм, собрали на островах, им приказали спуститься с окружающих город сопки. Пленные брели, шагая вразнобой, угрюмо глядя по сторонам. Город недобро молчал.

У ворот порта Нефедов встретил колонну с аэродрома: кители, летные комбинезоны, рабочие куртки. Каждый нес вещевой мешок, впереди шагали, зло покрикивая, японские капралы. И вдруг тревожно закричал конвойный, из строя к Нефедову вырвался человек.

— Стой! Стой!

Ито вцепился в руку.

— Не торопись, говори медленнее, я тебя не понимаю... Ничего, ничего, я пойду вместе с ним. — Нефедов пристроился рядом.

Улица ждала, колонна, громокая котелками и распространяя запах ремней и пота, продолжала брести.

— Нас не расстреляют, нет? Куда нас ведут? Я боюсь. Что с нами сделают?

— Погоди, сейчас узнаю.

Шагах в десяти впереди шел офицер.

— В лагерь их отправляют. Где лагерь? Откуда я знаю. Ведем на станцию — подгонят эшелон. Тебе-то что? Ты откуда такой взялся? Давай, лейтенант, отсюда! Что такое конвой, знаешь? Убьют, и ни с кого не спросить...

Нефедов вернулся к Ито.

— Не бойся, война для тебя кончилась, — сказал он.

— Может, меня можно оставить? Может, я успею написать письмо Юкки? Это очень важно: пусть она ждет и пускай никуда не уезжает от матери. Главное, чтобы они не ссорились. Как вы думаете, письмо — я успею?

Но неожиданно, разом закричали конвойные, колонна изогнулась и повернула на привокзальную площадь. Нефедова оттеснили.

Когда он выбрался из толпы, кто-то положил ему руку на плечо. Это был Рассоха.

— Ты бы поосторожнее, — сказал он. — Думаешь, я один видел? Тут глаз и ушей хватает. Сволочь всякая... Потом попробуй докажи.

— Это же тот летчик, из школы, помнишь, я про него говорил — самоубийцы.

— Все мы самоубийцы. Ладно, пошли. Бензин я уже принял. Скомандовать могут каждый час.

Они ушли в полдень. Позади остался белый, в мареве дрожащий город, толпы корейцев с красными флагами на причалах. Утонули острова, отступил гористый берег, когтистые, вытянутые по ветру облачка неслись в вышине. Идущие с юга волны становились все тяжелее. Катера заливало. Огромный воздуховорот, гигантская

воронка, в которую со свистом и ревом втягивался воздух,— тайфун с каждым часом усиливался, ветер стал ощутим, он сек лицо, белые слепящие струи летели через нос катера и накрывали мостик. Переваливаясь с одной водяной горы на другую, катера пробивались на север. Там, за корейскими портами,— Владивосток, бухта Гомера, причалы, у которых можно поставить истрепанные, израненные катера, там теплые казармы и Корабль, где можно наконец упасть без сил на койку.

— С утра радио стало предупреждать нас о том, что ожидается выступление императора. И ровно в полдень, с опозданием на одну минуту, когда вся страна замерла, когда остановилось движение на улицах и только в небе раздавался рокот американских истребителей, в радиоприемниках послышался глуховатый тихий голос. Это был он! С чувством покорности слушали мы того, чей голос за все долгие годы не могли слышать, слушали без гнева и без ненависти, потому что это был конец, потому что это была сама смерть.

Мы стояли, опустив головы, женщины плакали, рядом с ними стояли испуганные дети. Император говорил на придворном диалекте, непривычном для нас, но мы понимали его. Он говорил об атомных бомбах, которые были сброшены. Он сказал, что их применение угрожает будущему человечества. Это было нам не очень понятно. Во время его речи мой брат был в Нагасаки, на самой окраине города, где сохранилось несколько зданий. Они слушали императора, а над городом кружились американские самолеты. Им нужно было знать, чем стал этот город спустя несколько дней... Я думаю, если бы они могли взять кровь у людей, они поднимали бы их за волосы в кабины самолетов и брали бы у них кровь. Им нужно было знать, что сделалось с нашей кровью после взрыва...

Выслушав речь императора о капитуляции, адмирал Матоме Угаки приказал приготовить свой самолет. Начальник штаба спросил у летчиков: согласны ли они провожать адмирала и умереть вместе с ним?

Это было на аэродроме Оита. Одиннадцать машин, двадцать два летчика, поднялись в воздух и легли курсом на Окинаву. Через два часа, в 7 часов 24 минуты,

радиостанция Оиты приняла голос Игаки: «Я проклинаю нашу неспособность защитить Родину и уничтожить врага. Высоко ценю усилия всех моих офицеров...» Потом раздался треск и удалось расслышать: «...самолет тонет».

— Никто не видел их,— сказал Нефедову американец. — Они не долетели до Окинавы. Они заблудились. Лететь два часа над океаном, имея перед собой только паршивый авиационный компас... Израсходовали бензин и по одному садились на воду. Истребитель держится на плаву примерно четверть часа...

Адмирал Ониши прослушал речь императора у себя в штабе. Прежде чем покончить с собой, он отправил с офицером-порученцем два письма. В письме летчикам своей части адмирал написал: «Не забывайте, что вы — японцы. Вы — самое ценное, что есть у нации. С воодушевлением, обычным для отряда камикадзе, трудитесь на благо Японии и мира во всем мире».

(Нефедов пишет, что трижды перепроверил перевод. Письмо было напечатано во всех газетах. Что касается слов о мире во всем мире, то, видно, они давно уже стали расхожей монетой.)

Послание адмирала жене заканчивалось так:

Мне легче,
Я чувствую себя, как светлая луна
После окончания бури.

(Очевидно, для образованного японца сочинение стихов было ритуалом. Таким же, как самоубийство. Самоубийством в дни капитуляции кончили тысячи человек.)

22 августа 1945 года десять юношей из группы, которая называла себя «Группа спасения империи и уничтожения иноземных захватчиков», захватили холм Атаго. Шел дождь. Толпа под черными зонтиками молча наблюдала. Юноши связались одной веревкой, пропели национальный гимн и, достав пять гранат, сорвали с них предохранители.

На теле старшего нашли записку:

Напрасно цикадовый дождь
Идет на побежденные холмы и ручьи...

А вот история, которая встречается во всех книгах о конце второй мировой войны.

После того как была сброшена бомба и ветер унес на север дым от ее взрыва, у берегов Японии был сбит американский самолет. Лейтенанта Маркуса Мак Дилда подняло из воды японское сторожевое судно. Его не отвезли в лагерь для пленных летчиков под Фукуока, а тут же, в порту, повели на допрос.

— Что за бомба сброшена на город?

— Атомная. — Лейтенант уже слышал выступление президента.

— Как она устроена?

— Откуда я могу знать?

Его начали бить. Били до тех пор, пока окровавленный летчик не прошептал, что солгал и знает устройство нового оружия.

— Длина бомбы двенадцать метров... — начал он.

— Дальше!

— Внутри у нее свинцовая перегородка...

— Дальше!

Каждое его слово записывалось.

Лейтенант о строении атома имел самое смутное представление.

— При расщеплении атомов освобождается много плюсов и минусов. Плюсы помещены в одну половину бомбы, минусы — во вторую. — Он врал не задумываясь. — При взрыве плюсы и минусы, соединяясь, уничтожают друг друга. Возникает пустота. Она схлопывается. Воздух с такой силой устремляется внутрь, что разрушает все кругом, а ударение частиц рождает молнию...

Те, кто допрашивал его, потрясенные гибелью двух городов, готовы были верить чему угодно. Специальным самолетом Маркуса Мак Дилда доставили в Токио. Десятого августа он был введен в комнату, где за столиком сидел печальный пожилой человек в кимоно чайного цвета. Их оставили вдвоем.

— Рассказывайте.

Мак Дилд повторил свою ложь слово в слово.

— Я физик. Я учился в Соединенных Штатах пять лет, — сказал его собеседник и вызвал охрану. — Уведите!

Но Мак Дилда не успели казнить. Его отправили в лагерь на другой стороне Токийской бухты. Тринадцатого августа туда к причалу подошел десантный корабль под звездно-полосатым флагом. Спрыгнувший на берег

полковник сбил пистолетом замок и ногой распахнул ворота. Около ограды стоял, ухватившись руками за колючую проволоку, человек в форме летчика и плакал. Это был Мак Дилд. Он спасся от смерти трижды: когда был вытащен из воды, когда ему не отрубили голову после первого допроса и в Токио, когда раскрылась его ложь. Но он не знал, что спасся и четвертый раз — его не отправили в Фукуока. Там, выслушав речь императора, охрана лагеря погрузила пленных на грузовики и вывезла их за город. В роще летчикам завязали глаза, а руки прихватили ремнями к туловищу. Их ставили на колени и по очереди рубили головы. Почему-то при этом присутствовала женщина. Весь мир обошла фотография: на коленях стоит темноволосый курчавый пожилой летчик, на глазах у него прямоугольная повязка, коротконогий офицер в очках и белой рубашке уже занес меч... Фукуока — это частокол труб, черные и желтые дымы, но вырвавшись отсюда и отъехав по дороге, ускользнув из-под сажевого черного облака, снова видишь горы, водопад, кусты, зеленую траву, вспененные мелкие речки и зеркальные, отражающие ясное небо озера...

— Вот тогда-то он все ему и сказал. Я тихонько за занавеской сидела, отвела пальцем уголок и все-все вижу: пьяный он, пьяный, лезет к Нефедову, граблями за стол цепляется... В избе, кроме них, никого не было: мужики мои на мойву ушли. Меня он, видно, не заметил, а я еще подумала: «Откуда у него спирт? В избе не спрячешь. Должно, хоронил где-то в тундре». Сидит, еле языком ворочает. Про начальника какого-то говорил: мол, ты у него в любимчиках ходил, он тебя и в эту — в Японию — послал. И все валится, щетиной своей ему в лицо тычет: «Орден в Корее понахватали!.. Начальник твой далеко рассчитывал, с англичанами еще на севере связался... Он, говорят, ихний язык знал». Нефедов ему: «Да не знал, отвяжись ты!» — «Как не знал? Царские офицеры все знали...»

Дальше у них разговор пошел про артель. Мол, чего тебе стоит — напиши, как тут деньгу незаконно делают. Хочешь, объясню? Нефедов: «Что ты несешь, при чем тут — напиши? Замолчи, говорит, а не то я тебе!» А тот: «Не ударишь, слаб. Тебя уже тут поняли. Ты здешних людей не знаешь...» Я слушаю, лежу, лишь бы обошлось, думаю. А наш-то: «Я тебе больше ничего не скажу, интеллигент паршивый. Я против тебя ноль, а

всегда лучше тебя жил... А что я теперь здесь, так это случай... Баба моя, когда ее вызвали, лишнего наболтала. Сама потом ревела: если демобилизуют, с двумя детьми ей куда?.. Так с двумя и осталась. Ночью встал, одеялко на дочке поправил — и нет меня... Не будет языком трепать». Так он Нефедову и сказал... И еще говорил: «Вот мы с тобой сейчас друг против друга сидим, а я осенью деньги получу — и ищи меня... Все тебе рассказываю, потому что не боюсь — не сообщишь. Тебе и пойти сообщить некуда. И совесть не позволит... А я, в случае чего, и про тебя знаю».

Тут Нефедов его нехорошим словом назвал, тот с кулаками. Сейчас, думаю, до ножей дело дойдет. Высунулась да как шугану: «Совести нет, нажрался и распустил язык. Еще раз нажрешься, бригадиру скажу. Иди, иди, чтоб я тебя не видела!»

Вот ведь какой подлый!

Нефедов лежал лицом кверху. В голове молотком: «Ах, какая сволочь, что наговорил, еще угрожать вздумал! От таких, как он, люди и гибнут». В летке над головой запело. «Как теперь жить? Зачем он мне все это рассказал? Как это могло случиться?» Путается, путается все. По избе бродят солнечные мухи, лазают по струганому потолку, расплылся потолок, водою зарябил, пропал...

Подбросила с лежанки тревога: бился, метался у подволока сигнальный жестяной колокол. Вскикивали, бросались к дверям охотники, через окно уже видно: мчатся, надевая на бегу ватники, высоко держа ружья, скатываются вниз по лестнице. В бухте — дори, за кормой мечется, стреляет голубой дымок.

Нефедов впрыгнул в сапоги, бегом вниз, едва успел в последний карбас. Впереди вспыхивают и исчезают белые точки — идет стая. Дори откатилась от берега, карбасы, волоча за собой мелкие беспокойные волны, по одному перебежали к тоне, выстроились полукругом. Стая приближалась, дори зашла мористее, белухи заволновались: желтые спины то и дело показывались из воды, то грудились, то расходились. Не понимая, откуда грозит беда, звери заматались. Проход под берегом, казалось, уводил от опасности — стая повернула туда. Одиночный карбас, который таился около перекрышного невода, сорвался с места. Стреляя в воздух, пугая зверей,

замкнули сеть... Огорожены, заперты!.. Дельфины погружались, натывались друг на друга, всплывали, судорожно, со свистом хватали воздух. «Как люди за проволокой!»

Теперь карбасы лениво покачивались у сети. Охотники перекуривали, перекладывали из железных ящиков в карманы ватников патроны.

Коткин затаился в последний раз, выбросил окуроч. — Начнем?

И сразу же над ухом у Нефедова ударил выстрел. Пуля, отскочив от воды, запела и унеслась... Второй, третий... Били навскидку. Над вспененной водой показалась белая голова с птичьим клювом. Удар — и животное, выкинув фонтан крови, легло на бок. Нефедов, дрожа, поднял фотоаппарат — в видоискателе красным пятном чья-то морда, кто-то тычет кривым пальцем: «Вон! Вон!» Рядом второй — рот разодран, глаз прищурен, у щеки приклад. Трах! Синий дым, вода взбаламучена, в ней носятся белые тела... Гладкий белуший бок, от него алая лента, вторая внахлест. Еще лента, еще... Красные змеи. Над ухом рвется железо. И снова лица охотников: «Вон, вон — всплыл! Да не в того, не в того!» Белые туши в красной воде, белые длинные пятна.

От тони за сеть, вдоль берега, уже тянулось длинное бурое облако — кровь зверей, смешиваясь с соленой водой, уходила в океан.

Выстрелы стали реже... Наступила тишина.

Нефедов вылез из карбаса на берег и, цепляясь за перила, начал подниматься по лестнице. Ноги не слушались, его мутило. Добравшись до цепи, к которой была прикована свора, упал и не заметил, как подошел и устался прямо в лицо налитыми кровью глазами подрагивающий от нетерпения щеками пес.

Задремезжали ступени: снизу кто-то поднимался. Нефедов приоткрыл глаза. Над ним вырос бригадир. Он постоял, откашлялся и негромко сказал:

— Предупреждаю. Я вам пленку, что в аппарате, засвечу. Мы вас не звали. Наша работа — наши деньги. Надо убивать — убиваем. У вас своя жизнь, у нас — своя. Так что не рассчитывайте.

В тот день, как рассказывают, было все так же. Стаю заметили около полудня, загнали в тоню, бригадир распорядился — стрелять. Нефедов стоял на корме.

Карбасы обычно ставят в линию, чтобы стрелять без помех, а тут линия не получилась: кто стоял ближе, кто дальше. Ударили выстрелы. Кто-то сказал: «Гляди — две всплывают, я — в правую!» Но кто это сказал и почему в протоколах появилась эта фраза, понять нельзя. Нефедов вдруг осел, прижал ладонь к груди, поднял — вся в крови — и опустился на скамью. Сперва никто даже не понял, в чем дело. Пуля попала под лопатку. Стреляли в спину... Дальше, известное дело, — мокряк. Приехал прокурор. Впрочем, легко сказать «приехал»: пока передали по рациям, пока дошло до Мезени. В общем, две недели. Ну, допросил он всех. Судили одного бригадира — за плохую организацию отстрела. Дали два года условно. Выстрел признали случайным. А похоронили его выше избы, сбоку от креста. Там такой громаднейший крест стоит, рядом полоса вечного снега — снежник. Женщина отдала мне все его вещи. Вернувшись в Ленинград, я сразу же пошел и проявил его пленки. Та, где он снимал охоту, оказалась засвеченной. Это она мне сказала — одну пленку он надписал и держал отдельно. Так вот та самая... Что еще сказать? Охоту на белух запретили... Вы спрашиваете, почему так случилось? Странная смерть. В артели у него не было ни друзей, ни знакомых. Разговаривал он только с женщиной. Столкновений особых тоже не было, был один какой-то разговор, но верить этой рыбачке особенно нельзя. Прокурор ничего не нашел. Да, да, это я говорю — прокурор, потому что они его так называли, может быть, это был следователь. Материалы суда... В них — ноль... Он часто говорил, что умрет от какой-то болезни. Он вообще был мнительный...

Я просил Рассоху съездить на Канин, потому что был уверен: Нефедов возит повсюду с собой свои записи, помнит все, что говорили ему японцы, и все, чему свидетелем стал в Корее. Это я послал Нефедова в Йокогаму, когда мы возвращали американцам часть кораблей. Он не мог не записать то, что услышал в Кириидзуми. И в этом я оказался прав: вот она, пачка тонких листков, покрытых неровными строчками... Но он обманул мои надежды: одни обрывки, взволнованные, перебивающие друг друга голоса, неверная чужая память... Завтра Рассоха уезжает в Севастополь, чтобы оттуда на траулере уйти к Кергелену, к острову, где в ме-

сяц двадцать штормовых дней, где не растут деревья, а температура не поднимается выше плюс десяти по Цельсию. Он уйдет помощником капитана и начнет свою жизнь заново, как начал когда-то ее я. Закрыв глаза, вижу: наш миноносец под красным флагом, расталкивая бортами тонкие льдины, входит в гавань Кронштадта... Проводив Рассоху, я сяду на троллейбус и вернусь на Васильевский остров, чтобы ровно в четырнадцать часов войти в аудиторию и, став около черной доски, попросить дежурного остро заточить мел. Запишу на доске условия задачи и начну медленно расхаживать между столами, заглядывая в курсантские тетради и выговаривая тем, кто не подчеркивает единицы и не перекрещивает цифру семь...

В портфеле у меня будет лежать пачка смятых листов: Кириидзуми...

Свой велосипед ками-шабан остановил около решетки городского сквера у моста. Остановив велосипед, он призывно крикнул. Первыми прибежали, как всегда, Норико и Канэ. Ками-шабан снял с багажника пестро раскрашенный ящик и прикрепил его поверх руля, затем взял подвешенную под рамой сумку, достал из нее пачку картинок, изображающих историю Момотаро, — мальчика из персика, победившего людоедов и вернувшегося к своим приемным родителям на корабле, полном сокровищ.

Достав их, он вставил картинки в ящик, и дети, уставшие от войны, увидели за передней стеклянной стенкой берег реки, согбенную старуху и плавающий у самого берега розово-желтый плод.

— Смотрите, летит самолет!

Ками-шабан не торопясь вытащил картинки из ящика, взял велосипед за руль и повел его, как ведут за рога послушную корову. Дети пошли за ним следом. Самолет летел высоко и казался голубой стрекозой. Белые облачка в небе висели неподвижно, их было мало, и стал заметен летчик, который выбросился с парашютом и начал медленно приближаться к земле.

Мальчишки побежали к тому месту, где он должен был сесть, а Норико и Канэ отошли к парапету на мост. Там они прислонились к каменной стенке и подняли лица, чтобы видеть, как будет опускаться летчик.

Они стояли так, что их тени падали на камень.

Две тени на каменном парапете моста можно видеть и сейчас, они охраняются, и подход к ним закрыт решеткой.

То, что ему лучше всего быть, когда он вырастет, борцом, Исигуро понял рано: в четырнадцать лет он весил восемьдесят килограммов и мог шутя вытолкнуть из круга взрослого. Боролись обнаженными, в легких поясах фундоси. Исигуро уже тогда начал отращивать волосы, чтобы перед выходом на помост собирать их узлом на макушке. Ему нравилось долгое, неторопливое вступление, которое предшествовало борьбе. Учиться он не любил. В школе, особенно на уроках арифметики, смотрел то на стену, то в окно, прислушиваясь, скоро ли прозвенит тонкий медный колокольчик, с которым в конце каждого урока отправлялся по коридорам сторож. И родители его не имели ничего против, чтобы сын стал борцом. В восемнадцать лет он одержал победу над приезжим борцом из Киото, который не решался уже выступать в больших городах и вместе с группой таких же сошедших с большого ринга, как он, объезжал маленькие городишки, не гнушаясь даже выступлениями в деревнях. Судья в средневековом костюме, жестикулируя веером, прыгал около них. Исигуро пытался плотно упереться плечом в тело соперника или ухватить его за руку, тот вырывался, дряблое жирное тело выскальзывало из пальцев, один раз противник поскользнулся было, едва не коснулся помоста рукой. Исигуро радостно выдохнул, но борец удержался, отдернул руку. Тогда Исигуро сделал шаг назад, бросился и изо всех сил толкнул противника грудью. Тот зашатался и, не удержавшись, стал ступней на двойную линию, которая очерчивает на помосте место схватки. Судья тотчас подскочил к ним, взмахнул веером, делая знак, что схватка окончена. Ошеломленный приезжий стоял покачиваясь, дряблые мышцы на его груди жалко тряслись. Исигуро показалось даже, что в его воспаленных красных глазах блещут слезы.

И вот теперь Исигуро сам сидит на камне в переулке около дома, вспоминая. Неужели это было так давно? Кажется, еще вчера... После той победы он уезжает, примыкает к бродячей группе борцов. Как легко носил он свой чудовищный вес! Как легко выигрывал схватки! Пронеслось, все пронеслось, промелькнуло, как проносится под мостом после ливня вырванный с корнями куст хираги. Прошел какой-то десяток лет, и ему

самому пришлось осторожно выбирать противников и избегать больших городов, где так много появилось перед войной молодых, сильных, толстых парней с наглыми самоуверенными глазами и блестящими жирными волосами. Сразу же после начала войны его призвали было в армию, даже определили на хорошую должность — в продовольственный склад, но врачи нашли болезнь сердца (Исигуро и сам не раз замечал, как тяжело даются ему маленькие горки и крутые лестницы), болезнь быстро развивалась, его отпустили из армии. А может быть, это все возраст?

Исигуро часто вспоминал склад, сырую тишину, смутно белеющую грудку ящиков и мешков, острый запах лежалой сои, шорох, с которым бродят между мешками серые длиннохвостые крысы.

Охо-хо! Как бы там ни было, в армии сытно, а теперь? Он с утра должен думать, как заработать на обед. Выступления борцов не проводят, некому устраивать и некому смотреть их. Когда конец этой непонятной войны?..

Переулок был узок, по нему никогда не проезжали автомобили, только сновали молчаливые разносчики с тележками, шелестело белье, вывешенное на веревках, натянутых вдоль улицы женщинами, которые даже в эти голодные дни помнили: лучшая хозяйка та, у которой перед домом висит больше белья.

Улочка вдалеке выходила на широкий проспект. Люди там, их Исигуро хорошо видел, вдруг начали останавливаться и, запрокинув головы, разглядывать что-то в небе. Несколько человек побежали прочь. «Должно быть, самолеты», — равнодушно подумал Исигуро. Его мучило от голода, он встал с камня, сделал несколько шагов, шумно набрал воздуха и в тот же момент увидел над головой голубой крестик...

Белый снизу и почерневший сверху от пламени камень отвезен в карьер — место захоронения камней пораженного излучением города.

Яно Гоити выписали из больницы без его согласия, но и родственников у него не было, поэтому больничная машина отвезла старика и высадила у порога его дома. Шаркая растоптанными ногами и держась рукой за фанерную перегородку, он мучительно долго брел к себе. Дверь оказалась не закрыта, он вошел и, опустившись

на циновку, долго приходил в себя. Воздух из груди вырывался хрипло, со свистом, левая рука онемела. Он стал шарить на поясе, нашел вшитый в матерчатую ленту мягкий засаленный кошелек, открыл его, помусолил бумажный комок, отделил от него несколько нен и стал ждать, когда за перегородкой послышатся шаги и мимо двери пройдет соседка.

— Мицуко-сан,— слабым голосом окликнул он.

Шаги прекратились, скрипнула и поехала в сторону дверь, в проеме показалось побитое оспой доброе лицо.

— Вы вернулись, вы теперь лучше выглядите,— сказала женщина. — Могу я что-нибудь сделать для вас? Я иду в лавку, у меня есть карточка сестры, купить вам немного мизо?

— Не хочу,— сказал старик. — Не пойму, почему они отправили меня домой. — Он затряс головой, словно споря с врачом. — Не надо мне мизо. Я думал, что больше уже не выйду оттуда.

— В нашей больнице так никогда бы не поступили,— сказала Мицуко.

— У вас частная больница. Если уплачены деньги, у вас можно лежать до самой смерти... Когда они выбрасывали меня, они что-то говорили про капельницу.

Женщина смутилась.

— Теперь у нас очень строго. Правда, я хожу, ставлю капельницы некоторым пациентам дома... — Она замолчала, не зная, как объяснить старику, что это стоит денег.

— Вот,— сказал он и протянул ладонь, на которой лежало несколько смятых бумажек. — Я заплачу.

— Ну, разве что так. — Мицуко вздохнула. — Все-таки я принесу вам чашечку мизо и стакан воды. И возьму деньги. Думаю, если попросить, мне разрешат взять домой капельницу на неделю. Я дежурю в больнице вечером.

Ночь он спал плохо: сон рвался на куски, куски наползали один на другой. Старик вздрагивал, просыпался, тоскливо смотрел над собой в серый потолок, на котором шевелились отсветы уличных фонарей, и что-то шептал. Рано утром пришла Мицуко, ловко повесила на стену капельницу, обмотала руку старика резиновым жгутом, попросила поработать пальцами, протерла кожу спиртом и ловко всадила чуть ниже сгиба руки в голубую вздутую вену острую иглу.

— Не беспокойтесь, мне сегодня дежурить с середины дня. Я успею и убрать капельницу, и принести вам что-нибудь на ужин.

Старик лежал, откинув голову, под локтем — дощечка, резиновая трубка касается руки, убегает вверх к стене, на которой повешен прозрачный зеленоватый сосуд, в нем неторопливо зреют и взлетают вверх пузырьки, уровень жидкости опускается совсем незаметно, но старику и это движение кажется стремительным, он всем телом ощущает, как, пронзая сосуды, наливая тяжестью кисти рук и ступни ног, из груди, из живота уходит что-то, может быть, жидкость, заполнявшая раньше все тело, о существовании которой он никогда и не подозревал, уходит и вместо нее остается холодная пустота. Левая рука совсем перестала слушаться, он попробовал пошевелить пальцами правой и уже безразлично почувствовал, что и она перестает действовать. Острая боль начала подниматься откуда-то снизу. Зазвенело, комната наклонилась, он широко раскрыл рот и судорожно, роняя из углов рта слюну, вдохнул неподатливый, забивающий песком горло и легкие воздух. Резиновая трубка дернулась — стеклянный сосуд сорвался со стены и, звеня, покатился по жесткой циновке.

Спасательной командой, которая работала через полмесяца после пожара, в пепле была найдена стальная игла для внутривенного вливания.

Полицейский Ясано Кидай заглянул под мост и увидел спящего под кучей тряпок мужчину. Рука спящего была повернута ладонью вниз, выше запястья началась татуировка — дракон, перерубленный пополам розовым шрамом. Дезертир, которого уже месяц как разыскивают за двойное убийство!

Кидай оглянулся. Из-за угла должен был вот-вот подоспеть патруль. Он обогнал этих лентяев, когда они остановились поболтать с военными. В городе неспокойно: по ночам раздаются выстрелы, грабят квартиры, редкое прибытие транспорта с ранеными не кончается дракой. Да, днем еще город как город, а вот ночью... Он повел плечами — если патруль не придет, а бродяга проснется и вылезет из-под моста... Кидай был высок, мясистый нос, тяжелый подбородок, в школе милиции он был чемпионом по боксу. В сорок три года еще холост, живет

в общежитии, любит в свободную минуту поиграть в рендзю, но играет по упрощенным правилам, отчего никто из настоящих игроков никогда не садится с ним. Кидаи любил поесть и, отправляясь на ночное дежурство, всегда брал с собой рисовую лепешку, в которую заворачивал кусок соленой рыбы. Пакет он, придя к месту дежурства, прятал где-нибудь в укромном месте и, когда наступала полночь и становилось совсем уже невмogu, доставал его и жадно ел. Патруль не появлялся, и Кидаи направился к спящему. Куча тряпок зашевелилась, распалась, из нее выскочил и сразу же упал на колени щуплый босой человечек в рваной залатанной куртке. Не сводя глаз с Кидаи, он как ящерица юркнул под мост, но в это время из-за угла на набережную уже вышел патруль. Ясано Кидаи засвистел.

Окружили мост, и тогда Кидаи, спустившись к воде, крикнул в полутьму, ящикам и зловонным кучам старого тряпья:

— Можешь выходить, нас пятеро. Не хочешь? Тогда я иду к тебе.

Некоторое время под мостом было тихо. Потом раздались слабые голоса. Невидимые люди, плача, уговаривали кого-то. Наконец с грохотом перевернулась и упала картонная коробка и из-за нее на свет, мелко семена и затравленно вертя головой, вышел человек, которого ждал Кидаи.

— А ну, отверни рукав,— сказал старший патруля.— Он. Татуировка его. И шрам. Тебе не повезло с нами.

Задержанный не ответил.

Старший достал из кармана наручники, защелкнул один браслет на руке дезертира, а второй, звякнув цепочкой, протянул Кидаи.

— Отведешь в участок. Твоя смена, все равно тебе же идти туда. В случае чего можешь разбить его голову о мостовую.

Полицейские засмеялись, Кидаи хмыкнул и потянул бродягу за собой.

Они отошли от моста всего шагов на десять, когда раздались крики. Ни Кидаи, ни преступник не подняли голов и не стали рассматривать, что делается там, в небе. Человеку, который убил двоих, было не до того, а Кидаи торопился.

Под слоем пепла и камней, которыми завалена улица, найдены наручники с костями двух соединенных рук.

Этого дня они ждали всю неделю. На остановке у афишной тумбы, где они обычно назначали по вечерам свидания, Синоко сказала:

— В понедельник мои уезжают в деревню. Автобусом, в четыре часа. Я помогу им отнести вещи и вернусь.

— Наконец-то. Я думал, они никогда не уедут. Что так долго? Давно пора убирать урожай.

— Какой ты нетерпеливый! — Синоко покраснела. Они встречались целый год, но никогда еще не оставались одни.

— Нетерпеливый... Меня могут забрать в армию каждый месяц. Уже взяли тех, кто старше на полгода.

— Война идет к концу. — Она сама испугалась того, что сказала, и оглянулась — не слышит ли кто. Но люди рядом с ними, вытягивая шеи, наблюдали за подходящим автобусом. Тот был велик, на бортах его с каждой стороны накрашены знаками катакана¹ лозунги.

Такеути, взяв Синоко со спины за локти, подтолкнул ее к краю тротуара. Поток вливающих в автобусную дверь людей разъединил их, но в автобусе они снова оказались вместе. Тогда он незаметно опустил руку, положил ей на бедро и погладил.

В город Такеути приехал с севера, с Хоккайдо. Зимой деревню всю заносило снегом, и для того, чтобы выбраться в лавку за керосином или за мукой, приходилось прокапывать в сугробах длинные извилистые ходы.

Война обошла эту часть острова стороной, редко над айнскими хижинами (на окраине деревни стояли лачуги бородатых айнов), над черными от сажи, увешанными керамическими дымовыми трубами домами крестьян пролетали самолеты. Тогда редко и не в такт начинали стрелять зенитки. Потом батарею куда-то увезли — говорили, на юг, защищать столицу, — и самолеты стали летать совсем неторопливо, хищно рассматривая под собой землю.

В сорок четвертом Такеути бросил школу, уехал на Хонсю, поступил на жестяную фабрику, где делали металлические фляги для солдат, котелки и корпуса противопехотных мин. Там же работала Синоко. Случилось

¹ Катакана (яп.) — один из видов японского письма.

так, что им надо было ездить из одного и того же района, и приглянулись они друг другу в автобусе.

Ночь на понедельник он уже не спал, вертелся на жесткой циновке, то и дело протягивал руку, поворачивал к слабому звездному свету будильник — на молочном циферблате угадывались две короткие черные стрелки. Когда стрелки сошлись на четырех, Такеути вскочил, сполоснул лицо во дворе из ковши холодной водой, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить хозяев, вышел на улицу. Над городом со стороны океана уже желтело. Побрел, поглядывая на небо и на улицу, где вот-вот должны были появиться первые трамваи.

К дому, где жила Синоко, он подошел, когда улицы уже запрудила толпа. Нарочито медленно прошел сначала мимо входной двери, дойдя до угла, повернул и, когда снова шел мимо, увидел: дверь приоткрыта. Осторожно, вздрагивая, поднялся на второй этаж, раздвижная дверь тотчас поползла в сторону.

— Закрой, скорее закрой! И тише...

Он проскользнул в щель. Они шумно выдохнули и, слабея, начали опускаться на циновку.

— Погоди,— прошептала она,— пояс...

Их пепел перемешался.

Кавасаки, на котором плавал с напарником Дайсабуро, подошел к базарному причалу, когда все места у стенки были уже заняты. Пришлось швартоваться к шхуне. Она покачивалась, скрипела, швартовый конец принял какой-то старик.

— Помоги-ка вытащить на стенку,— крикнул Дайсабуро инвалиду-напарнику, и тот стал вытаскивать из мелкого трюма на палубу корзины с блестящей маслянистой рыбой. Помогая друг другу, они взвалили корзины на плечи и перетаскивали их на берег, а затем к торговым рядам, что тянулись вдоль набережной. Около лотков расхаживали покупатели. Они жадно — рыбы привозили все меньше — рассматривали серебристые, сочащиеся кровью и слизью туши, продавцы переворачивали рыбы тела, изредка слышался удар — всплескивал, разбрызгивая сукровицу, хвост, по металлическим лоткам растекалась остро пахнущая коричневая жидкость, выпущенная кальмарами.

Дайсабуро занял место, вывалил рыбу на металлический лист, установил корзины под прилавком и начал

разделять улов на кучки. Тупомордые рыбы-собаки лежали, безжизненно распахнув маленькие круглые рты, раздутые, как шары, оттопырив короткие белые шипы. Дайсабуро всякий раз, глядя на этих рыб, испытывал беспокойство: поев мясо рыбы-собаки, умерла сестра. «Фугу» — так называлась эта еда, нарезанное кусочками мясо. В ресторанах до войны его готовили только повара, окончившие курсы «фугу». Рыбу привез в тот день отец, а готовила мать. Яд подействовал быстро. Сначала сестра пожаловалась, что у нее немеет рука, встала из-за стола, прилегла на полу в соседней комнате, затем позвала, но, когда мать вбежала к ней, глаза сестры уже остекленели. Каждый раз, когда в сети попадались рыбы-собаки, Дайсабуро давал себе слово выбросить их. Но рыбу брали. Вот и сейчас первая женщина, которая остановилась около него, показала пальцем на самую большую из собак. Она была похожа на черно-белый колючий шар. Женщина спросила цену, Дайсабуро хотел было назвать, но на базаре зашумели, и люди бросились бежать.

Он забежал за каменную стену пакгауза, увидел вход в подвал и нырнул в него. Грохот взрыва донесся глухо, потом стали падать стены, пакгауз затрещал, гряда кирпичей завалила вход...

Тело обнаружено спустя три месяца, когда расчищали груды кирпича и щебня, чтобы освободить подъезды к причалам.

Маримоту присел на четвереньки около деревянного ушата, развернул принесенное с собой в бумажке мыло и, зачерпнув лоскутом коричневой тряпки воду, принялся намыливать тело. За перегородкой, которая отделяла бассейн с горячей водой от площадки для мытья, раздавались плеск воды и невнятные возгласы. Прижимая к груди бамбуковую бадейку, пробежал мальчик, поскользнулся, размахивая бадейкой, проехал по каменному, в лужах и ручейках, полу. Маримоту неторопливо намылил грудь и шею и на минуту задумался: он жил теперь один,— жена умерла год назад, сын погиб в Китае при осеннем наступлении в провинции Дзянсу. Первое надгробие, которое он сделал для жены, оказалось неудачным: части, которые символизируют воздух, ветер, огонь, воду и землю, попали в плохое соотношение. Жена была скромной, неприятной и никогда не

покидала родного города, значит, ветер и огонь неоправданно большие и сама форма надгробия — выросший из могилы гриб — более уместна для мужчины. Уж он-то, мастер по надгробиям (изготавливает их уже тридцать лет), должен знать. «Надо не промахнуться, когда буду делать для себя,— подумал Маримоту. — Пока есть сила в руках, есть здоровье, рассчитывать не на кого. Охо-хо!..» Сполоснувшись, он прошел за перегородку и опустился в горячую воду бассейна. Вода парила, над гладкой маслянистой ее поверхностью торчали головы. Маримоту обдало жаром, в руках и ногах побежали пузырьки, он задохнулся, привстал, подождав, когда тело нагреется и уколы пройдут, снова опустился в воду по шею. Рядом кто-то затынул вполголоса песенку, в такт закачалась голова. Катился густой смрадный запах распаренных тел. Маримоту тяжело вздохнул и полуприкрыл глаза. Что же делать с надгробием? Собственно говоря, теперь надо думать сразу о двух, надо представить, как они будут стоять рядом на кладбище, дополняя друг друга. Он наконец понял, что форму надо искать сразу для двух каменных фигур вместе. Однако представить себе их не удавалось, жар от перегретой воды мешал, мысли плыли, разрывались, уходили прочь...

На дне сухого, выложенного кафелем бассейна найдены останки двенадцати человек.

Учитель Икку в этот день встал, как всегда, рано, убрал ватный матрас и ватное одеяло, под которым спал даже летом, ополоснул лицо, подождал, когда разносчик блюд из бара (над ним и была расположена квартира учителя) принесет завтрак — пшеничные макароны, сам заварил зеленый чай, сидя на толстой подушке, стал прихлебывать. Ожидался неприятный разговор с Аmano-сан, преподавателем, который так же, как и Икку, вел английский язык и который хотел взять освобождение от общественных работ (на них преподавателей посылали вместе с учениками). Икку тоже нужны были эти дни для написания статьи в «Учительский журнал». «Портовый город налагает определенные обязанности» — такой фразой хотел закончить Икку статью. В качестве примеров он задумал использовать фразы из лоции Внутреннего моря в своем переводе.

Разговор предстоял неприятный, Аmano-сан был че-

ловеком неуступчивым, родом из обедневшей дворянской семьи. Разговаривая с Икку, он всегда старался подчеркнуть разницу в их происхождении.

Выпив чай и сполоснув пальцы в чашке с водой, учитель взял лист бумаги, кисточку и начертал на листе несколько слов: ему хотелось, чтобы к тому времени, когда он сядет писать статью, уже были готовы несколько предложений, таких же лаконичных, отточенных и убедительных, как фраза о портовом городе.

Посмотрев на часы, он увидел — пора выходить, надел свежую рубашку, саржевый пиджак, подумал: в школе осталось так мало преподавателей и те все время заняты со школьниками на работах.

Выйдя на улицу, Икку стал на трамвайной остановке поджидать вагон. Тот появился, подрагивая на стыках, подкатил к островку, на котором сгрудились ожидающие, и, лязгнув, остановился. Стараясь не толкать друг друга, люди начали влезать. Стекол в вагоне нет, через открытые проемы окон видны стены домов с рекламами. Вагон вскарабкался по рельсам на пологий холм, вдалеке блеснуло, заискрилось — океан, причалы, около них неподвижные мачты пароходов и черные трубы без дымков. «Бояться выходить в море из-за подлодок», — подумал Икку, а вагон уже катился с холма, и над океаном, прежде чем его закрыли дома, взблеснуло стекло маяка. «On the elevation»¹, — привычно вспомнил Икку фразу из лоции.

После очередной остановки народу в вагоне еще прибавилось. Икку сжало со всех сторон, поднесло под штангу с висячими на кожаных ремнях ручками. Одна ручка была свободна. Икку ухватился за нее и замер, ощущая телом портфель, бедра и локти соседей. «Смотрите-ка, самолет!» — крикнул кто-то стоящий у окна, несколько человек высунули головы. «Американский самолет». — «Но тревоги-то не было». — «Самолет наш, иначе бы открыли огонь».

Остов трамвайного вагона. Среди обугленных тел найден замок от сгоревшего портфеля.

Мысль о том, что надо нарисовать продавца риса, лавочка которого находилась за углом, пришла в голову Идзумия неожиданно. Вспомнив небольшую голову

¹ «На возвышении» (англ.).

старика, морщинистое лицо со странными бороздками в углах рта, съежившийся, словно печеное яблоко, подбородок, маленькие прозрачные убегающие глаза, он как-то сразу оживился. Нет, действительно в старике что-то есть! Стоило посмотреть на него в ту минуту, когда он, не подозревая, что его разглядывают, думает о своем. Сразу становилось ясным: лицо-маска, но под одной маской скрыта другая. Какая? Это уже дело не художника, а зрителя, который будет рассматривать картину. Живописи Идзумия учился в Токио у самого Сарюкена. Учитель не сразу стал доверять богатому ученику тайны ремесла, особенно те, что касались изготовления блоков из вишневого дерева, с помощью которых печатаются копии картин. Однажды Идзумия, восхищенный листом (на ней была напечатана лодка у деревенского причала, причал — доска, лежащая на погруженных в воду козлах), спросил учителя, сколько блоков было им использовано, чтобы передать здесь мельчайшие полутени на воде. «Вероятно, десять?» — «В два раза больше», — грустно ответил учитель и вдруг спросил, что, на взгляд Идзумии, самое главное в картине? «Стебель тростника, сенсей¹», — ответил тот не задумываясь. Действительно, одинокий пожелтевший стебель, пересекая основание причала, вызывал ощущение осени и грусти. Сарюкен остался доволен, и с того дня стал больше внимания уделять работам Идзумии.

— Ты должен научиться писать так, как писали актеров Шуншо, красивых женщин Утамуро, ландшафты Хирошиге. Только тебе уже нельзя писать ни ландшафты, ни актеров, ни женщин, — сказал Сарюкен, и Идзумия понял, что надо искать самого себя.

Это оказалось труднее всего. Закончив обучение, он купил на деньги отца дом и начал работать. Однако дела его шли неважно: акварели продавались плохо, заказов почти не поступало, и он начал подрабатывать в газетах, рисуя иллюстрации к рассказам о подвигах армии в Южных морях и рекламные объявления. Он сам стыдился того, что делает. Было неловко: уже за тридцать, а отец по-прежнему присылает ежемесячно деньги, без которых пришлось бы продать дом, снять комнату, сменить газету на газетенку попроще и через несколько лет признаться, что художник из него не вышел.

Каждый год отец доставал ему освобождение от ар-

¹ Сенсей (яп.) — вежливое обращение.

мии, и это тоже угнетало — в разговорах со знакомыми приходилось лгать.

Отчего ему пришла мысль написать продавца, он и сам не мог сказать, но эта мысль, однажды запав в голову, уже не покидала его.

В то утро Идзумия поднялся, вышел в крошечный запущенный садик, который располагался с обратной стороны дома (надо бы привести его в порядок — заросли дорожки, пересох крошечный бассейн, в котором засорился водопровод). Вспомнил: вечером принесли повестку из призывного пункта (вызвав, его каждый раз отпускали), вернулся в дом, немного погода пришла служанка, сделала укол (он все время боялся чем-нибудь заболеть и оплатил ее обучение на курсах медицинских сестер). Дождавшись, когда лавки в городе откроются, вышел из дому.

Комэя¹ старого продавца риса была разделена перегородкой на два помещения: в передней стояли весы, на конторке лежали счета и пыльная книга для записи имен тех, кому комэя-сан когда-то давал рис в долг. В задней, более просторной, части лавки стояли золотистые мешки из толстой рисовой соломы. В них хранились неочищенные зерна.

— Я хотел бы купить немного риса, — сказал Идзумия, когда комэя-сан перестал ему кланяться. — Служанка заболела, и мне придется сделать это самому. Вот моя карточка, я куплю совсем мало, не обессудьте.

— Вчера не привезли ни одного куля, — ответил лавочник. — Не знаю, что будет дальше.

Они прошли за перегородку, и комэя-сан, взяв с полки длинный остроконечный инструмент наподобие стамески с желобком, осторожно воткнул его в золотистожелтый куль. Он вытащил стамеску, в желобке застряло несколько зерен, а рисовая солома, как только комэя-сан извлек свой инструмент, сама плотно закрыла отверстие.

— Прекрасный рис, сейчас такой редкость, — сказал Идзумия. Старик стоял вполоборота к двери, из двери на него плотным потоком падал свет. Оттого, что в этом потоке густо плавали золотистые пылинки, свет казался твердым на ощупь. «Он — подобие наклонной стеклянной колонны», — подумал Идзумия и пожалел, что никогда не учился передавать грубую вещьность воздуха и

¹ Комэя (яп.) — магазинчик со складом.

тяжесть солнечного света. Свет падал на лицо старика так, что на нем была видна каждая морщинка, совокупный рисунок их открывал то, что так тщательно скрывал старик: он был не тем, кем старался казаться, у него было загадочное прошлое, и на это прошлое он, Идзумия, должен был намекнуть в рисунке. Надо было скорее донести до листа бумаги это выражение, эти морщины и этот безразличный поворот головы. Он взял пакетик с рисом и быстро вышел на улицу. Дойдя до дома, бросил на низенький стол бумажный хрустящий плотный лист, обмакнул кисточку в одну из чашечек с водой и занес руку для того, чтобы одним взмахом нанести профиль старика. Война не интересовала его. Он мало о ней думал.

В пепле найдены шприц, десять разбитых ампул и десять фарфоровых чашечек, которыми пользуются художники, работающие акварелью.

Индзя Танимото первый раз был арестован за мелкую кражу и отсидел всего два года, второй раз его судили за участие в ограблении — четыре человека перелезли через забор во внутренний двор магазина, сломали замок, связали ночного сторожа, который спал около входной двери, чтобы попугать, разрезали ему кожу на шее (это позволило судье увеличить срок заключения каждому в два раза) и вывезли на трех тачках китайскую красно-белую посуду и смотанные в плотные штуки золотистую киотскую парчу. Отсидев шесть лет, он вышел, был призван в армию и отправлен вместе с саперной частью в Китай. Там уговорил приятеля пробить себе киркой плечо. Отлежался в госпитале, был демобилизован, женился на женщине вдвое старше себя и теперь жил у нее в деревне в десяти километрах от Кириидзуми.

Взрыв он услышал, когда перебирал в сарае рисовую солому — хозяйка собралась сменить подстилку у кур. Выйдя из дверей, он увидел, как в стороне моря над пологими зелеными холмами, которые скрывали городские постройки, медленно поднимается огромное черное облако, верхняя часть его расползлась, и во все стороны от него тянулись белые, похожие на шупальца нити. Облако не успело оторваться от земли и начать движение в глубь острова, как на нижней плоской части его показались багровые отблески. «Город горит», —

подумал Танимото, и ему сразу пришла в голову мысль, что если пожар так велик, то можно будет пэ-живиться.

Он разыскал мешок, захлопнул дверь в сарай, подпер ее лопатой и, прихрамывая (несколько дней назад оступился, переходя по камням ручей), заторопился по дороге. Руку он по привычке нес, прижимая поврежденным локтем к боку, второй рукой попытался на ходу размять и закурить папиросу. К папиросам он пристрастился в армии: его часто посылали проделывать проходы в разрушенных снарядами, заваленных обломками домов улицах, от развалин всегда несло сладким запахом разлагающихся тел. Табачный дым перебивал запах, дышать становилось легко.

Он попробовал зажечь спичку, она погасла, выругался, постучал ногтем в коробок — спичка оказалась последней, — поднялся вместе с дорогой на холм и присвистнул. Перед ним, расцвеченный огнями пожара, шевелился город, язычки плясали над каждым из домов, они росли, как побеги, и сливались в огненные кусты. Дым густыми клубами поднимался над улицами. С холма было видно, как по всем дорогам из города разливаются, становятся все полноводнее пестрые ручейки — толпами бегут люди.

«Надо подождать, пусть они уйдут подальше, а огонь погаснет», — решил Индзя и присел на траву. Горящих городов он видел немало, а шарить в брошенных домах приходилось в Китае часто.

Толпа бегущих уже достигла его. Здесь, на холмах, люди сворачивали с дороги, расходились, в изнеможении падали на траву, не кричали и не плакали, молча садились рядами, поворачивались лицами к горящему городу и, судорожно глотая слюну, безмолвно смотрели. А огонь уже бушевал, над черной от дыма и летающей сажки долиной стоял красный смерч, ровный гул, как от гигантской печки, повис в воздухе. И вдруг огонь начал опадать, огненный столб рассыпался на отдельные языки, те стали мельчать. Город продолжал гореть, но в нем уже выгорело все, что недолго сопротивлялось огню: бумага, тонкие стены, легкие крыши. Теперь это был низкий, расползающийся в стороны костер, облако распалось на ползущие вверх грязные лохмотья, и только там, в вышине, они еще сливались в синий, уползающий в сторону гор туман.

И тогда над людской толпой поднялся ропот, к крикам тех, кто искал близких, прибавился плач детей. Та-

нимото поднялся и, оглядываясь по сторонам, но торопясь, пошел вниз. Он был похож на человека, который ищет свою семью, и никто не обращал на него внимания. Он шел медленно: его час еще не настал, надо было подождать, когда огонь совсем погаснет, а раскаленный пепел, покрывающий улицы, остынет. Это должно произойти к утру, но возвращаться в деревню и пережить там не стоило — в город надо было войти первым.

Когда начало смеркаться, он забрался в куст ивняка, примял его, постелил мешок и лег. Лежал, не засыпая до утра, то и дело приподнимая голову и удивляясь: отчего начала светиться черная, невидимая в темноте долина?

Это светился огонь под пеплом.

Утром Танимото спустился с холма. Пуст и страшен лежал перед ним Кириидзуми, жаром и гарью несло от него, черным полем протянулся город от моря до рыжих, раздавленных холмов. Курились над ним дымки и стояли, как развалины мертвых храмов, красные и черные, измазанные сажей, остатки стен. Не было деревьев в этом городе и не было трамвайных столбов, лишь торчали их черные, неотличимые, гладкие стволы. Но на пепелище, как ни торопился Танимото, уже появились люди. Они горестной вереницей переходили от одной руины к другой, брели ошеломленные, бессильно загребая ногами, вздымая дымки из сажи и пепла. От сухого дымного воздуха ело глаза, першило в горле, мучила жажда, и тогда люди направлялись к каналам, но вместо воды в них медленно двигалась одна черная жижа. Те, кто не имел сил больше терпеть, спускались, становились на колени и, зачерпнув ладонью вязкую жидкость, вливали ее в рот...

Никто никого ничего не спрашивал, никто не плакал. От развалин уже начал подниматься сладкий запах, но страшнее этого запаха и вида разрушенных домов были слабые крики: «Воды! Воды!..» Это кричали из-под развалин раненые. Но крики их с каждым часом становились все слабее и реже, а к вечеру совсем прекратились.

За день Танимото обошел центральную часть города, заглянул в несколько руин, берегом канала вышел на окраину и, дойдя до кварталов, где дома были только разрушены, но не тронуты огнем, стал обходить здания, пролезая под рухнувшие балки, разбирая упавшие шкафы и вскрывая ящики. В одной руке у него был мешок,

а в другой — палка. Когда мешок был набит, он забросил его на плечо и, пройдя улицу до конца, остановился. Дальше начиналась идущая вверх по склону холма разбитая колесами тропа. Танимото сел, ладони его были испачканы в саже, белый пепел серпиками лежал под ногтями. Лизнул — пепел был соленый и странно обжигал язык. Танимото откашлялся и сплюнул: легкие, забитые сажей и пылью сгоревшего города, выбросили сгусток черной мокроты. Блестящий грязный плевок остался лежать у мешка, ему показалось, что в нем играют острые синие огоньки...

Умер спустя два с половиной месяца. Вначале стал жаловаться на слабость, затем тело покрылось темными пятнами. Выпали волосы. При обследовании в больнице, куда он был забран насильно (соседи рассказали о том, что он посетил пострадавший город), было обнаружено резкое падение числа белых кровяных шариков. Переливание крови не помогло.

Она появилась неожиданно. «К тебе пришли!» — крикнула из прихожей жена. Женщина, которая вошла в кабинет, показалась мне незнакомой. Она села на край дивана, сцепив на коленях руки. Квадрат окна за ее спиной был синим. Через стекло проник рев дикого животного.

— Рядом у нас зоопарк, и это очень мешает, — сказал я и вдруг понял, что передо мной Мария Корзун. За эти годы она сильно изменилась — похудела телом и почернела лицом, только глаза остались такими же тревожными и большими.

— Я долго искала вас, — сказала она.

Я плотно закрыл дверь, и мы проговорили с ней до глубокой ночи. Она рассказала мне все и о себе, и о Кулагине, а я показал ей листки, которые привез из канинской тундры Рассоха.

То, что она рассказала о детстве Кулагина, объясняло всю его жизнь. В разговорах с ней он все время возвращался к семье, и особенно к отцу. Ты должна понять, говорил он, все началось именно тогда. Люди как листья. Ветер семнадцатого подхватил их и перенес из одной жизни в другую. Это им только казалось, что жизнь продолжается и что страна остается прежней. А на самом деле все изменилось. Ты должна понять моего отца и таких, как он. Понимаешь, Маша, это были не-

обыкновенные люди. Они выбились. Знаешь, что значило тогда выбиться? Учились на гроши, недоедали. Отец первый год в институте ел один горох — купил по случаю мешок сушеного. Это была совершенно новая порода людей: они выучились, стали инженерами и поехали кто в приазовские степи на маленькие заводи, кто в Сибирь прокладывать железные дороги. Это они придумали электрические лампочки и подводные лодки, построили аэропланы и сварили броню для линкоров. Я думаю, говорил он, никогда не было в стране таких деятельных и предприимчивых, таких бескорыстных людей. Да, да, в массе своей они были бескорыстны, потому что чувствовали себя создателями... Страна менялась благодаря им. Так, по крайней мере, ощущали они сами — их труд инженеров был трудом создателей.

Очень важно понять их отношение к революции. Десятилетиями в среде интеллигенции зрело ожидание перемен. Верили Чернышевскому и Герцену, студенты организовывали подпольные кружки, выпускники университетов и институтов шли в народ, работали в глуши, в богом забытых местах учителями и врачами, купцы тайком давали деньги эсерам и социал-демократам. И, когда произошла революция, для таких, как Кулагин, выбора не было. Они приняли ее так же естественно, как принимают наступление весны или осени. Люди, подобные Кулагину, никуда не собирались уезжать, они остались. Гражданскую войну пережили мучительно: заводы стоят, кругом разруха, голод. Но они верили и терпеливо ждали. И вот снова задымили трубы, из мартовских печей полились ручьи стали, поднялись полосатые, замершие было, руки светофоров. И тогда родилось слово. Оно прозвучало неожиданно и зловеще: «Спецы». «Специалисты, которые достались нам от царской власти... Гнилая интеллигенция... Ее надо использовать, пока не выучились красные командиры производства». Так отец Кулагина, чьи ладони еще помнили жесткость изогнутых рукояток крестьянского плуга, был отлучен от народа. Почему и за что?.. Все менялось. Стали бояться. У матери Кулагина были сестры, они жили в Риге. «Никому не говори, что у тебя за границей родственники, — умоляла мать. — Забудь. Вырастешь — поймешь».

Ночь. Мы сидели в комнате друг против друга и соглашались. Да, да, говорил я Маше, я тоже так думаю — мало в истории России людей, более обделенных,

чем они (обделенных не куском хлеба, не правом на жизнь, тут есть примеры и пострашнее, а обделенных смыслом существования). Ведь именно так и было: учеба на гроши, полуголодные годы студенчества, потом работа в медвежьих углах, первые успехи: построил, изобрел, придумал, наконец перед тобой открылись горизонты, тебя признали, тебе дают новую работу, тебе говорят: «Вот далекий океан, к нему надо протянуть еще одну серебряную нить, вот корабли, никто еще не строил таких прекрасных кораблей, дерзай!»... Они дерзали... А кончилось все это списками арестованных. По спискам их брали каждый раз, когда поднималась волна арестов. Севернее нас, на берегу Татарского пролива, в лагере сидел человек, который построил в Москве радиостанцию имени Коминтерна. Тот, кто рассказывал мне о нем, видел его тогда, когда инженер был уже расконвоирован и жил в бараке. Его угол был отделен от других простыней. Жил он с какой-то поломойкой или прачкой. Так, на допросе во время ареста его спросили: «Далеко ли слышна радиостанция, ну ты, агент?» — «Во всем мире!» — гордо ответил он. За это ему выбили все зубы.

Я говорил, а сам думал еще об одном народе, столь стремительно ввергнутом на моих глазах в пропасть. Судьба каждого народа трагична по-своему. Трагедия японцев усугубилась тем, что этот народ веками привык к безусловному повиновению и в этом повиновении ощущал свою силу. Следование обычаям и предписаниям, их необходимость и пользу он украсил убедительными мифами. И вдруг война. Еще одна война. Но это оказалась война небывалая — война машин. И рухнуло разом все. Погибло то, чему веками поклонялся народ, даже не погибло, а просто оказалось ненужным. Что могла значить в такой войне покорность тысяч, собранных на утесах Марпи-пойнт? Какой прок от жертвенности юношей с белыми повязками на головах, посаженных в кабины самолетов? От готовности умереть моряков, посланных на гигантском корабле к дымящемуся острову Окинава? Слепая вера столкнулась с рассудочной неотвратимостью. Никогда в истории жертвенность не оказывалась столь драматичной и бесполезной...

Из моего окна за стальными решетками зоопарка видна река. Я люблю смотреть на нее в светлые летние ночи. Ее воды текут, как молоко. Провожая Марию, я вспомнил еще одну женщину. И еще одну реку. Я вспомнил женщину, которая, я уверен, обманула меня. Об-

манула оттого, что пожалела мертвого. Видно, Нефедов в какой-то из дней, предчувствуя недоброе, отделил часть листов от пачки и сказал: «А это про меня. Этого никому не надо знать». Конечно, никому.

Мезень течет свободно, холодно. От окна до стальной воды песчаные, обнаженные отливом кошки. На той стороне обрыв, на нем белые с желтыми метелками березы, застыли, съежились, сгорбились. Осень. Задержнула занавеску, прислушалась — муж за дощатой, обоями оклеенной перегородкой хрипит, задыхается во сне. Подняла с полу пучок лучинок, сунула в печь, положила газету, пристроила два сухих полешка, полдоски, чиркнула спичку. Огонь свернул, вычернил бумагу, побежал по лучинкам, лизнул доску, задержался на ней, несмело полез по колючему ребру, из полешек снопом брызнули искры — взялась кора.

Открыла рундук, достала из него пакет, присела. В черной глубине по обугленным, лопнувшим, покрытым бороздками поленьям пробегают голубые язычки, концы поленьев ало светятся, выстреливают огненные лохмотья. Вытащила из пакета несколько страниц, густо, как мухами, покрытых черными буковками, бросила поверх. Метнуло в печной свод голубое, рваное, с желтыми сердечками пламя. Листы свернулись, погасли. Пакет, оставленный Нефедовым, был толщиной в три пальца, все странички исписаны, на каждой торопливые следы, где ручки, где синего карандаша. Зачеркивал, вписывал, исправлял... Бедный, бедный!

Вот и пролетела его жизнь рваными кусками, не понять, что после чего, кому вспомнится, всплывет ли во всей ясности, со всей особенностью или промелькнет, как неясный поток, как река, что катит за окном свои желтые после августовских холодных дождей воды?

Про рваные куски, про смутный перемешанный поток, про отдельные, ясные до боли в глазах картины сам и сказал.

Вздохнула, бросила весь пакет. Тот упал, рассыпался, зацарил, медленно коричневея с краев, начал обгорать...

Завтра я войду, как обычно, в класс и, став у доски, начерчу на ней небесную сферу, в центре нарисую че-

ловеческий глаз и объясню недоверчиво слушающим курсантам, что земля неподвижна и вместе с наблюдателем составляет всего лишь точку. Небесная сфера с прикрепленными к ней звездами, скрипнув, повернется на оси и начнет медленное движение. «Это безразлично,— скажу я,— считать центром Вселенной раскаленный солнечный шар или корабль, на котором вы плаваете. Для знания своего места в океане эти системы равноценны, но та, что почитает землю неподвижной, предпочтительнее...» Нефедов был первым, кто попытался посмотреть на дни, проведенные нами на войне, глазами японского летчика. Вот отчего, когда в мою комнату по вечерам собираются рассказчики, они говорят его словами, усложненными фразами, которыми злоупотреблял Нефедов. Командиры катеров, безымянные женщины, обитательницы огромного дома на берегу Гомеры, самоубийцы с далекого тихоокеанского острова и рыбаки, обнаружившие в море странный, населенный призраками катер... Есть только один вопрос, который они не задают мне: как дальше жить? Они знают, что ответа нет, что ответы рождаются с той же скоростью, с какой меняется все вокруг, что каждый день ставит новые вопросы и приносит на них ответы, что прошлое уходит и остается только Память.

На Сайпане жгут черепа. Каждый год приезжают сюда из Японии отряды добровольцев, бродят по холмам, забираются в пещеры, обшаривают подножия скал. Морщинистые старики — бывшие солдаты — и гладколицые, совсем еще молодые студенты. Прилетают самолетами, приходят рейсовыми судами. Нет уже Гарапана, стерт с лица земли. Густой тропический лес давно поднялся на развалинах, зеленые лианы оплели остатки домов, на фундаментах в рост человека трава, лишь башня католического храма, как рыба кость, торчит над лесом. Да еще в одном месте чернеют в кустах, лежат глыбою бетонные стены госпиталя... Отсюда бредут командами по дорогам, разделяются, текут маленькими горстками к холмам, к трем возвышающимся над островом горам, шарят в кустах, залезают в норы, копают в заросших травой бункерах, собирают на плоских вершинах останки последних защитников, останки детей и женщин, построенных когда-то в печальную очередь на Марпи-пойнт. Найденное стаскивают в кучи и тщательно переписывают. Все отдельно — берцовые ко-

сти и голеностопы, лопатки и позвонки... Кости складывают в мешки, мешки сносят на площадки и собирают из них пирамиды. Вот и еще одна готова. С четырех сторон подносят зажженные свечи, и, чадя и дымя, мешки начинают гореть. Горят самоубийцы, камикадзе, люди, навечно записанные в Книгу Судеб.

Сейсин — Гензан — Ленинград
1945—1990 гг.



ВИТРАЖ 701



Чем дальше катил по разболтанной колее состав — паровоз с огромной, похожей на гриб трубой и два гулких жестяных вагона, в каждом по горстке инженеров, все инженеры американцы, и только один немец, им было поручено составить доклад, во что превратилось величайшее предприятие века, — тем тише становилось в вагонах. Умолкли даже самые разговорчивые: великая стройка лежала, как погибший корабль, зеленые заросли поднялись вверх по откосам, дно канала заполнили заросшие тиной и речным гиацинтом лужи, лианы опутали деревья. Как огромные, покрытые коричневой шерстью звери, стояли среди них паровые экскаваторы с прямыми, выстреленными в небо трубами и опущенными к самой воде дорожками, на которых застыли полные грязи ковши. Повсюду лежали тысячи лопат и кирок, стояли тачки, задрав кверху изогнутые ручки, пестрые змеи беззвучно скользили среди колес, а на ветвях хлопотали, не обращая внимания на паровоз, мелкокостные с загнутыми хвостами обезьяны и черно-красные птицы ара.

В вагонах было душно. Поезд, покачиваясь, катил вперед. Показались бараки. Когда-то они были поставлены углами на высокие камни, чтобы скорпионы и змеи не могли забраться в постели рабочих, но балки уже сгнили и стены опустились, в покрытых плесенью, поросших мхом крышах зияли черные дыры. Да, все затонуло, ушло на дно, время и вода уже заканчивали свою работу, еще месяц-два, и рухнут стены бараков, трубы машин оплетут лианы, дождь заполнит до верха канал, он снова превратится в реку, и тогда в него снова смогут вернуться аллигаторы и рыбы...

Немец нагнулся, раскрыл на коленях кожаную папку, достал из нее карандаш, лист бумаги и написал прямым почерком: «Тысячи брошенных вагонов на подъездных путях и строительных площадках ржавеют или завалились, как, впрочем, и все остальное. Все поглотила топь, рельсы утонули в грязи и теперь погружаются с каждым сезоном дождей все глубже... А ведь еще недавно этому месту сулили великолепное будущее, его называли главной транспортной артерией ми-

ра, которая свяжет два океана.. Теперь там, где она еще не оказалась под водой, растут кукуруза и банановые деревья, пасутся коровы, а над оплывшими могильными холмами стоят покосившиеся кресты. Великое строительство умерло, унеся с собой Бог знает сколько жизней».

Обостренное чувство вины, которое Татьяна Соловьева испытала несколько раз в жизни, впервые посетило ее в детстве. Это случилось в дни, которые она провела на острове посреди северного озера, вероятно в Карелии. Подробности поездки стерлись в памяти, не была известна причина стремительного переезда с юга на север с матерью через всю страну, короткого пребывания в неухоженной комнате отца и такого же стремительного отъезда.

Запомнилось утро. До этого Таня знала только медную крымскую степь, синие плоские горы на горизонте, белый известняковый город, в конце улицы — сверкающее на солнце море, меловые коричневые скалы, толпой, как солдаты, выходящие на берег. А тут — лес, огромный, прохладный, дорога — две колеи в тонком песке, красные стремительные стволы сосен. Дорога увела в глубь острова, сосны постепенно уступили место черным, непроницаемым для солнечных лучей елям. Ели были огромные, верхушки их соединились, и от этого дорога стала сумрачной, черной, песок сменили глина и мох, впереди что-то заблестело — в еловом полумраке возникла в воздухе и засветила рассеянными отраженными лучами покосившаяся дощатая избушка. Только потом, восстанавливая в памяти эту картину, Таня пришла к выводу, что это была заброшенная часовня, а тогда она испугалась, но стала осторожно приближаться; мало-помалу воздух под часовней уплотнился, сделался пятном, края этого пятна закруглились, и то, на вершине чего стояла часовня, превратилось в огромный валун, очертаниями напоминающий конскую голову. Ветхая, вот-вот готовая рухнуть лесенка была приставлена сбоку, она дотягивалась только до половины камня, а оттуда к крылечку и двери вели выбитые в граните ступени. Эта непонятная, почти сказочная картина так испугала девочку, что, когда с острой, покрытой зеленой щепой крыши с криком сорвались черные птицы, она тоже закричала и бросилась прочь.

Обратного пути она не помнила и не знала, как вы-

бежала к озеру: но это был не тот берег, куда привез их поутру катер, где стояли дома и жили военные (Танин отец был офицером). Берег здесь был высокий, поросший редкой сосной, он полукружием охватывал неглубокую бухту, под обрывом лежал плоский песчаный пляж. Вспоминая его, Таня пришла к убеждению, что незадолго до их приезда на озере был шторм — он перемешал, промыл песок и уложил его выпуклым, ослепительной чистоты полукругом. Ни один след не пятнал его. Встречая потом в книгах слово «девственный», Таня всегда вспоминала себя — маленькую девочку в сером платье, стоящую безмолвно на краю обрыва, захлебнувшуюся от восторга, а у ног — белый, нетронутый желтый песок, за ним — синее озеро.

Осторожно, держась за торчавшие из земли сосновые корни, спустилась вниз и боязливо вступила на сверкающий берег, сделала несколько шагов, оглянулась — теперь его уродовали острые черные ранки, снова вскрикнула и бросилась назад, убегая, последний раз посмотрела вниз, увидела цепочку следов на оскверненной земле, торопливо зашагала по дороге, и та вывела ее в конце концов к военному городку.

Рота, в которой служил отец, размещалась в бывшем монастыре. Офицеры жили в кельях. Таня выходила на широкий двор, окруженный с четырех сторон ровными низкими строениями, мощный булыжником, поросший редкой травой, и кормила птиц. Она покупала в магазинчике, который помещался тоже в одной из келий, шуршащие, липкие, пачкающие руки семечки, набивала ими карманы, становилась посреди двора и, вытянув руку с раскрытой влажной ладонью, ждала. Она стояла неподвижно, закрыв глаза, — ей казалось, что так птицы будут смелее, стояла до тех пор, пока над головой не слышалось фуфыканье, невидимое маленькое существо задерживалось на секунду в воздухе, висело там, отчаянно трепеща крыльями, потом острые маленькие коготки впивались в подушечки пальцев, но так неощутимо и осторожно было это прикосновение, что Тане ни разу не удалось почувствовать, как птица берет клювом. Раскрыв глаза, видела каждый раз улетающий прочь серый комочек, его беспокойный угловатый полет, он прекращался в ближайшем кусте (во дворе росла сирень), серый комочек приобретал скраску — черную, зеленую, белую, — маленькая синица потряхивала головкой, висела на ветке, переворачивая в клюве семечко.

На остров Таня приехала из Приморска. Улица, на которой они там жили, вела от шоссе вверх в гору. Улица была немощеная, глинистая, пыльная, желтая в жару, темно-коричневая, раскисшая, в липких, вязких натеках в дождь. Заборы здесь шли уступом, они были сложены из камней, один выше другого, через них свешивались пыльные абрикосовые ветки. Над заборами, пропадая в серых, голубых абрикосовых и виноградных листьях, виднелись красные тяжелые черепичные крыши. В каждом заборе была калитка, около нее — скамеечка или большой, приваленный к стене камень. На скамеечках и камнях сидели старухи. Улица кончалась на вершине плоской горы. Там всегда дул ветер, и оттуда запускали планеры.

Все жители городка летом держали курортников, мужчины работали в совхозе, все друг друга знали, и от этого жить было легко, но порой больно или даже стыдно.

В доме напротив жила гадалка, у нее было двое мужей, один — клоун, второй — сапожник. Старики были дряхлые, многословные и неопрятные. Гадалка ходила в засаленной пестрой дорогой шали, в мужских башмаках, курила и кричала на Таню и на других детей.

Клоун был ее первым мужем. Они познакомились в двадцатых годах в Ялте, гадалка ездила туда ворожить нэпманшам, а клоун работал в цирке-шапито. Они познакомились во время представления. У клоуна был номер: спасаясь от коверного с метлой, он прыгал в публику и, сидя на коленях у какой-нибудь дамы, визжал и дрыгал ногами. Гадалка испугалась, когда он прыгнул к ней, ударила его, столкнула на пол. Публика очень смеялась. Вечером на бульваре у кипарисов к ней подошел застенчивый средних лет человек.

— Простите, это был я,— сказал он.

Они поженились. Клоун часто приезжал в Севастополь — там у гадалки был свой дом. У них родился и умер ребенок. После его смерти клоун больше не приезжал. Гадалка состарилась, вышла снова замуж — за хромого сапожника. Началась война. Однажды (город был уже взят, и по улицам ходили всю ночь, громяхая сапогами, немецкие патрули) в окно постучали. Не зажигая света, она отвела пальцем угол занавески. Под окном кто-то сидел на корточках. Долгая печальная жизнь сделала женщину бесстрашной, она открыла дверь. В комнату вполз на четвереньках человек. Он упал. Она зажгла спичку и поднесла огонь к его лицу —

это был клоун, постаревший, в форме советского солдата, со срезанными петлицами и пуговицами. Его спрятали: во дворе, между виноградной беседкой и уборной, вырыли яму, ее закрыли досками, перепачканными калом. Первые дни от запаха нечистот клоуна рвало. По ночам он вылезал, садился у закрытой калитки и часто дышал. Через щели в гнилых досках с улицы струился воздух, в нем были запахи моря, чужих дворов и дыма — в городе горели дома. Клоун сидел, сняв рубаху и штаны, подставляя воздуху незалеченные раны. Во двор часто приходили патрули, некоторые солдаты входили в уборную, наступали на лежащие на яме доски. Сапожник работал во дворе. Задыхаясь от вони, клоун лежал в яме и слушал, как он не торопясь, мягко стучит молотком, как рвет зубами дратву и трет напильником по резине.

Так они прожили долгих два года.

Гадалка снова ходила по людям. У старух, у женщин, оставленных войною без мужей, снова возник интерес к легкому утешению, которое давали карты.

Когда в город вошли наши войска, три пожилых человека стояли у дома обнявшись и плакали. Они продолжали жить вместе, а когда дом снесли — Севастополь застраивался многоэтажными домами, — получили за него деньги и переехали в маленький тихий Приморск.

Вторым Таниным соседом был старик Пеликан, крепкий, нос сливой, черноволосый и сухой. Он всю жизнь жил в Феодосии, ездил там с собачьей будкой, а когда ушел на пенсию, перебрался сюда и стал выводить виноград с оранжевой ягодой, без косточек. К нему часто приезжали дети — пожилые мужчины и женщины, все немногословные, носатые, черноволосые. Старик возился с лозой шесть лет, пока не узнал от инженера в совхозе, что такой виноград уже выведен на острове Хиос. Узнав это, старик срубил лозу и пристрастился к чтению. Он читал про убийства и шпионаж, часами сидел около забора, неторопливо переворачивая страницы и наблюдая игры детей. Время от времени он на них кричал. Пеликан не был зол, но профессия мучителя собак приучила его любить тишину.

Летом Таня с подругами каждый день ходила через шоссе на море. Там купались, загорали на лиловых гладких камнях или уходили на гору Акдаг, чтобы бродить среди развалин древней крепости. От крепости остались только неровные квадраты фундаментов (на

них стояли когда-то дома), башня, стена, пробитая привезенной для осады из Турции машиной, да рассыпанные повсюду черно-красные черепки. Девочки набирали их полные карманы, а потом бросали в воду. На черепках были следы пламени и сухая кровь людей, убитых тысячу лет назад.

Таня росла странной, молчаливой девочкой, иногда ей казалось, что и бывшее, и предстоящее, не отделяясь от сегодняшнего, следуют за ней, порой меняясь местами. Причиной, вероятно, служило ее воображение. Особенно оно развилось в годы, проведенные вместе с матерью и сестрами во время войны в крошечном (три барака) поселке в северо-западном углу Крымского полуострова, на берегу мертвого озера, где работала старшая сестра и куда мать бежала из Приморска с младшими девочками. Здесь добывали соль, выпаривая ее на солнце. Место было ровное, плоское, как лезвие ножа,—ни бугорка до самого горизонта. Война прошла стороной: изредка проезжали зеленые мотоциклисты, и тогда молодые бабы прятались. Жили тем, что собирали с чахлах огородов. Раз в два-три месяца кто-нибудь ходил пешком в Симферополь на базар за сахаринном, спичками, нитками. Было страшно, голодно, одиноко. Девочка уходила в мертвую, желтую, раскаленную степь, садилась на корточки и смотрела на сверкающие ледяные озера. Над солью поднимались, изгибаясь, струи воздуха, дрожали, и в них возникали далекие миражи — море и его берега. Таня научилась думать одна, подолгу, сосредоточенно, теряя разницу между выдумкой и жизнью.

Так однажды — война кончилась, они уже вернулись в Приморск — она стояла на улице, слышались звуки духового оркестра, поднимаясь снизу, от моря, на улицу вступили матросы в белых полотняных рубашках, они несли коричневые, обвитые кумачовыми лентами гробы, следом шли рыдающие женщины, за ними ехала карета «скорой помощи». Процессия дошла до Бастионной улицы и свернула в нее, но до Тани еще долго доносились тихие звуки литавр и шелест женских подолов. Через неделю в море за Тонким мысом загорелся пассажирский пароход. Он горел на виду всего города, две черные и идущие прямо вверх струи дыма поднимались над ним, и странным было только то, что они выходят не из труб. Рассказывали, что пожар возник по вине киномеханика, который бросил окуроч в раскрытую коробку с фильмом.

К пароходу целый день плавали лодки, рыбаки снимали людей, а когда сняли живых, стали привозить мертвых. Еще рассказывали, что на пароходе ехала молодая пара, муж выбросился в море, а жена застряла бедрами в иллюминаторе. Молодой человек вернулся на пароход, нашел в дыму дверь в каюту, вошел в нее и остался. Похорон в городе не устраивали, гробы с телами погибших увезли в Симферополь.

Еще у нее была способность непонятно отчего удивляться. Однажды подруга взяла ее с собой посмотреть, как запускают планеры. Прозвучала команда, тонкокрылый аппарат, похожий на оперенную лыжу, стремительно взмыл в воздух и повис над горой, едва заметно шевеля крыльями. Таня стояла, прижав руки к груди, и растерянно повторяла:

— Летит, летит! Человек летит!

— Ну и что? — сказала подруга. — Все летают.

Но Таня продолжала смотреть, запрокинув голову, как замороженная, потом пошла вслед за летающей лыжей, а та, обогнув гору, села на виноградник. Там аппарат лежал, уткнув нос в землю и беспомощно задрал крыло.

— Ну чего ты побледнела? — спросила подруга. — Ну полетел человек, ну и что?

Впервые, очень рано, столкнувшись со смертью, Таня заболела тяжелым нервным расстройством.

Было это так.

Они с матерью поехали в Симферополь встречать отца, тот из-за очередной странной, непонятной для Тани перемены места службы обещал провести неделю дома.

Поезд опаздывал. Над станцией стоял запах нефти и разогретого железа. По перрону слонялись курортники, из квадратных урн торчали газеты и цветы. На дальнем пути сцепляли состав, парни в черных промасленных куртках, постукивая цепями, сводили вагоны. Они сводили их, как лошадей; вагоны, ударяясь, вздрагивали.

Пощелкивая, прошла дрезина.

Мать крепко держала Таню за руку, а девочка вертелась, и поэтому их путь по перрону был прихотлив.

Издали донесся свисток паровоза. Он пришел со стороны Джанкоя. Началось движение, из буфета повалили мужчины, они несли в руках недопитые бутылки с лимонадом. Вышел дежурный. Впрочем, он появился раньше — свисток застал его уже на месте.

Показался поезд. Он вышел из-за поворота, из-за белых домов, из-за водокачки: высокий зеленый паровоз и громада вагонов. Они приближались, и паровоз снова дал свисток.

Возникло волнение — какой-то железнодорожник с тетрадь в руке бежал по краю перрона. Тетрадь была клеенчатая, зеленая, блестящая. Он бежал, чтобы успеть спрыгнуть и перейти на дальний путь, где уже кончили сбивать состав.

Таня смотрела, окаменев, широко раскрыв глаза. Человек с зеленой тетрадь в руке бежал по краю платформы, а сзади его настигал огромный паровоз. Человек и паровоз двигались, все остальное стояло неподвижно. Стоял дежурный с поднятым жезлом и раскрытым ртом, стояли мужчины с бутылками в руках, стояли узлы, и чемоданы, и собаки на поводках. В воздухе неподвижно висел быстро летевший до того по ветру газетный лист.

Человек, не переставая бежать, стал медленно падать, он падал с платформы, и зеленый паровоз так же медленно настигал его. Он наступил колесом ему на шею, и голова, теряя фуражку, покатила между рельсов впереди паровоза.

Беззвучный свист вырвался из трубы и достиг Таниных ушей.

— Не надо! — закричала она. — Не хочу, не надо!

Мать повернула Таню к себе и спрятала ее лицо в коленях.

— Не надо! — снова закричала Таня, и тогда поезд дал задний ход. Он начал медленно отъезжать, освободились залитые кровью рельсы, обезглавленное тело возвратилось на перрон и, размахивая руками, стало отступать к тем дверям, откуда только что выбежал железнодорожник с тетрадь. Оно скрылось за ними, и только голова, отделенная от туловища, продолжала катиться между шпал. Она катилась, как яблоко...

Уволили с металлургического завода Высоковского так: была авария, грозили арестовать, но не успели — началась война. А когда она закончилась, он пошел по военной, на фронтах приобретенной специальности — в строители.

Институт был новый. Отделу, где работал Викентий Николаевич, поручили заниматься бетоном, но не обычным, а таким, в котором вместо способного ржаветь

железа использовались бы другие укрепляющие каменья части.

Викентию Николаевичу достались смолы. Со свойственной ему аккуратностью он взял лист чистой бумаги и, выписав все возможные добавки, составил таблицу. Получилось восемьсот клеточек. Он не удивился, созвал лаборантов и сказал:

— Завтра начнем.

Шли годы. Институт переезжал с улицы на улицу, укрупнялся и перестраивался. Менялись начальники, у лаборантов то отрастали волосы до плеч, то вновь укорачивались. Портились и заменялись приборы, появились привезенные из-за границы сложные машины с электроникой. Викентий Николаевич каждое утро приходил в лабораторию, снимал пиджак, вешал его аккуратно на стул, надевал на рубашку белый халат, поправлял одноцветный галстук (пестрых он не носил) и говорил, похрустывая пальцами:

— Ну-с, начнем.

Начинался новый опыт. В результате его на столе перед Викентием Николаевичем появлялся серый кубик, в котором были скрыты нитевидные включения хрупких разноцветных смол. Лаборант брал кубик в пакет, надписывал и уносил в другую лабораторию — испытывать на сопротивление удару, на давление и влагостойкость.

И вот однажды кубик выдержал все испытания. Он не рассыпался, когда нагрузку довели до многих килограммов, не раскололся ни от удара, ни от вибрации. Его обливали кислотой и клали на долгие месяцы в воду — он оставался цел. Попробовали отлить из этого бетона сваю длиной в шесть метров. Раствор прокувыркался в барабане, прошел, не забивая, насос и резиновый шланг и, только когда его налили в деревянную, похожую на карандаш опалубку, внезапно затвердел.

Сваю забили в землю, а из нового бетона решили построить несколько домов.

Так грубые материальные вещи — бетон и дома — положили начало связи, которая теперь не могла не возникнуть между Викентием Николаевичем и Таней Соловьевой, и им теперь предстояло обязательно встретиться.

Викентий Николаевич был старым холостяком, он не позволял себе никогда вольностей с лаборантками и никогда не участвовал в мужских разговорах о женщинах. Причиной этого было его детство — чопорная семья малороссийского учителя, мать, суровая, пожилая, из

обнищавших дворян, всегда одетая в черные скрипучие кофты и юбки. У Викентия Николаевича не было товарищей, их дом, окруженный садиком с сиренью, стоял на отшибе, в конце малолюдной, застроенной торговыми складами улицы. Маленький Викентий выходил в сад и там долго чертил на песке квадраты и треугольники, соединяя их вершины, наблюдая, как постепенно раскалывается на части мир. Затем он учился в пыльном провинциальном Харькове, жил в семье тетки, старой девы, часто болел, но учился хорошо и после окончания получил место на заводе в Никополе. Здесь-то с ним и произошла эта странная история.

Его предшественник не сразу освободил казенную квартиру, и Викентию Николаевичу пришлось на время снять комнату. Он нашел ее легко, в доме одинокой молодой вдовы, которую звали Калерия. В первый же вечер она пригласила Викентия Николаевича на чай. В темно-лиловом платье, на плечах черный платок — шелк тек по рукам, — Калерия поставила на стол самовар, шестигранный, узкий, накрытый фасонной крышкой, поставила чашки с блюдами, принесла из кухни крендель, села напротив Викентия Николаевича и спросила:

— Почему без супруги?

— Холост. — Викентий Николаевич стал рассказывать про свою учебу и жизнь в Харькове.

Над столом низко нависал малиновый абажур, от самовара струилось тепло, в комнате было уютно, достоверно, тихо. Калерия слушала, сочувствуя.

— Жарко! — И опустила платок с плеч. Вырез в платье оказался глубоким, квадратным, и теперь, когда она наклонялась через стол, чтобы подлить Викентию Николаевичу, в вырезе, молочно переливаясь, пугающе вспухали груди.

— Наливочки хотите? — Она потянулась к буфету.

— Не пью.

Когда жилец поблагодарил и направился к себе, пошла следом и долго возилась, взбивая подушки.

— Вот вы, оказывается, какой! — Как-то странно посмотрела и ушла, неплотно закрыв дверь.

Викентий Николаевич сразу уснул.

Больше чай они вместе не пили.

Через месяц Викентий Николаевич съехал с квартиры. Он уже полгода жил в своей, когда однажды, возвращаясь с работы домой затемно (в мартеновском цеху была вечерняя плавка), увидел, как от забора, окружавшего дом, отделилась какая-то тень.

— А я к вам! — сказал низкий женский голос, и Викентий Николаевич узнал Калерию.

Он устало сказал:

— Пойдемте... Чем могу служить?

Она сидела в его кабинете. Темно, лампа, которую зажег на столе Викентий Николаевич, была зеленой, и от этого лицо Калерии казалось неживым.

— У меня скоро будет ребенок, — сказала она.

— То есть как? Н-не понимаю, — растерянно пробормотал Викентий Николаевич.

— А что тут понимать? Жили у меня. Понесла, стало быть. Теперь будем ждать.

Все окружающее превратилось в дурной сон: стены кабинета разошлись и стало видно ночное тревожное небо, у Калерии вырос и свесился над губой зеленый нос.

— Но я-то тут при чем? Ведь мы... Я ведь ничем...

— Как это ничем? Все соседи видели. И мать.

— У вас мать?

— Не сирота. Напротив живет... Так что как хотите, а только я предупредить пришла.

Встала и направилась к двери.

Ошеломленный Викентий Николаевич молча последовал за ней, хотел что-то сказать, но не сумел.

Калерия ушла в темную глубину улицы, и Викентию Николаевичу показалось, что там от кустов отделилась мужская фигура. Обе исчезли.

— Как же так? — долго спрашивал себя Викентий Николаевич. — Как же так? Как это можно... Нет, нет. Лучше не спорить: стыда не оберешься, вдруг и верно. Ведь бывают таинственные явления. Наконец, говорят, медиумы... Да, да, именно — таинственные.

Эта безумная мысль, как ни странно, принесла ему облегчение.

Калерия пришла через три месяца, пригласила посмотреть младенца. Викентий Николаевич вздрогнул, покраснел, сунул ей в руку смятую пачку денег. Этот оброк он платил полгода. Потом Калерия исчезла, а мир, в котором жил Викентий Николаевич, искаженный, лишенный какой-то своей части, уже никогда не становился прежним.

Начало войны. Узкий переулок около военкомата, сваленное на землю ношенное — рубахи, штаны, даже пиджаки и куртки, — по нему бродили, подвывая, жен-

щины, а через распахнутые железные ворота уже выносило потоком молодых парней и мужчин в возрасте Викентия Николаевича. На площади их строили, охрипшие командиры старались удержать каждую группу в подобии прямоугольника, но строй разваливался, новобранцы брели не в ногу, то в одном, то в другом конце растерянно, дурным голосом пытались запеть — пронзительно взлетевший звук тут же падал.

Потом казарма, тревожные и непонятные дни, радио говорило бодро, но так кратко, что становилось непонятно — отчего война не кончается, раз у немца такие потери (закончился первый месяц, а уже сказали — миллион). Наконец, фронт. Мобилизованные бабы и старики, оборонительный рубеж — огромный бесконечный ров на плоской, засеянной редкою рожью равнине, кольцом по горизонту синий лес. Он вышагивает вдоль рва, на дне копошатся сотни людей, у ног у каждого сумка с едой, захваченное из дому одеяло, мелькают лопаты, в воздухе висит коричневая пыль, а он все ходит и ходит, сверяясь с клочком бумаги в руке, тянет рулетку, проверяет на глаз отвесность стенки, в которую должен упереться немецкий, на кастрюлю похожий, танк. Но вот сбилась в толпу масса копавших. Встав на сиденье открытого автомобиля, кто-то в форме выкрикивает слова про окружение, и уже люди с лопатами, бросив ров, черной рекой выкатываются на дорогу. Бесконечное обреченное движение. Но дело было под Котлами и Копорьем, немцев на несколько дней отбросили от Ленинграда. За кем пришли грузовые машины, кто пешком потянулся по шоссе мимо утопающих в зелени красных и белых безразличных дворцов к голубеющему на горизонте городу. Потом Ленинград, блокада. Часть должны были вывести, и оттого Викентий Николаевич три месяца просидел в казарме, урывками из окна наблюдая, что происходит. Вот поднялся черный столб дыма — «горят Бадаевские склады», вот ночью огненные сполохи замечались с северной стороны — «финны вышли к Сестрорецку», вот ночные бомбы упали около Петропавловской крепости — «попали в зоопарк». Наконец ударил холодный ноябрьский ветер, люди, которых раньше можно было видеть из окна, исчезли, кормить в казарме стали два раза в день, а хлеб давать по счету тонкими со вкусом земли ломтиками. И вот в декабре команда: открыт вещевой склад, каждый может взять в дорогу какие хочет вещи. Викентий Николаевич взял носки.

Когда в теплушке сказали наконец «Ладога», паровоз уже подтащил вагоны к платформе. А может быть, это была вовсе не платформа, а только насыпь, и тогда, значит, они прыгали с подножек прямо в снег. Гремя котелками, обвешанные винтовками, противогазами, с вещевыми мешками, строились в очередь за неожиданным, густым гороховым супом. Вещевые мешки и противогазы сложили в автомашину и больше никогда их не видели — машина провалилась под лед.

Дул ветер, низкий, пронизывающий, злой. Из рваных зеленых облаков выглядывала луна. Она внимательно и недобро смотрела вниз, на вереницу черных теней, осторожно спускающихся на лед.

Шли по автомобильной колее, изредка попадались воткнутые в сугробы вешки. На каком-то повороте пропустили веху и пошли ложным путем на юг.

Небо потускнело, луна перестала выныривать из облаков, а батальон все шел. Ветер поднимал с накатанной дороги колючую ледяную пыль. Автомобильная колея исчезла, колонна, вначале плотная, идущая как одно живое существо, растянулась и распалась. Викентий Николаевич посмотрел на часы — кончался четвертый час. От наспех намотанных портянок саднило ноги, портянки свернулись в жгуты. Он сел на снег, сбил в ладонях ледяной комок, лизнул его, в отчаянии посмотрел на обмотки, на огромные ботинки, хотел расшнуровать их, но понял, что не сможет на морозе снова вдеть сыромятные шнурки, встал и поковылял дальше.

Рассвет вымыл из ночи низкую полосу берега. Люди, ожесточась, брели к нему. Цепь растянулась еще больше. И тогда с берега ударил пулемет. В огромной снежной степи звук его был слаб и случаен. Викентий Николаевич лежал прямо на дороге, дышал в льдистый, грязный снег, тот чернел у самых губ, проваливался. Надо было ждать.

Немцы, должно быть, не разобрали, что противник — случайная и плохо организованная группа, не спустились на лед. Спасла поземка, белое облако скрыло берег, в небе белым пятном запрыгало солнце. Оно светило не прямо перед людьми, а слева. Все поняли, что батальону надо, вернувшись, пройти еще такой же путь на восток.

К селению Кобона вышли только к вечеру. Солдаты брели, еле переставляя от усталости ноги, горбясь под тяжестью винтовок. На дороге лежали коричневые тела лошадей. Возницы отпрягали от них сани. Корич-

невые кони лежали на грязном снегу и смотрели в небо голубыми глазами — немецкий истребитель, зайдя со стороны озера, прошел пулеметной очередью обоз.

Когда он вскарабкался на крутой заледенелый берег, на часах было четыре часа дня — они шли через Ладогу шестнадцать часов.

А потом был еще Кавказ. Под Туапсе строили из земли и дерева огневые точки на перевалах. Горы стояли, покрытые желтыми лесами, когда дул ветер, начинали облетать дубы, земля была сухой, опавшие листья распространяли запах пыли. Начались бои, и наши перешли в наступление. Викентию Николаевичу вместе со взводом приказали восстановить взорванный мост. Мост находился внизу, в ущелье. Речка, через которую он был перекинут, была мелкая, но ложе ее забито лобастыми, обкатанными водой камнями. Подтащили бревна, начали сбивать ряжи, как вдруг, взметнув фонтан брызг, в воде разорвался снаряд. Второй попал в недостроенный ряж, полетела щепка, лязгая покатились камни. Викентий Николаевич крикнул солдатам уходить и, пригибаясь, побежал за ними, но снова грохнуло, толкнуло в спину — упал; лежа на земле, подумал: «Жив» — и скатился в яму. Яма была мелкая, и каждый раз, когда прилетал снаряд, Викентию Николаевичу хотелось вскочить и бежать искать другую, поглубже. Стиснув зубы от боли в животе, он дождался конца обстрела. Немецкую батарею подавила наша авиация, мост достроили, но через день он снова почувствовал сильную резь в желудке.

— Что же ты в такое время язвой вздумал болеть, — сказал в полевом госпитале хирург. — Я, Срат, уже и забыл, как ее резать.

Операцию он сделал неудачно, и Викентия Николаевича отправили в тыл, в госпиталь на Урал.

Бесконечные перемещения отца по стране были причиной того, что школу Таня окончила в Крыму, а в техникуме училась в Ленинграде. На работу попала в строительный трест, и ее определили в контрольную лабораторию.

День, когда она пришла туда, был обычный, суетливый. Начальнице, Лидии Павловне, нездоровилось, она сидела, горбясь, за столом, прикрывая платком рот, и кашляла; посмотрев на Таню, сказала:

— Вы ведь ничего не умеете.

В женском общежитии дали койку. Таня купила зеленую салфетку на тумбочку и отрывной календарь, в нем были широкие глянцевые листы с белыми кораблями и гербами волжских городов. С кораблей хорошо одетые, веселые молодые мужчины и женщины, стоя на белой палубе, разглядывали берега с непостижимыми и разноцветными церквями.

На работу Таня приходила рано, садилась в уголке и ждала. Лидия Павловна появлялась без пяти девять, снимала потертое темное пальто, вешала его у дверей и, оставив на шее узкий, вытянутый, завязанный у подбородка шарф, садилась за свой стол. Ей никто никогда не звонил по телефону по личным делам, она никогда не брала бюллетеней, и если болела, то принимала прямо на работе горькие порошки, наворачивала на горло еще один шарф и говорила еще отрывистее, а когда Таня однажды попробовала спорить, вспыхнула и закричала.

Незаметно и без всяких событий прошел год, трест начал новую работу — дома из какого-то нового бетона.

— Перевожу вас на новые дома,— сказала Лидия Павловна,— будете замерять температуру воздуха у земли и на этаже, скорость ветра — тоже на двух уровнях, влажность, давление. Еще будете брать пробы бетона. Пробы относить в лаборатории каждые четыре часа.

Таня хотела бы сказать, что не училась замерять ни скорость ветра, ни влажность, но вспомнила, как кричит начальница, испугалась и кивнула. Только потом, идя домой, поняла, что брать пробы и замеры каждые четыре часа — это много и что так у нее не будет свободного времени.

«Прохладно!» — подумала она и вспомнила Крым.

В последнем письме мать сообщала: не стало абрикосов. Старое дерево во дворе цвело плохо.

...Старое дерево! Сколько ночей было проведено под ним. Просыпаясь, Таня всегда видела через редкие черные листья большие зеленые, как незрелые плоды, звезды. Она лежала, забросив за голову руки, вытянув тщедушное, невесомое тело, всплывала и оказывалась в черной воде над домом, над глухой, без фонарей, улицей. Отсюда были видны белые плоские горы и море в желтых лунных пятнах... Когда просыпалась, на крыше уже ворчали по-собачьи голуби, а в абрикосовых ветвях торчали толстые, как палки, солнечные лучи.

Выйти замуж Лидия Павловна могла только один раз. Было ей тогда тридцать два года, и случилось это в доме отдыха под Харьковом.

Она приехала туда на полсрока. За обеденным столом сидели вчетвером. Была еще супружеская пара — оба полные, флегматичные, неразговорчивые. В первый же день, заметив, что Лидия Павловна ищет глазами салфетку, сосед Григорий Борисович предложил свою, вскочил, пошел искать официантку. Лидия Павловна смутилась и все остальное время, пока шел завтрак, молчала.

Дом отдыха был расположен на берегу Донца, окружен прозрачными низкими дубами, но сразу же за воротами, за дорогой, по которой приезжали автобусы, начиналась степь. По ней ветер катил волны — клонились желтые, зеленые, с дурманящим запахом травы, летел пух отцветающего репейника, на холмах печально и тонко пересвистывались суслики.

Лидия Павловна уходила в степь, ложилась в колючую, сухую, ломкую траву, закинув за голову руки, смотрела в небо, синее, с редкими ватными облаками, и мечтала о том, чтобы сюда пришел и сел рядом Григорий Борисович.

Две недели пролетели быстро, в день отъезда Григорий Борисович, словно спохватившись, много говорил, вызвался проводить, донес чемодан до автобуса, помог подняться на ступеньку. Руки их встретились. Лидия Павловна перестала слышать. Григорий Борисович что-то объяснял, автобус задерживался, пассажиры вышли, они остались вдвоем и торопливо, словно опасаясь, что их прервут, стали рассказывать о себе.

Лидия Павловна сказала, что живет в Харькове с матерью, что у них отдельная трехкомнатная квартира, которая осталась от отца, что работает она в учреждении, где проектируют оросительные системы.

— Отлично! — сказал Григорий Борисович. — Я к вам в командировку в позапрошлом году приезжал. Не помните?

— Меня тогда еще не было, я работаю всего год, — сказала Лидия Павловна.

Потом автобус катил по дороге, переваливаясь, таща за собой красный хвост пыли, выбрался на асфальт. Лидия Павловна смотрела в окно, как приближаются, смещаясь вдоль горизонта, дымы Харькова, и думала, какая она дура — даже не обменялись адресами.

— Были интересные люди? — с тайной надеждой спросила мать.

Лидия Павловна поняла скрытый смысл вопроса и сухо объяснила, в какой комнате жила, сколько в ней было женщин, как кормили и какие были экскурсии...

Мать вздохнула.

Прошло не больше месяца, Лидия Павловна шла на работе по коридору — нет, не месяц, это было всего неделю спустя — и вдруг столкнулась с Григорием Борисовичем. Оба растерялись.

— Вот, возвращаюсь из дома отдыха, говорят — командировка. Я согласился... — торопливо сказал он и заулыбался.

Он умолчал о том, что в командировку должен был ехать другой и что пришлось долго упрашивать, чтобы послали именно его.

— Вы надолго? — стараясь не смотреть ему в глаза, спросила Лидия Павловна.

Григорий Борисович ответил неопределенно.

— Что ты все время выходишь из комнаты? — спросила подруга, которая работала за соседним столом.

— Разве?

Встретились снова, когда рабочий день уже шел к концу. Лидия Павловна заметила, какой у Григория Борисовича обескураженный вид.

— Как у вас с гостиницей, — догадалась спросить она.

— М-м... обещали, — покраснел, и она поняла: что-то сорвалось.

— Подождите, я сейчас.

— Мама, ты разрешишь? — Звонила из чужого кабинета, пугаясь и понижая голос. — У нас остановится... один... в общем — сослуживец... Ему не заказали гостиницу.

Мать ответила:

— Конечно. — Сказав, опустила трубку на рычаг и прошептала: — Ну наконец-то.

Пришли поздно. Ужинали втроем на кухне, после телевизора (фильм смотрели в голубом маленьком, величиной с почтовую карточку, экране) мать спросила:

— Где положим гостя?

Лидия Павловна торопливо сказала:

— У отца.

Это значило: в столовой будет мать, в следующей, маленькой тупиковой, — Лида, комнату на отшибе, ря-

дом с кухней, кабинет покойного отца, займет Григорий Борисович.

Настала ночь. Лидия Павловна лежала, запрокинув лицо, устремив невидящие глаза в черную глубину потолка. За дверью ворочалась мать. Убыстряя ход, стучали стенные часы. У Лидии Павловны задрожали руки, она с отчаянием подумала: «Что же делать?..»

Начало бить полночь. Лидия Павловна стала считать удары — четырнадцать, а часы все продолжали бить, осторожно скрипнула кровать — мать тоже не могла заснуть.

В десяти шагах от Лидии Павловны, в комнате, полной душного, липкого воздуха, лежал с широко раскрытыми глазами и часто бьющимся сердцем Григорий Борисович. И ему часы, не останавливаясь, пробили странное число ударов, и он тоже, пугаясь, подумал: «Никогда не смогу».

Мать лежала, прижав к сухой груди ладони, ожидая, когда скрипнет дверь, когда в комнату осторожно войдет Лида, и тогда она не сможет притвориться спящей, спросит: «Ты куда?», а Лида шепотом ответит: «На кухню, я хочу пить». Она сделает вид, что верит, Лида пройдет покачиваясь, и случится то, чего они ждали уже много лет.

Наконец ожидание стало мукой, Лидия Павловна спустила ноги с кровати, с отвращением подумала о себе: «Как потаскуха» — и сделала шаг к двери. Но тут в столовой послышались осторожные шаги, дверь приоткрылась и на пороге показался кто-то в белом. Лидия Павловна метнулась, упала на постель, задыхаясь, до боли зажимая пальцами рот, чтобы не закричать, замерла. Дверь закрылась. Это вставала и подходила мать.

Когда Лидия Павловна проснулась, комната была наполнена рыхлым желтым светом.

Встали с головной болью, за столом избегали смотреть друг на друга. Вечером Лидия Павловна нашла в себе силы проводить Григория Борисовича на вокзал, там не заплакала, а, словно окаменев, кивала всему, что он говорил, сухо пожала на прощание руку и долго с ненавистью смотрела вслед поезду.

Мать тоже никогда не напоминала об этой ночи, ни разу не упрекнула и умерла, бросив Лиду одну.

Осень выпала ветреная. Таня до обеда сидела в бараке, потом обходила один строящийся дом за другим.

Если шел дождь, набрасывала на голову пластиковую накидку и отправлялась в путешествие по лесам, которыми обросли дома, развешивала на крючках в плотную к сырым бетонным стенам электрические датчики, ставила к ногам их батареи, барограф, определяла с помощью пружинного анемометра ветер и приступала к измерению влажности. Для этого приходилось держать на весу тяжелый прибор — в нем было два термометра. Таня мочила в воде батистовую тряпочку, обворачивала ею конец одного термометра, заводила пружину, и поющая вертушка обдувала стекло. Потом она замечала показания мокрого и сухого термометров, укладывала прибор в ящик и, присев на корточки, записывала шариковой ручкой все показания в клеенчатую тетрадь. Лидия Павловна требовала, чтобы записи были сделаны аккуратно.

Зимой стало еще хуже.

Особенно запомнился день в декабре. Скользя, срываясь с заснеженных ледяных досок, вскарабкалась на третий этаж — выше стройка еще не пошла, — положила на бетонный срез тетрадь, сдернула рукавицу и, подув на озябшие пальцы, подняла над головой анемометр. Вертушка запела, закружилась, рука сразу смерзлась с черной ледяной пластмассой и сделалась неживой. Ветер мотал над Таниной головой лампочку, черные и желтые тени прыгали по циферблату, слезы мешали увидеть, как бежит секундная стрелка. Таня опустила руку, посмотрела на циферблат и, шепча деревянными губами отсчет, полезла вниз.

Проходя второй этаж, поскользнулась, больно ударилась локтем о железную стойку и упала. Падая, успела прижать анемометр к груди, до крови расцарапала ладонь, потеряла рукавицу и, лежа на оледенелых досках, от бессилия и обиды заплакала.

Именно в это время она увидела мать. Та была одета легко, в белом платье, и стояла под лесами в желтом круге от фонаря около угла дома. Она смотрела на Таню, запрокинув лицо, снизу вверх, и качала головой.

Полежав, Таня поднялась, спустилась с лесов, хотела подойти к маме и пожаловаться, но той уже не было. Желтый круг от фонаря прыгал по снегу — ветер тряс фонарь, — вверху что-то хлопало и стучало. Таня, проваливаясь по колено в снег, обошла дом и побежала в вагончик. Только там, записывая карандашом в зеленую тетрадь силу ветра, удивилась: откуда здесь мать? Не было никакой матери.

В отдел Борисов пришел в начале осени. В Москве было солнечно, по воздуху летали выпущенные пауками белые нити, краснела листва.

Борисов всем понравился — немногословен, вежлив, все понимает. Однажды он подошел к столу Викентия Николаевича и, стесняясь, сказал, что пробует писать диссертацию.

— Это вы о чем? — удивился Викентий Николаевич.

— Затвердевание бетона.

— Ну что ж, очень хорошо...

Борисов стоял прямо против окна, освещенный дневным светом, в хорошо подобранном к рубашке пестром галстуке.

«Да, да, теперь все торопятся», — подумал Викентий Николаевич.

Квартира, где он жил, большая, трехкомнатная, в старом московском доходном доме, принадлежала когда-то профессору, знатоку восточной медицины. Вдоль стен стояли тесно, рядами, шкафы, полные пухлых, переплетенных в кожу с золотом книг. Шкафы были опечатаны, красный сургуч от времени почернел. Квартира охранялась государством, и Викентий Николаевич дал подписку выехать из нее по первому требованию. Но выселение год за годом откладывалось, книги никто не соглашался взять. Викентий Николаевич приходил вечером в пустые темные комнаты, включал свет, разогревал чайник, садился в глубокое кресло и думал.

В тот год Таня встретила Сашку.

Отца Сашка не знал. Какое-то время мать его работала на Урале, на строительстве большого завода, посудомойкой. Женщин на стройке было мало, жизнь казалась легкой и веселой. Забеременела она от женатого человека, с которым была в случайной связи. Махнув на него рукой, взяла расчет и возвратилась в деревню, чтобы там бездумно, как все, что она делала, родить...

Места, окружавшие деревню, славились змеями. В лесу, между латунными соснами, на пыльных серых тропинках лежали медянки, тусклые, похожие на изогнутые сосновые сучки. В болотах и по берегам узкой извилистой зеленой речки водились ужи. При приближении человека ужи бесшумно скользили, стремясь достичь воды, или забирались в ольшаник и там висели на ветвях как металлические пружины, покачиваясь,

сокращаясь, поводя из стороны в сторону пестрыми головками. В глаза человеку уж и смотрели не мигая.

И наконец, в речной пойме, в прохладной сырой траве, водились гадюки. Сашка встречал их по вечерам. Гадюки были черные, с едва различимым серым узором на спине, и светлые, почти песчаные, с густым коричневым зигзагом.

Заметив гадюку, он поднимал принесенную из дому палку, в два прыжка догонял змею и прижимал ее к земле. Вращая, накатывал палку на голову, а потом, взяв двумя пальцами за шею, поднимал и бежал с ней в деревню,— змеиная пасть разъявлена, раздвоенный язык вывален, белые тонкие зубы обнажены. Сашка бежал со змеей, бабы визжали, следом с гиканьем неслись пацаны. Змея быстро слабела, внутри блестящего обессилевшего тела с хрустом разбегались позвонки, во рту появлялась кровавая пена. Набегавшись, Сашка бросал змею на землю и начинал ее бить. Кто-то сказал ему, что неумершая змея приползает ночью в дом и ищет обидчика,— в каждый удар он вкладывал страх.

Запомнилась служба в армии. Служил Сашка в авиации, на аэродромах, шоферил и любил работу за то, что в ней было много воздуха, много простора, много ветра. Аэродром, степь до горизонта, пыльные грунтовые дороги, свободные минуты в кабине или на ватнике у колеса «КрАЗа», высоченного и теплого, нагретого за день солнцем.

Сашка любил, свернув с дороги в степь, лежать, прикрыв пилоткой глаза, и бездумно смотреть в небо, высокое и прозрачное. Рядом играет приемничек: биг-да-биг-да-да...

Однажды зимой их перебросили на Север, морозы завернули до сорока, с ветром. Он отморозил кожу на щеках и большой палец ноги: через подшитые валенки мороз бил огнем. Спасались так: пригнав бензозаправщик на летное поле, протягивали от спецмашины рукав, прогревающий моторы, и в кабину густым потоком врывалась жара,— сбрасывали гимнастерки и сидели на диванчике полуголые, липкие от пота, глупея от тепла и блаженства.

Так и промелькнула его служба: ночные выезды, караул, степное, безмерной высоты небо, зимние холода и одуряющая жара в кабине. Гоняли его много, и эти бесконечно длинные поездки сделали из него шофера хваткого, резкого.

После демобилизации он попал в Ленинград.

Таня познакомилась с ним на субботнике, когда ездили убирать морковь. Прислали автобус (туда забрались пожилые) и два грузовика со скамейками. Беловолосый парень («Совсем мальчишка!» — успела подумать Таня) крикнул ей из кабины:

— Давай! — и распахнул дверцу.

— Доеду! — Она улыбнулась и легко с заднего скамья перевалилась через борт в кузов.

Сидели тесно, было тряско, тепло, пели песни. Машины после шумных городских улиц и широкого, тоже переполненного автомобилями шоссе свернули на проселок и, раскачиваясь с борта на борт, как корабли, поплыли среди плоских зелено-коричневых полей. Их ждали, кто-то уже развез и разбросал кучками по полю ящики, два совхозных бригадира показали участки, все разошлись, и Таня, нагнувшись, выдернула из влажной рыхловатой земли за зеленый хвост первую тяжелую кирпичного цвета морковь.

С непривычки быстро заболела спина, но Таня продолжала все нагибаться, наполняя свой ящик. Рядом работала Лидия Павловна, она работала в перчатках, белых, нитяных (окончив работать — выбросила), волосы у нее были собраны в узел и закрыты марлевой косынкой, работала, поджав губы, тщательно, так же, как проверяла Танины записи или как, обходя стройку, брала пробы.

Боль в пояснице прошла. Таня наполняла уже шестой ящик, когда сзади заурчал грузовик, кто-то крикнул, чтобы наполненные ящики сносили к дороге.

В кабине машины сидел все тот же парень. Он улыбнулся Тане как старой знакомой и, когда сказали, что нужны два человека — разгружать, ответил:

— Мы с ней разгрузим.

Таня успела только охнуть, втащил ее за руку в кабину, машина качнулась, перевалила через рытвину и, ревя, громяхая кузовом, двинулась по разбитой дороге к центральной усадьбе.

Парень молчал, ловко вертел руль, — это Тане понравилось, — когда приехали, поставил машину около овощехранилища и сам начал носить ящики. Таня стояла в кузове и только подталкивала их. Им оставалось сгрузить всего два ящика, когда пришел бригадир и крикнул, чтобы шофер ехал за тарой.

Рабочий день кончался, к овощехранилищу понемногу собирались люди. В поле за усадьбой сели на траву, откуда-то принесли много медных чайников с

кипятком, включили транзисторы. День был не по-осеннему теплый, земля сухой. Таня легла, забросила руки за голову и стала смотреть, как тают в небе рыхлые, кудрявые облака. Они медленно двигались, прозрачные края их меняли очертания, и Таня скоро научилась угадывать, каким станет через минуту облако. Но мало-помалу она поняла, что облака не только тают, но в каких-то своих частях и растут, образуются заново, части их складываются. Все небо находилось в движении.

Незаметно она заснула, а когда проснулась, то увидела, что ноги ее укрыты ватником, а рядом сидит беловолосый.

Когда стали собираться, она уже сама подошла к его кабине, и он было снова распахнул дверцу, но подковыляла пожилая учетчица (Таня часто видела ее на работах нулевого цикла), — пришлось отойти, а парень, закрывая дверь, развел руками и изо всех сил вздохнул.

— Сашка, давай двигай! — крикнули ему.

Парень нажал на стартер. Таня, которая уже стояла на скате, ойкнула и быстро перевалилась через борт.

Она сидела снова в середине скамейки, тесно сжатая, дремала, слушала, как выводят высокие женские голоса чистую песню, как гремит на ухабах кузов и как тонко урчит мотор. Потом пошел асфальт, стемнело, веселые освещенные окна длинными полосами летели по обеим сторонам, заурчал, загрохотал железнодорожный мост. Выехали на большую улицу, освещенную огнями фонарей и реклам. На углу у светофора и магазина машина остановилась. Мимо рекламы шел человек, он был красный, лиловый, синий. Человек прошел магазин и стал черным. Переключили светофор — машина тронулась. «Как хорошо!» — подумала Таня, вспомнив сегодняшний день, и пожалела, что, кроме нескольких ничего не значащих фраз, не обменялась с Сашкой ни словом.

В следующий раз они встретились на стройплощадке. Таня шла с тетрадью и анемометром, а Сашка стоял около своей машины прямо на дороге. Кивнули друг другу как добрые знакомые.

— Контора пишет? — спросил Сашка.

— Не контора, а лаборатория, и не пишет, а замеряет.

— А это что за игрушка?

Таня дала ему подержать анемометр. Сашка дунул изо всех сил, черные чашечки тонко запели.

— Ты что? Сломаешь!

— А чего я тебя никогда не вижу? На танцы ходишь?

— Стара.—Таня посмотрела на открытое, ясное Сашкино лицо, на копну белых мягких волос и подумала, что он младше ее.— А потом, я детей не развращаю.

— Ну, ты даешь...— Сашка попробовал говорить грубо, но закончил просительно: — Сегодня в Клубе пиццевиков итальянский фильм. Ты как?

Если бы фильм был и не итальянским, Таня все равно бы не отказала. Она посмотрела на Сашкину растегнутую рубашку, протянула руку, нащупала — пуговица была на месте, застегнула и сказала:

— Приду в восемь.

Фильм им не понравился.

После сеанса они пошли домой в общежитие кружным путем, через Неву. За чугунными прозрачными решетками дымила река. Опрокинутые в воду дома лежали рассыпанной колодой карт, вода текла между ними белая, как молоко.

Их обогнал самосвал, рубчатые плотные колеса подрагивали, выхлопная труба подпрыгивала, из нее на асфальт падали черные лепешки дыма.

— Во дает! — сказал Сашка. Он хотел сказать, что глушитель сейчас отвалится.— Ты одна пашешь?

Таня поняла, что он спрашивает про работу, про замеры.

— Одна.

Она подошла к перилам. Вверху было небо, желтое, с зеленой закатной полосой.

Когда Таня жила у отца на острове, над озером однажды летели большие белые птицы. Они легли на север. Таня вышла на берег и увидела в небе зеленое зарево, оно разгорелось, обняло полнеба и затем, задрожав, стало гаснуть.

— Что это? — спросила она у отца.

— Это северное сияние,— ответил отец.— Оно далеко от нас, но это очень сильное северное сияние, и мы видим его отблески.

Таня смотрела под мост, зеленая полоса змеилась не уплывая.

— Что ты там увидела?

Таня начала было про отца, про тот вечер, запуталась и замолчала.

— Чудачка! Это пленка. Масло сливают, понимаешь? Вот и все.

Прошел еще один самосвал. Сашка сплюнул.

— Ни за что бы не пошел на дизель,— сказал он.— У меня от него голова болит. То ли дело бензин.

— А я говорю — это северное сияние, дурачок,— ласково сказала Таня.

Потом, вспоминая эту ночь, она поняла, что именно тогда потянулась к Сашке — должно быть, устала быть одна.

С ранних лет это пугало. Девочка чувствовала, как надвигается беспощадная зрелость, слышала разговоры матери с сестрами, разговоры становились все более странными, слышала часто упоминавшееся в семье имя бабки. Таня недоумевала, что бы могло значить вскользь брошенное замечание матери, что все трое бабкиных мужей умерли от любви и что именно это заставило бабушку бросить большой и благополучный дом и уехать из портового города, чтобы провести остаток жизни одной в маленьком поселке на степном восточном берегу Крыма.

Бабкин портрет стоял на комоде. Это была маленькая овальная картина маслом, написанная тонкой кистью, ее написал, как говорила мать, нищий художник-грек, которого последний бабкин муж — капитан парохода — подобрал перед революцией на улице Константинополя и привез в Одессу. В Константинополе у грека осталась семья — жена и девять детей. Он ходил по прозрачным одесским улицам, весь засыпанный желтыми лепестками акаций, и вздыхал. Закончив портрет и получив деньги, в тот же день сел на пароход и отплыл. Пароход утонул на виду всей Одессы от взрыва котла.

Закрыв глаза, Таня видела себя в толпе провожающих, видела белые обрывистые берега, мол, покрытый людьми и черными раковинами, и легкое облако пара над тем местом, где только что было судно.

Она долго боялась мужчин. Во время одной из поездок они с матерью остановились в случайной гостинице. Девочка устала, мать положила ее в постель, а сама ушла по делам.

Номер был большой, неустроенный, замок не работал, лампочка под потолком горела вполсилы, с тусклых обоев облетала пыль, из пробитой у косяка двери

дуло. Таня лежала вытянувшись, сжав худенькие твердые коленки, натянув жесткое одеяло на лицо. Засыпая, она опустила руку в щель между стеной и кроватью и вдруг почувствовала, как ее кисть плотно обхватила тяжелая мужская рука. Рука стала медленно подниматься по предплечью вверх. Таня закричала, вскочила, выбежала в коридор, без памяти бросилась вниз по лестнице. Навстречу ей уже бежала мать, на площадке между этажами собралась толпа. От Тани долго не могли ничего добиться, потом пошли обыскивать номер. Под кроватью никого не оказалось.

Еще до этого, в школе, она подслушала разговор двух мальчишек. Они стояли в коридоре за углом, около уборной, кашляли в кулак — должно быть, курили.

— Братуха мне про баб все-все рассказывал, — сказал один. — Не веришь?

— Ну? — ответил второй.

— Что от них умереть-можно, слышал?

— Врешь!

— Не вру. У них внутри электричество. Вот так... Съел?

Оба замолчали, пораженные, а Таня почувствовала, как у нее останавливается сердце, и бросилась бежать, стуча каблучками, не думая, что ее могут догнать и отлупить.

Однажды она проснулась посреди ночи. Из комнаты, где спали сестра с мужем, доносились непонятные и осторожные звуки. Таня приподняла с подушки голову. Дверь в сад была приоткрыта, и звуки, доносившиеся из комнаты, мешались с равномерным поскрипыванием деревьев, шорохом камней на берегу и задыхающимся бормотанием ночных птиц. Потом сестра застонала, но это был не тот стон, который издает больной человек, а какой-то другой, Тане неизвестный. Наступила тишина. Таня лежала, закусив угол подушки, напряженно вслушиваясь. И тогда в комнату вошел запах влажных морских камней. Муж сестры встал, тяжело шагая босыми ногами, вышел на кухню, чиркнула спичка. Мало-помалу дом наполнился табачным дымком, и он вытеснил этот тревожный сырой запах.

С Сашкой теперь они встречались каждый день.

Только что кончился дождь, с Невы дул ветер, на крышах домов стучало железо. Над Петроградской стороной летали, как зеленые шары, деревья.

Сашка с Таней стояли в зоопарке около вольера. Напротив, у пустой клетки, сидела женщина и прижимала к глазам платок. Таня подумала: отчего она плачет? Посреди клетки чернел небольшой бассейн. В углу была пристроена будка. Таня присмотрелась — в будке никто не шевелился, клетка была пуста. Месяц назад Таня приходила сюда — тогда на табличке, прикрепленной к проволочной сетке, было написано: «Пингвин». Птица ходила, переваливаясь, поводя плечами, черный, в обтяжку, фрак был ей узок, она косила красным, скорее оранжевым, глазом, перламутровое брюшко поблескивало.

— Смотри, Саш,— сказала Таня,— я помню, там был пингвин. А женщина плачет. С чего бы это, а?

— Значит, ее пингвин. Подарила зоопарку, а он сдох.

Таня подивилась такому выводу, но женщина встала, подошла к ним и действительно сказала:

— Вы не поверите, как жалко: я подарила парку пингвина, а он и двух месяцев не прожил.

— Откуда он у вас?

— Муж на корабле привез. В тропиках и то с ним ничего не случилось. Мороженую рыбу ел. У нас дома в ванной жил. Но очень сильный запах. Это я настояла — муж был против. Они обещали за ним смотреть. Им часто пингинов дарят, но теперь я узнала — не выживают: в Северном полушарии мало кислорода.

Про кислород она сказала жалобно, Сашка фыркнул, женщина постояла, наклонилась к Тане, сказала:

— Время идет все быстрее, как жалы! — и пошла прочь.

Шпиль Петропавловской крепости вспыхнул, обуглился и погас. Начало смеркаться. Женщина отдалась. Она была старенькая, худенькая, вся в черном, — должно быть, у нее подряд случилось несколько несчастий.

Сашка оглянулся — поблизости никого, — обнял Таню за плечи. Она подставила щеку.

— Ну, чего ты? — удивился он. — Жалко?

— Закрой глаза, я сама.

Послышался вздрагивающий звук колокольчика — по аллее шел сторож.

— Давайте, молодежь.

Сашка попробовал спорить.

— Ну зачем ты? — сказала Таня.

Они пошли по аллее вслед за женщиной. Сашка про-

сунул руку под локоть, а потом обнял. Они шли к выходу. Синяя вода вечера стекала с крыш. Крыши домов светились.

— Слышь, Тань, завтра воскресенье, давай махнем за город.

— Хочешь в Саблино?

— А что там?

— Пещеры, водопад.

— Давай. На Московском, в девять, идет?

Таня пришла на вокзал в ситцевом, на пуговках, платье. Сашка крикнул:

— Две минуты осталось!

— А билеты ты купил?

— Сработано!

Они вскочили в вагон, когда двери уже закрывались. В тамбуре было много народу. Их прижали друг к другу. Таня чувствовала Сашкино круглое, бугристое, теплое плечо, прижалась к нему щекой и замерла. Кругом шумели, у самого пола двигали корзину с чем-то колючим, кто-то закурил. Таня закашлялась. Сашка сказал через плечо:

— Ну? Обязательно?

В ответ лениво ругнулись.

Вагон качало. На остановках шумно, с трудом, со вздохом открывались двери, люди еще продолжали входить, ссорились, кричали: «Ведь можно еще! Потеснитесь!» Толпа раскачивалась. Таню то прижимало к Сашке, и она, зарывшись носом в его рубашку, жадно втягивала запах чистого полотна, молодого тела, то становилось просторнее, и она тогда выпрямлялась виновато улыбаясь, и поправляла волосы.

Потом в вагоне стало свободно, люди из тамбура ушли, но Таня и Сашка по-прежнему стояли близко, и, когда поезд качало, Таня хваталась за Сашку, а тот осторожно клал ей руку на спину.

— Наша следующая.— И, когда поезд остановился, первой выпрыгнула на перрон. За спиной чавкнули двери, тонко заныл мотор. Поднимая ветер, поезд умчался. Таня испугалась, что Сашка не успел выскочить, оглянулась — он был тут.

Они остались на платформе одни. Одинокая будочка посреди зеленого разлива: молодой лес — ольха, березняк — подходил к самой станции. Спустились с платформы и пошли грунтовой дорогой. Две колеи, пробитые в траве, по сторонам иван-чай — фиолетовые цветы как брызги, красные узкие листья.

Дорога сделалась влажной — колеи опустились, в них заблестела вода. Таня сняла босоножки и, помахивая ими, пошла, наступая пятками на сучки, давя острые корневища и корочки сухой грязи. Потом вода, выйдя из колеи, превратилась в большую лужу, справа и слева запузырилась, забормотала ржавая зыбкая грязь.

— Я тебя перенесу, — сказал Сашка.

Таня подождала, когда он скинет ботинки, засучит брючины, забросила ему руки на шею, тесно прижалась животом к спине и, чувствуя, что сползает, замерла. Сашка сделал два шага, уронил ее, она попала ногами в лужу, разбрызгивая черную теплую грязь, хохоча, убежала на сухое место.

Наконец впереди, за кустами, послышался шум.

— Вот и водопад!

Широкую открытую поляну пересекал овраг, в нем пенился неглубокий, каменистый — красное дно — ручей. Посреди поляны овраг менял глубину, ручей с размаху падал, вызывая рев и кипение воды.

— Давай смотреть отсюда, тут хорошо, народу мало, я в прошлом году приезжала, — сказала Таня.

Она расстелила полотенце, легли рядом, и долго лежали, вслушиваясь в переливчатый, меняющий высоту шум воды.

— У нас в Крыму есть речки, которые исчезают под землей. Уйдет сначала в пещеру, а потом из нее в море.

Сашка блаженно сопел.

Солнце стояло высоко, редкие облака растаяли, стало тепло.

— Давай загорать. — Он остался в одних купальных, с якорьком на боку, трусах, лег на полотенце, вытянулся, спрятал лицо в мохнатую, ворсистую ткань. Таня полежала одна, полотенце было узкое, подвинулась ближе, протянула руку и тронула спутанные Сашкины волосы. Сашка повернулся на бок — глаза его были по-прежнему закрыты, — осторожно, на ощупь, нашел пуговичку на Танином платье, расстегнул. Потом его рука скользнула в сторону, платье распахнулось, но то, что открылось — белое, незагорелое тело, мягкая, матовая грудь, — не увидел.

Она не застонала и, когда Сашка, потный, взъерошенный, блаженно вытянув руки вдоль усталого сильного тела, сказал: «Ну, ты где?» — подумала: «Он ничего не заметил! Совсем ничего», — наклонилась над ним и стала часто-часто целовать в шею и плечи. Толь-

ко тогда Сашка открыл глаза, посмотрел, моргая, словно проснулся, приподнялся на локте, огляделся и фыркнул:

— Нас же могли увидеть. Ну, чудачка. Как же ты так?

— Ничего. Я сбегая к ручью. Ты не смотри.

Назад электричка шла полупустая, возвращаться людям в город было рано, встречные поезда еще шли переполненные. Сашка с Таней сидели на лавке обнявшись и целовались, не обращая внимания на женщину напротив, которая вязала и, поджав губы, неодобрительно посматривала на них.

«Он просто сделал вид, что не заметил,— думала Таня.— Он постеснялся, ничего, он добрый и ласковый. Все будет хорошо. Я хочу, чтобы все было хорошо».

Чемодан был фанерный, с железными уголками, с плетеной ручкой. Проводница сперва заметила из тамбура чемодан, а когда подошла к двери, увидела еще и парня с девушкой. На перроне людей было мало, слышно каждое слово.

— У нас в общежитии занавески вчера меняли,— сказала девушка.— Теперь у всех белые, как в казарме.

— Лидия твоя вышла?

— Завтра.

Под соседним вагоном возник резкий металлический стук.

— Красные выбросите, красные! Чего спишь?

Забрызганный нефтью и водой, перрон остывал. Красные лучи солнца скользили по нему, не нагревая. Бежали опоздавшие пассажиры. В руках они бережно, как цветы, держали билеты.

— Куда торопятся? Не видят — задержка.

Стук под вагоном прекратился. Выбросили желтые флажки.

— Сейчас зеленый дадут,— сказал парень и посмотрел на часы.— Опаздываем... Ну, Танюха, пока...

Девушка подвинулась к нему и обняла неловко за шею.

— Кончайте,— сказала проводница.

— Ну, чего ты? — сказал парень.— Я же на месяц. Приеду. Тип-топ.

Вздыхнув, отошли тормоза. Девушка всхлипнула.

— Кончаем прощаться, или что?

Поезд незаметно тронулся, парень, хромя, подхватил чемодан, бросил его в тамбур, неловко вскарабкался на подножку.

Когда вагон, огибая конец перрона, стал делать поворот, девушку снова стало видно — она искала, присев, потерянную босоножку.

Потом исчезли — девушка, перрон, вокзал, над вагоном пронесся, громяхая, мост с троллейбусами и людьми, поезд поднялся на насыпь — вниз побежали ряды окон, красные кирпичные дома, построенные у самого полотна. На одном доме висела реклама: улыбающаяся женщина, распахнув руки, несется по воздуху.

«Цирк!» — прочла, не вдумываясь, проводница, захлопнула дверь и пошла проверять билеты.

В купе сидели трое: старики — муж с женой — и парень. Фанерный чемодан лежал наверху.

— Кто тут до Воронежа? — спросила проводница.

— Я.

— За постель.

Он охотно полез в карман. В это время в коридоре простучали каблучки, в дверь протиснулась худенькая, беленькая, в вязаной кофточке девушка.

— Успела, думала, сердце выскочит!

— Ваш билет?

— Вот. Только у меня верхнее. — Девушка быстро, с прищуром, посмотрела на парня.

— О чем говорить! Ложитесь вниз, на мое.

Она улыбнулась и тут же попросила помочь спрятать под диван сумку.

«Ходовая», — решила проводница, хотела сказать, что у парня болит нога и что ему неудобно будет лезть наверх. «Черт с ними. Разберутся. Небось и рад», — подумала, забрала у девушки билет, рубль за постель и ушла.

Когда вечером она разносила чай, парень с девушкой стояли у окна, он держал руку в кармане, что-то рассказывал, а она откидывала голову, качая распущенными волосами, и говорила:

— Ну, как же это всю ночь не спать? Я так не могу, — и смеялась.

— А мне хоть бы что, — говорил парень, — я за баранкой могу две ночи не кемарить.

«Цирк», — вспомнила проводница и сухо спросила:

— Чай будете?

Поезд пролетал мимо синих, зеленых, красных огней, мимо переездов, шел, грохоча на стыках и мотая

из стороны в сторону сбитые, свинченные, полные стекла и голубого света вагоны.

Старики погасили лампы и стали ложиться.

Двое стояли по-прежнему у окна.

«Так и липнет», — подумала про девушку проводница. Вспомнила пьяницу-мужа, от которого год как ушла, но вместо ожесточения, зависти почувствовала только усталость, вернулась в купе, села на диванчик, уронила голову на руки и заснула.

Авария случилась зимой.

Сашку откомандировали на месяц в колонну, возить из Тихвина грузы. Той ночью он шел замыкающим, асфальт был запорошен сухим снегом, впереди качалось желтое зарево огней, в нем подпрыгивал слабо освещенный прицеп, который вела передняя «Колхида». На прицепе горели два красных. Сашка утверждал погом, что не кемарил и что сразу увидел, как красные огни увеличились и стали разъезжаться. Прицеп стремительно надвинулся. Он рванул тормоз и сбросил газ, прицеп уже висел горой. Лопнуло со звоном стекло, пронзительно закричало железо, передняя стенка кабины исчезла, руль вырвался из рук, подвернулась нога, возникла дикая боль. Через рухнувшее стекло в кабину ворвались холод и снег.

Таня узнала об этом на второй день. «Сашка убили!» — говорили в лаборатории женщины. У нее едва хватило сил простоять молча минуту и услышать, что он все-таки жив и лежит в железнодорожной больнице в Волхове. Бросилась на стройку искать Лидию Павловну. У Тани было такое лицо, что начальница, вопреки обыкновению, не стала спрашивать причин и отпустила Таню на сутки. Та полетела на вокзал и через четыре часа уже была в Волхове.

Железнодорожных больниц в городе оказалось две. Таня бегала между ними до тех пор, пока в одной наконец не разобрались и не сказали, что пострадавший находится в пятой палате. Таню ввели туда. Здесь лежали больные с переломами, их койки со сложной системой блоков и натянутыми веревками напоминали первые паровые машины.

Ее подвели к койке в дальнем углу. На кровати лежало что-то белое, длинное, без головы и без ног. Таня охнула и без сил опустилась на табурет.

Только придя в себя, она поняла, что это лежит человек под простыней.

Простыня пошевелилась, и из-под нее показалось Сашкино лицо. Таня прижалась губами к желтому жесткому полотну.

— Ну ладно, ладно, чего ты,— говорил Сашка.— Цел я. Осторожно гладь-то.

— Обманиваешь.

— Цел.

Таня не слушала, стояла на коленях, боясь убрать с простыни руки.

— Ноги помяло, через три дня, если снимки будут хорошие, сказали, выпишут.

Снимки оказались хорошими, ни одна кость не повреждена,— множественные ушибы и растяжение связок. На четвертый день Таня забрала Сашку, увезла в Ленинград. Он сразу же получил месяц отпуска и уехал к матери под Воронеж...

Из отпуска Сашка вернулся неожиданно, позвонил Тане на работу и сказал, что есть новости и что ждет ее в шесть на углу Садовой и Мучного.

Таня еле дождалась шести, из комнаты выскочила, едва не опрокинув стол Лидии Павловны, села на трамвай, от площади Мира шла быстро, задыхаясь.

Она загадала: сейчас из-за угла покажется Сашка. Он появился, неторопливо, не обращая внимания на встречающих, дошел до двери книжного магазина и исчез. Только тогда Таня поняла: никакого Сашки нет, просто был парень, одетый в такую же, как у Сашки, сорочку. Парни стали попадаться все чаще. Таня шла по улице, то и дело встречая Сашку.

Он ждал ее на углу Мучного.

— Трали-вали, а у меня секрет,— сказал он.— Дай пять.

— Как твоя нога?

— Ты загорела. На Неву ходила?

— На фундаментах с тетрадью загорала... А ну, пройдишь, пройдишь.

— Делаю сальто — гоп!

— Ты что, с ума сошел, целоваться на улице?

— Ну да, целоваться нельзя, а что другое... Вот в трамвае твоя Лидия. Смотрит и кусает стекло. Так у меня новости: у нас есть комната.

Таня нахмурилась:

— Это как?

— Так. Брат завербовался на Север с женой, комнату мне оставляют. На три года. Потом еще продлят.

— А у тебя есть брат?

— Есть.

— И ты мне это не говорил?

Потом они стояли посреди большой, неудобной, тесно заставленной новой мебелью комнаты — стенка, диван-кровать, двухспальная кровать, секретер, горка, софа, телевизор «Темп».

— Не верю, — растерянно говорила Таня.

— Шикарная пещера, а? — Сашка рассмеялся, бросился плашмя на софу, закинул за голову руки, стал прыгать, ударяя в пружины задом. — Соседей много, а так — ничего. Кидайся сюда, Тань.

— Я пойду на кухню посмотрю. Туалет близко, это плохо, слышно, шумит...

— Ванная общая, — сказала она, вернувшись. — Зато плита у каждого своя. Уехали — посуду оставили грязную.

— Я сказал им, что ты моя жена.

— Ну...

Ночью Таня проснулась от непривычного ощущения: у них комната! Не нужно сидеть в кино до гемноты, прятаться по чужим парадным, вечером расходиться по общежитиям.

Огромный дом ворочался, скрипел, не мог успокоиться, слышалось чавканье половиц, свист ветра на лестнице, человеческие голоса. Хлопнула и разразилась проклятиями дверь. Комната была переполнена звуками. Призрачный свет вливался в нее через незавешенное окно. Он падал на стену и рассыпался на разноцветные полосы: зеленые от люминесцентных, поднятых на столбы ламп, синие, красные от рекламы «гастронома», трехцветные от светофора, желтые от непогашенных на ночь огней трикотажной фабрики напротив.

Таня слушала, смотрела и чувствовала беспокойство: такой уют не мог быть прочен и долговечен, все это было зыбко, до поры...

Они жили без ссор. Таня приходила с работы, разогревала ужин, садилась за стол и ждала Сашку.

— Ты почему задержался? — спрашивала, если он приходил поздно. — Второй час. Кастрюля — на плите.

— Пригласили пластинки послушать. Такие диски! А что?

— Хотя бы позвонил.

Она не сердилась.

Засыпала не сразу, забиралась на подушку с ногами, подтягивала одеяло к груди и долго рассказывала про свое детство, любила вспоминать и часто пыталась вызвать такие же воспоминания у Сашки.

— Знаешь,— говорила она,— ведь семья у нас очень странная, сперва я этого не понимала: отец с нами почти не жил — то в одном месте, то в другом, иногда придет, иногда мы к нему, немного проживем — и обратно в Крым. Мать говорила: для того, чтобы не потерять дом, а я сейчас думаю: его что-то тяготило, что-то мешало жить с нами.

— Не любил — и все.

— Нет, любил. Всех троих любил — нас три сестры, а меня особенно. И мать любил, очень заботливый. Нет, тут что-то не то.

— Где он сейчас?

— Умер. Когда его из армии демобилизовали, он заболел и умер. Телеграмма пришла, а ехать поздно — ведь Дальний Восток. Он последний год служил в Приморье. А твой?

— Отец? А я про него ничего не помню. Я же рассказывал: мать на стройке познакомилась, прорабом он, что ли, был. Туда-сюда, ребеночек и получился. Вся биография. Я на мать не сержусь, она добрая, а вот отцу, если бы встретил, морду набил.

— Как это можно? Ты ведь ничего о нем не знаешь... Убери руку, не хочу.

Сашка руки не убирал.

— Какой же ты настойчивый, тебе главное — настоять на своем...

Как-то Сашка смотрел журнал.

— Слышь, Тань,— сказал он,— тут вроде как про нас с тобой! — И начал читать вслух про двух парижан, студента и парикмахершу, снимавших меблированную комнату.

Таня в тот день лазила с приборами на пятые этажи, по пути домой отстояла очередь за сосисками — не достала. Шутить не хотелось.

— Чем у них дело-то кончилось? — вяло спросила она.

— Выгнал студент парикмахершу.

— Вот-вот.

Она это сказала просто так, но печально.

Еду покупала она на свои деньги, мусорное ведро — помойка была далеко, во втором дворе,— выносила сама. Легкая их жизнь была легка только для Сашки,

Ничего этого она не сказала, но с этой ночи все больше стала чувствовать свое печальное превосходство в возрасте.

Однажды она полезла в шкаф и увидела брюки, узкие в коленках, расклешенные внизу, с вшитой по шву молнией.

— Это что? — спросила она. — Для клоуна?

Сашка лежал на кровати и смотрел спортивную передачу. Телек работал плохо: фигуры футболистов все время раздваивались, четыре десятка мужиков гоняли два мяча. Мячи были маленькие, как горошины.

— Твои?

— Ну что ты привязалась? Мои.

— Откуда?

— Купил.

— Такие не продаются.

— У парня.

— Зачем они тебе?

— В ансамбль записался.

Таня присела на край кровати и подперла рукой голову.

— Саша, — наконец сказала она, — ну что ты как квартирант? Ведь у меня может быть ребенок, а ты — танцы... Говорить не о чем? Ты хоть бы раз про работу спросил. У нас знаешь какие дела! Дома стали разваливаться! Такой скандал! Это же и тебя касается.

— Не очень.

— Из десяти пять треснули. Комиссию ждем. Из Москвы.

— Угловой!

Футболисты сгрудились на одной половине поля.

— Ничего тебе не интересно.

Как-то она решилась:

— Не получается у нас с тобой ничего, Саня.

Но Сашка захохотал и стал бороться. Кончилось поцелуями на влажном мху — они ездили в тот день за грибами. Стояла теплая осень. Таня лежала, опрокинутая навзничь, лицо у Сашкиного плеча, ухо — у грудной клетки, большой насос — его сердце — перекачивает кровь прямо в нее, подпрыгивает и вздувается кожа на висках... Какой там разговор!

Сашка приходил домой поздно, усталый, говорил — задержался на репетиции, от него иногда пахло вином, иногда дешевыми духами и пудрой. Таня думала: надо терпеть...

В конце зимы его позвали на рыбалку — ловить из-под льда зеленую рыбу-корюшку. И хотя он обещал Тане пойти в субботу вечером в кино, легко согласился, приволок откуда-то ящик, обитый сверху войлоком, долго восхищался, разглядывая укрепленные внутри спиртовку, ремень для стакана и держалки для ножа и вилки. Уехал в девять часов вечера.

Утром Сашка не приехал. Не приехал он ни к обеду, ни вечером. Таня испугалась, но вдруг поняла, что он вообще не сказал, когда будет.

Тогда она позвонила в гараж, и диспетчер недовольно сказала: Сашка на линии. Таня едва нашла трубкой рычаг, руки дрожали, во рту сделалось горько. Домой она не шла, а бежала, торопливо побросала вещи в чемодан, два оборота ключа, ключ — под коврик, скорее по лестнице вниз, только бы не встретить. «Не нужна ему семья, и я не нужна, никто не нужен. Все думала: вот-вот будет ребенок, Сашка изменится». Когда бежала по улице, что-то толкнуло: на столе остался открытый журнал — парижский студент выгоняет парикмахершу.

В общежитии койка ее была не занята, — комендантша в таких делах привыкла не торопиться. Календарь все еще висел на стене — белый пароход с красивыми туристками по-прежнему плыл мимо разноцветных лакированных берегов.

Она очень боялась встречи с Сашкой. Но когда эта встреча произошла — машина стояла на дороге около дома, Таня на лесах, — Сашка помахал только из кабины рукой: как, старуха, живешь?

А потом, уже месяц спустя, столкнувшись в коридоре около бухгалтерии — давали аванс, — с улыбочкой кивнул:

— Зашла бы когда, а?

Двадцати лет от роду Викентий Николаевич убил человека. Он жил тогда в Киеве, на окраине города, где узкая полоска белых мазанок лепилась к покатутому склону яра.

Комнату сдавал старик армянин, переселившийся на Украину из Турции. Он жил с женой, толстой, молчаливой, с большими, навывкате, глазами. Старики с утра уходили на базар, где держали ларек и торговали вином — его привозили из Одессы разбитные, низкорослые, черные, как жуки, молдаване.

По городу ползли тревожные слухи, на углах, около пивных, у трактиров, стояли кучками приказчики, лотошники, разорившиеся шулера, завсегдатаи толчка и бегов. Говорили громко, не стесняясь. Начинались грабежи.

Ночью в домах стали закрывать на ночь ставни. Гремели болты. Однажды, проходя по улице, Викентий Николаевич увидел сидящих во дворе вооруженных мужчин — это были самооборонцы. Им что-то горячо говорил молодой парень с курчавой темной бородкой.

В тот вечер он возвращался домой рано, на центральных улицах было необычно пустынно, магазины, несмотря на ранний час, закрыты.

Он спустился к Днепру и Слободским проходом, огородами, низом вышел на свою улицу. Здесь пахло дымом; прижимаясь к плетням, перебегали от дома к дому люди, из распахнутых окон сквозняком выносило клочки бумаги и пух перин. Посреди улицы лежал разбитый граммофон, смятая зелено-красная труба была обращена к небу, как раскрытый для крика рот, цветы на трубе казались кровью. Рядом лежал человек, он лежал вниз лицом и держал в руке ружье, человек был убит ударами в лицо и грудь, в курчавой бороде запутались комья грязи. В убитом Викентий Николаевич узнал парня-самооборонца, испуганно оглянувшись, взял из его рук ружье и пошел к дому. Дверь была распахнута. Изнутри слышалось осторожное царапанье. Какой-то человек стоял на коленях и один за другим выдвигал ящики комода. Пахло паленым и блевотиной. В углу, привязанный к стулу, сидел хозяин, голова его упала набок, из угла рта тянулась желтая струя, щека была в коричневых пятнах и саже, у ног стояла потухшая свеча. Викентий Николаевич понял: старика пытали, чтобы узнать, где спрятаны деньги. Его затрясло.

— Ты что? — дурным срывающимся голосом крикнул он.

Человек у комода вскочил, тщедушный человечек, с узким серым лицом и раскосыми глазами. Лицо изрыто оспой, череп порос редкими волосиками.

— А вот и сынок, стрелять пришел, — спокойно сказал он и, опустив руку, вытащил из-под комода топор.

Викентий Николаевич, пугаясь, увидел, что человек вовсе не тщедушен, а ладен, крепок и только мал ростом.

— Ты что?! Что? Я ему не сын, не сын! А ты — сволочь, ты сволочь! Вор, вор!

Он кричал, теряясь от ужаса, и шел на грабителя. Шел, забыв, что у него в руке ружье, держа его за дуло и волоча приклад по полу.

Человек отступил и спрятал руку с топором за спину. Он сделал шаг в сторону, норовя ударить сбоку, как рубят слабое дерево, но Викентий уже почувствовал в ладони холод железа и так же сбоку, без замаха, двумя руками ударил.

Удар получился мягким, угол приклада вошел в висок, человек уронил топор, запрокинул лицо, на губах показалась алая пена, он сел на пол, повалился на живот, ударился лбом. И тогда Викентий по-детски завыл, выбежал из дома и бросился что было мочи бежать. В руках он по-прежнему держал ружье, и поэтому встречные шарахались от него в стороны. Он бежал, позади с громом падали ставни, хлопали калитки и стоял тонкий бабий визг.

С Гроздецким Викентий Николаевич познакомился, когда после ранения лежал в госпитале на Урале.

Был снежный злой март, изредка уже проглядывало солнце. В такие дни сосульки за стеклами голубели, с них срывались звонкие капли, дымились прогретые жесткими весенними лучами окна. Потом снова ударял мороз, белая наледь покрывала стекла, в палате становилось темно, тонко выл ветер, начинались перебои с едой и теплом. Врачи, обходя палату, потирали красные потрескавшиеся руки.

Умер сосед, и в палате появился новый больной. Его привезли на каталке, он бредил, первый час пролежал в забытии, с закрытыми глазами, потом проснулся, страдальчески сморщился и, повернув голову к Викентию Николаевичу, спросил:

— Тебя куда?

Тот понял, что спрашивают о ранении и покачал головой:

— У меня язва.

— Операция была?

— Только что...

Может быть, между ними никогда и не возникла бы дружба, если бы Викентий Николаевич как-то не принес в палату подобранную в туалете с оторванной обложкой и вырванными страницами книгу.

— Откуда она у тебя? — Гроздецкий, сидя на койке, полистал, а потом неожиданно сказал: — Вот так.

Так и должен умирать художник. На острове, в океане, среди коричневых женщин, а не в больнице с уткой... Я ведь сам Строгановку кончал. Мечтал: кончится война, займусь витражами. Почему? Могу о витражах прочитать лекцию. Проходя через стекло, свет делается тяжелым. Он приобретает вес. И еще: когда стоишь перед витражом, обязательно чувствуешь ветер. Оттуда словно бы дует, там другой мир, там вечность.

Викентий Николаевич любил Репина, к картинам других, не похожих на Репина, художников был равнодушен.

— Твой Репин ел сено и рисовал чиновников,— сказал Гроздецкий.

— Зачем ты так о нем? А твоего художника знаменитым сделали тропики, только они — солнце и остров в океане.

— Ерунда, его остров — это воспоминание о грязной Панаме. Он весь оттуда: красно-коричневая глина и желтая после дождей река. Еще — кусочек синего неба. Его до сих пор не понимают. В институт к нам как-то пришел ученый, он говорил: «Ни один этнограф не возьмется проиллюстрировать книгу о Тихом океане его рисунками. Тропики — это нестерпимое солнце, невыносимый для глаз песок и зелень, от которой больно глазам, а где у него солнце и зелень?»

— Выходит, все, что он писал,— ложь?

— Нет. Это ученый — дурак. А художник... Он вышел из панамской коричневой, облепившей его сапоги грязи. После Панамы что-то случилось с его глазами. И потом — не ученым проверять картины. Мир искривлен, а первыми это заметили мы. Мы первыми поняли это.

— В масштабе человеческой жизни кривизной можно пренебречь. Тогда мир снова становится плоским.

— Пожалуй. Вот отчего сам я реалист. А он, — Гроздецкий постучал по книге,— он никогда не лгал. Хотя был актером, всю жизнь играл: то маляр, который расписывает харчевню в Бретони, то расклейщик афиш в Париже, мэтр, пророк. Маски, он их надевал и сбрасывал. Мечтал разбогатеть и прославиться, не разбогател, а прославился после смерти.

В углу палаты раздалась ругань. Кричали на неходячего больного.

— Убить его мало,— сказал кто-то.

Пришел санитар и вытащил из-под больного простыню.

— Форточку бы открыли,— сказал он.— Развели во-
нищу.

Викентий Николаевич отвернулся.

— Он был жесток,— продолжал Гроздецкий.— И потому все, кто писал о нем после его смерти, вынуждены были лгать. Но его успех не случаен. Картины, написанные на Мартинике и точно воспроизводившие пейзаж тропического острова, остались незамеченными, а полотна, созданные на Таити, в которых нет ничего точного, бессмертны. Чтобы написать их, не нужно было ездить так далеко. Яванка написана им в Париже, но от таитянок девушек ее отличает только кресло. Чтобы написать тихоокеанский цикл, не обязательно плыть через два океана, ты должен измениться сам.

— Под конец жизни он, кажется, ослеп?

— Нет. Не выдержало сердце. Кстати, не знаю, насколько ему были нужны глаза. Не все люди воспринимают мир зрением, я вот, например, на ощупь. Странно? Под конец жизни, когда так много знаешь, не обязательно быть зрячим.

Однажды — уже оба ходили — они вечером возвращались из кино в госпиталь. Идти в темноте по дощатым, стонущим под ногами тротуарам было опасно — держались середины дороги, где лежала сухая, разбитая машинами грязь. От черной бревенчатой стены дома отделились две тени.

— Дай закурить! — спросил хриплый, низкий, жесткий голос.

— Мы не курим.

— А ты подумай!

Викентий Николаевич растерялся.

— Я говорю, у нас нет.

Гроздецкий негромко спросил:

— Что, делать нечего?

— Махру, деньги, часы! — так же спокойно ответил кто-то невидимый.

В доме, около которого они стояли, зажгли свет. Окно вспыхнуло тускло, багрово, стало видно: перед ними — невысокого роста, в ватнике и кепке. Рядом второй — повыше, потоньше, в шинели или узком пальто. Лицо обоих были в тени.

— Знаешь что,— ласково сказал Гроздецкий,— давайте-ка по-хорошему — дуйте мимо.

— Он не понимает! — пискляво сказал высокий.

Второй поднял руку — в ней что-то блеснуло.

Викентий Николаевич отступил, и тогда из окна не-

ожиданно, красно грянул выстрел, невысокий выронил предмет из руки, захрипел и ткнулся лицом в грязь. Его напарник бросился прочь. Гроздецкий пошарил у земли и поднял оброненный бандитом нож.

— Бежим,— сказал он,— из дома выходят.

На крыльце распахнулась дверь, показалась голова солдата в пилотке, блеснуло дуло автомата.

— Во повезло, там патруль сидел с бабами,— выдохнул Гроздецкий. — Да быстрее ты беги, быстрее!

Оба потом любили вспоминать этот случай, Гроздецкий со смехом, а Викентий Николаевич с ужасом. Нож Гроздецкий отдал Викентию Николаевичу. Тот возил его с собой всю войну, а потом подарил американскому солдату в Германии.

Над городом Панама умирает коричневая заря. Над пыльными улицами стаями летают скворцы. Они устраиваются на ночлег. Дерево, в ветви которого влетела стая, звучит, как орган.

Поль вытащил из кармана записку и проверил адрес. Дом, который ему показали, оказался крошечной гостиницей.

— Она у себя в номере,— сказала толстая бронзовая мулатка, сидевшая за стойкой в баре.— Поднимитесь на второй этаж, пройдите в конец коридора, и третья дверь налево.

На стук ответил женский голос. Поль толкнул дверь и задохнулся от запаха духов. Спинной к окну, затаенному сеткой от moskitov, сидела в кресле-качалке женщина, освещенные низким солнцем красные волосы ее пылали.

— Вот,— сказал Поль и протянул посылку.

— Присядь.— Она вскрыла пакет, вытащила из него записку и стала читать.— Как ты нашел меня? Если бы ты знал, что тут о тебе написано! — И засмеялась.

Приятель, который вручил ему во Франции посылку, сказал: «Ты быстро договоришься с ней». Может быть, посылка была вообще лишь предлогом.

— Сядь же.

Он сел и вытянул тяжелые ноги.

— Тебе повезло, что ты попал ко мне. Можешь звать меня Лулу. Я пою здесь в театре. Только не подумай, что это и верно театр. Кабак. Тебе негде остановиться?

— Я приехал с другом. Его зовут Гастон. Он ждет меня на станции.

— Я поговорю с хозяином. Угловая коморка на этаже, кажется, освободилась. Хочешь выпить? Вечер у меня свободный...

Они гуляли по городу. Масляные фонари на набережной раскачивал бриз — ветер только что изменил направление и дул теперь с берега в море. Около лавчонки, где продавали бурую жидкость, разливая ее в глиняные кружки, дрались два негра. Они дрались молча, норовя ударить соперника в пах. Зрители стояли у стенки и не разнимали их.

— Не надо подходить, — сказала Лулу, — они увидят тебя и все накинутся. Думаешь устроиться на стройку? Канал принимает всех. Ты можешь даже стать бригадиром. Конечно, не сразу. Знаешь, сколько получает в неделю бригадир? За такие деньги мне надо драть горло целый месяц.

— Не прибедайся, здесь женщина может заработать сколько угодно.

— Если не заболит. Продержусь еще полгода, а потом дерну назад, в Марсель. Ты был когда-нибудь в Марселе?

Поль усмехнулся: в Марселе его поклялся зарезать сутенер. Вспоминать об этом не хотелось. Кроме сутенера там была еще женщина.

Они вернулись в гостиницу и поднялись на этаж. Дверь в номер была открыта.

— Опять сломали замок, — спокойно сказала Лулу, — и обшарили номер. Но у меня нечего взять, деньги я держу в банке, а драгоценности в ушах и на пальцах. Видишь, какой камень?

Она протянула руку. В полутьме засветился зеленым огнем перстень.

— Фальшивый. И эти тоже фальшивые. — Она тронула рукой подвески. — Все настоящее здесь надо прятать. Заходи, нечего тебе делать в вашей каморке. Пусть твой приятель спит один.

Поль стал раздеваться. Она сказала:

— Ну-ка, дай взглянуть на тебя. Да ты и верно красавчик. Письмо не врет. Что значит — молодой матрос. Не то что здешние морщинистые мачо¹. Иди сюда, только не торопись.

Через неделю она спросила:

¹ Мачо (жарг.) — мужчина, самец.

— Ну как, устроился? Взяли бригадиром?

Поль сидел в качалке, уронив руки так, что пальцы касались пола. Искушенные комарами и слепнями, плечи горели. Пошевелиться больно.

— Что же ты не отвечаешь?

— Нас взяли землекопами. Бригадиров тут хоть отбавляй. Все сошли с ума: говорят, скоро канал прикроют.

— Я тоже слышала, но не думала, что так скоро. — Лулу ругнулась по-испански, подошла к окну и долго смотрела через марлю на затихающую улицу. Посреди улицы, как коровий язык, лежала красная лужа. В ней отражался фонарь...

Через неделю она сказала:

— Знаешь, мне сделал предложение один богатый человек. У него семья в Новом Орлеане. А он тут один. Сам понимаешь — мне скоро возвращаться во Францию.

— Я все понимаю.

Он выбрался из постели, собрал брошенную на пол одежду и ушел.

Дверь в их каморку была открыта, из нее доносилось рычание — Гастон задыхался и ворочался во сне. В каморке была всего одна койка. Поль вышел на улицу. Напротив гостиницы росла раскидистая магнолия, кожистые глянцевые листья ее светились. С листьев редко, вразнобой пели лягушки. Каждая словно ударила гвоздем по колокольчику.

Он вспомнил последний рейс на военном корабле в северный порт Тромсе и поискал глазами Полярную. Звезда была еле видна. Она была крошечная и лежала на самом горизонте.

Он выругался.

Душная, влажная ночь наливает деревья водой. Они стоят вдоль набережной, как стаканы. По беленой в пятнах стене ползет геккон. Он осторожно переставляет лапы с круглыми серыми присосками. Геккон добирается до верха стены и осторожно переходит на потолок. Он висит над головой Поля, растопырив лапы и опустив хвост.

На столе горит свеча, она покачивает красную стрелку и роняет в глиняную плошку прозрачные капли. Поль пробует пальцем кончик грифеля, разглаживает ладонью лист бумаги и, держа карандаш наклонно, как резец, начинает писать.

«Деньги, которые ты получишь, продав мои оставленные дома работы, принадлежат детям,— пишет он.— Надеюсь, ты достаточно благоразумна, чтобы не трогать их. Как бы ни мала была сумма, это могучий рычаг, чтобы способствовать нашему воссоединению. Если когда-нибудь после всех испытаний я добьюсь успеха, нам надо воссоединиться. Но что принесешь ты мне — ад вместо семейного очага, повседневный разлад? Что обещаешь: любовь или ненависть? Завтра пускаюсь на поиски приключений со всем скарбом на спине и без гроша. Я страдаю оттого, что не могу выслать тебе денег. Деньги, которые ты получишь, продав мои работы, дадут тебе возможность дожидаться моего возвращения. Не упрекай меня за двухлетнюю беспечность. Я больше на тебя не сержусь... Поверь, тут ничего не стоит разбогатеть, живу на широкую ногу. Можешь спросить, тебе скажут: это отличное место. Это то, что мне надо...»

На полу, подоткнув под голову свернутые штаны, спит Гастон. Он спит, вздрагивая во сне, волосатая грудь поднимается и опадает. Сетка, которой затянуто окно, надувается пузырем. Поль ставит жирную точку и резко встает, голова едва не касается низкого потолка, испуганный геккон срывается с места и мчится наискосок в угол, а оттуда вниз, к полу. Заметив щель, он торопливо прячется в ней.

Что-то грохочет на крыше. Когда он был ребенком, они с матерью жили в Лиме. На крыше их дома поселился сумасшедший. Каждый владелец дома в Перу должен был тогда содержать сумасшедшего. «Не платить же нам налог на помешанных»,— говорил дядя. Они жили из милости в его доме. Ночью, когда сумасшедший бродил по крыше, тоже гремела черепица. Она гремела точно так же, как сейчас.

Над коричневыми водами реки Чагрес опускают зеленые головы деревья. Они стоят по колено в воде, ходульные корни, которыми деревья упираются в дно, подрагивают. В океане отлив, и течение в реке с каждой минутой усиливается. Лупоглазые серые крабы висят на деревьях, как яблоки.

— Опять нет паровика,— говорит Гастон. Поль кивает.

Каждое утро паровоз с огромной, раздутой, похожей на монгольфьер трубой тащит из Панамы к горам Кулебра три платформы с рабочими. Черные, красные, бе-

лые землекопы стоят на платформах, держась друг за друга. Подъезжая к горам, паровик уменьшает ход, через колосниковую решетку на шпалы сыплются красные угли. Не доезжая до разъезда, поезд останавливается, переругиваясь и сквернословя, бригада сваливается с платформ. Землекопы разбредаются по трассе, каждый отыскивает свою лопату. Лопаты торчат из красной земли, воткнутые, как ножи. Негр с Ямайки вполголоса затягивает печальную песню.

— Веселее! — кричит бригадир.

Он находит взглядом Поля с Гастоном и отворачивается: белый землекоп — это всегда неприятности. Что можно ожидать от человека, переплывшего океан для того, чтобы взять в руки лопату и начать перебрасывать красную глину со дна канала в тачку, ручки которой держит паршивый метис?

Поль находит свою лопату, натягивает потуже на голову соломенную с опущенными полями шляпу и поддевает тяжелый ком глины. Стучат лопаты, с хрустом ломая доску, проезжает тачка, над толпой землекопов начинается подниматься розовая пыль. В небе кружат две точки — два ястреба ауры. Около будки железнодорожного обходчика лежит покрытый полосатыми мухами труп лошади.

— Фляга у тебя? — спохватывается Поль.

Гастон кивает. Он хлопает себя по заду, как хлопают на конюшне жеребца.

— Чуть было не забыл, — говорит он. — Но до полудня нельзя, и еще надо отойти в кусты.

— Трус, — бормочет Поль. Руки у него начинают болеть уже после первого часа. Земля, тяжелая, как камень, срывается с лопаты. Солнце висит в небе гирей, зной нестерпим — сырой воздух можно резать, как глину. Дышать все труднее.

— Были бы эти горы повыше... — говорит Поль. Он воткнул лопату и говорит, глядя мимо Гастона.

— Ну и что? — Гастон достает из кармана грязный клетчатый платок и оттирает с лица пот.

— А то, что на высоте легче дышать. Ты был когда-нибудь в горах? В настоящих горах, не чета этим холмам.

— Был, — говорит Гастон. — Если бы горы были повыше, нам пришлось бы копать в два раза дольше.

За их спиной возникает бригадир.

— Опять разговариваете? — говорит он. — Кто у вас третий с тачкой?.. Этот не пойдет, такому дохляку чем

реже вы наполняете тачку, тем лучше...— Он приводит здорового негра и на ломаном испанском говорит ему, что будет теперь сам считать, сколько тачек он с этими двумя франками выкатит сегодня наверх. Негр испуганно кивает. Губы у него искусаны москитами и в шишках.

В полдень над трассой разносится тонкий звон — бьют молотком в рельс. Красные, черные, белые тела текут ручейками наверх, каждый волочит свою тень. Красные и черные босые ноги топчут тени.

— Пошли! — говорит Поль, они с Гастоном отделяются от потока людей и, перебравшись через рельсы, забираются в кусты. Гастон достает из заднего кармана плоскую фляжку, отвинчивает пробку и делает глоток.

— Держи! — Его рука повисает в воздухе. Из-за спины у Поля снова выходит бригадир. Он протягивает ладонь, и Гастон, растерявшись, кладет на нее фляжку. Бригадир швыряет ее на землю и плющит кованым каблуком. Коричневая лужа растекается по земле, Гастон бросается к Полю и обхватывает его руками.

— Пусти! — хрипит Поль.

Бригадир недобро смотрит на него, поворачивается и вразвалку начинает уходить. Он уходит медленно, ломая кусты и приминая траву.

— Сволочь, подонок, — хрипит Поль. — Я бы убил его.

— Дурак. Убил и пошел бы под суд. И я с тобой заодно.

В воздухе снова повисает тонкий рельсовый звон.

Красные и черные ручейки текут теперь вниз, на дно канала. Красноголовые ястребы опускаются пониже. Они делают круги над дурно пахнущей толпой, над блестящими, вытянутыми в две сверкающих нитки рельсами и над трупом павшей лошади.

На дне канала начинают мелькать лопаты. Впереди еще шесть часов работы.

— Все здесь говно и грязь, — говорит Поль, — зря мы приехали сюда. Эй, ты, негр, ты можешь катать свою тачку помедленнее? Это я тебе говорю. Сломай у нее колесо!

В трактире плавает синий дым, он облаком скапливается под потолком, и, когда оттуда, с пропитанных влагою человеческих испарений досок, падают мутные вонючие капли, кажется, что идет дождь.

Пьют самогон из кокосового сока и гнилых апельсинов. Между столиками расхаживает нищий, он терпеливо ждет, когда компания рассчитается, и тогда сливает в кружку опивки. У него подергиваются руки и закатываются глаза — к утру его свалит приступ малярии.

Поль и Гастон сидят у стены, еще один стул за их столом не занят.

— Вчера на участке, севернее нашего, начали увольнение,— говорит Поль.— Я думаю, скоро доберутся и до нас.

— У тебя здесь ведь есть родственник,— отвечает Гастон.— Он обещал тебе.

— Работу? За то, чтобы я мог жить в его доме. Он не собирается платить мне ни гроша.

— Дурак, что ты бросил биржу. У тебя ведь неплохо получалось. Всё твои картины.

— Что ты в них понимаешь.

В трактир входит мужчина, одетый в рубашку, на которой неразборчиво написан краской от руки какой-то знак. Такими знаками клеймят коров. Кожаные штаны на нем скрипят. Трактир замолкает. Мужчина идет между столиками, и все слушают скрип его шагов. Мужчина подходит к столу, за которым сидят Поль и Гастон, и усаживается на свободный стул. Индеец, который в трактире получает деньги, выходит из-за стойки и приносит стакан рома.

— Есть свинина и есть картофель, господин,— говорит он.

— Ладно, иди.

Поль наклоняется к Гастону и начинает рассказывать, как он предложил родственнику основать небольшое дело у мальгашей. Тропики — это то, что нужно, везде дешевые рыба и фрукты и везде хорошо идут любые товары.

— А зять заартачился,— говорит Поль,— у него здесь магазин, но не похоже, чтобы он процветал. Скряга, каких мало. Вчера я выклянчил у него паршивый костюм и продал его перекупщику. Это все, чем он помог мне.

Их сосед делает знак, и индеец приносит еще стакан.

— Вам лучше отсечь,— шепчет индеец, когда сосед уходит на улицу,— сейчас он вернется. Это вакеро, погонщик скота. Он каждый раз затевает здесь драку. У него умерла от желтой лихорадки жена. Он приходит сюда, чтобы подраться.

Погонщик возвращается, снова идет между столиками, непослушными пальцами застегивает ширинку, садится за стол и кладет на них локти.

— Выпьем, приятель, всем нам плохо,— говорит Поль и наливает ему полстакана.

Они пьют втроем, а между тем около стойки появляются музыканты — две гитары и мандолина. Они играют, и погонщик начинает плакать. Обняв Поля и Гастона, он выводит их на улицу.

— Хорошая музыка,— всхлипывая, говорит он.— Каждый раз, когда слышу ее...— машет рукой, лицо его темнеет.— Сволочи, все вы сволочи. Весь мир сволочь.

— Потише, скажи лучше, куда тебя отвезти.

— Ты дерьмо,— говорит погонщик и ударяет Поля в лицо.

Поль мрачнеет, ждет мгновение, когда рука погонщика опустится, и неожиданно коротко бьет его в живот. Сложившись пополам, хрипя, тот опускается на землю. Он ползет с дороги на обочину и там, задыхаясь, прижимается к стене дома.

Окна в доме закрыты одними решетками, стекол нет, и за решетками уже начинают показываться белые испуганные лица.

— Идем прочь,— говорит Гастон,— вдруг он умрет.

— Не умрет. Меня научили этому в Марселе. Меня там били матросы. Ладно, бежим.

Они добегают до гостиницы.

— Знаешь, что это была за музыка? — Поль сидит на кровати голый. В комнате душно и влажно.— Музыка перуанских негров. В Лиме мать повела нас однажды на вечер, который устраивали негры. Они собрались туда с плантаций, когда кончилась уборка кофе. Играл такой же оркестр, тоже трое, а перед ним топтались пары, четыре парня и четыре девушки. У каждого парня сзади висел бумажный хвост, а у каждой девушки была в руке свеча. Они танцевали, и девушки старались зайти к каждому парню сзади и поджечь его хвост. Они топтались перед оркестром, и девушкам никак не удавалось зажечь парней. А когда удалось, весь народ взбесился. Никогда не слышал, чтобы столько людей так исступленно орали. Теперь я понимаю: мужчины хотели наброситься на женщин, а женщины готовы были тут же лечь на вытопанную и заплеванную, засыпанную косточками плодов и огрызками кукурузных початков траву. Никогда не видел ничего подобного.

— Здорово ты его ударил. Спи,— говорит Гастон.

Небольшой пароход, с тонкой наклоненной назад трубой и опущенной почти до самой воды кормой, вычертив пенный полукруг, подходит к пристани. На ней уже столпились зеваки — каждый приход парохода с Большой земли здесь событие.

— Что я тебе говорил. — Поль обводит рукой белый песчаный берег, шеренгу выстроившихся вдоль набережной пальм и ряд белых одно- и двухэтажных домов, за которыми топорщатся коричневой коростой крытые вязками сухого пальмового листа лачуги.

— Мартиника — это рай, вот увидишь. После вонючего Колона и переполненной торгашами и проститутками Панамы здесь благодать, жизнь ничего не стоит, можно ходить по базару и пробовать все, что тебе вздумается. Зря мы потеряли столько времени на этом канале.

Гастон не успевает ответить, пароходик приваливается к каменной стенке — скрипит железо, трещит дерево, которым защищен камень, в воздух взвиваются канаты, чернокожие матросы бегут по стенке, волоча их за собой, бегут, торопясь накинуть на чугунные, врытые в песок дулами вверх пушки.

Их уволили из бригады первыми. Бригадир не соизволил даже сказать им об этом сам. Смуглокожего испуганного метиса, который передал им по конверту, в каждом из которых лежало по сотне песо, Поль обругал. Метис поспешил убраться.

— Пойду набью ему морду, — сказал Поль.

— Тебя засудят. Что-что, а полицию и суд они распустят в последнюю очередь. Распустят, а потом сроят город. Ведь надо же — перекопать полстраны, а потом, не извинившись, упаковать чемоданы и дернуть назад во Францию. Говорят, в Париже держатели акций подняли восстание. Их обобрали до нитки.

— Да, половину денег украли. Думаешь, наш бригадир или мой зятек уедут отсюда нищими? Держи карман шире. Вот Лулу, та снова пойдет в Нанте на панель. Славная баба, жаль ее.

Они сняли на Мартинике хижину недалеко от моря. Днем свет проникал в нее прямо в щели между бамбучинами, а ночью через них вовсю свистел ветер.

— Пусть дует, — говорил Поль, — он уносит москитов. Только бы не пошел дождь.

Днем он ходил на базар, смотрел, как идут, покачиваясь, женщины, одетые в пестрые короткие, открытые на спине и на груди платья, как переливается их заго-

релая до черноты кожа, как розовые пятки приминают пыль. «А ну, смогу угадать, кто она? Квартеронка...» Он поднимал глаза и видел, что женщина, которую принял за полукровку, настоящая испанка.

Но писал он почему-то пейзажи. Ставил перед жижиной мольберт и небрежно набрасывал пологий склон горы, зелень плантации и тамаринды, избегающие наверх. «Идиоты, они так никогда и не поймут, в чем секрет», — бормотал он.

— Это ты о ком? — спросил однажды Гастон.

— О них.

Больше он не сказал ничего. Но по ночам ему снились не белые пляжи Мартиники и не пестрые платья женщин. Мир, который снился ему, был плоским. Снизлась ровная, словно разглаженная катком, коричневая грязь по берегам канала и желтые тела мулаток из публичного дома в Колоне. Однажды они с Гастоном пошли в такой дом. «Сними-ка все, — сказал Поль. — Ляг так. А теперь попробуй сесть». — «Ты что, без этого не можешь?» Мулатка хихикнула.

В бытность в Европе он написал служанку. Он написал ее обнаженной и штопающей мужское белье. «Настоящее тело, — писали критики. — Никакой уступки красавости и романтике». Он очень гордился тогда этими отзывами.

Ни одной картины на Мартинике у него не купили. Настал день, когда они с Гастоном вывернули карманы и пересчитали деньги. От полученных в Панаме песо остались гроши.

— Если наняться на парусник матросами, можно вернуться во Францию, — сказал Поль. — У тебя дети там остались?

— Ты первый раз спросил меня про детей.

Поль достал из чемодана иглу, суровую нитку и стал зашивать башмак.

— Порядком мы тут опаскудились, — сказал он.

Инженер из Ленинграда, которого вызвали объяснить, почему развалились дома, держался скованно — стесняла узкая, похожая на гроб, трибунка, сбивал бесстрастно тикающий над голевой часовой механизм, часы отсчитывали время, отведенное докладчику. Инженер был коренаст, смугл, на трибуне стоял боком.

— А цемент какой клали? Сегодня одной марки, завтра другой?

— Одной.

Он сказал это зло и тут же сошел.

Когда началось обсуждение, сразу прозвучало «головотяпство», и директор решил подставить Викентия Николаевича.

Тот вышел взволнованный, выступая, все время поправлял рукава, — вспыхивали дорогие желтые запонки, сказал:

— Действительно плохо. Почему? Простите, не знает никто. Оттого и признавать пока нечего. Известен только факт. У нас у самих были сомнения...

— Кому вы говорили о них?

— Я не собираюсь оправдываться. Но у нас не было и оснований отказываться от опытовой стройки. Давайте не торопиться.

Он был так расстроен, что не ушел в зал, а сел на стул недалеко от директора. Тот уже стоял, чуть наклонясь, — сама уверенность.

Начал, как всегда, эффектно:

— Кто-то из древних — кажется, Сократ — говорил, что, для того чтобы произнести публичную речь, можно правильно расставить восемь основных ее частей и выполнить сорок ранее намеченных требований, а можно просто выйти на трибуну и говорить, полагаясь на интуицию. Так вот, хотят или не хотят члены ученого совета, история этого бетона — давайте припомним ее — могла развиваться по двум путям. Первый — обычный и строгий: для детального исследования были бы созданы новые лаборатории, в которых искали бы годами скрытый подвох и скорее всего нашли, получили бы истину, сверкающую и непогрешимую. Второй путь — инженерный риск. Мы были перед дилеммой. Первые испытания подтвердили надежды. И вот — равнодушные и погрязшие в делах, а может быть, и наоборот: мудрые и смелые — принимаем решение строить дома, пробную партию. Мы не знаем, что там случилось — брак ли, ошибка, может быть, случай. Будем разбираться. Я хочу только, чтобы все поняли: новый бетон — наша перспектива. Между прочим, я слышал споры: а является ли вообще изобретенный материал бетоном? Это очень интересный вопрос.

Поговорив о терминологии (это был его конек), он закончил:

— Переходим ко второму вопросу... — А сразу же после заседания он вызвал к себе Викентия Николае-

вича. Когда тот пришел, в кабинете уже сидел инженер из Ленинграда.

— Нужно немедленно ехать и разобраться на месте. Владимир Иванович предоставит вам все необходимое. Действуйте.

— У меня через неделю отчет.

— Значит, сразу же после отчета.

Они вышли из кабинета вместе. Главный инженер угрюмо молчал. «Славный мужик!» — подумал Викентий Николаевич, но сказал:

— Неприятная история. Вы уж извините, придется ехать к вам. Конечно, скандал, что делать.

Настоящая фамилия Гроздецкого была Малыгин. Родился он на Севере, в маленькой деревне на берегу Мезени. Огромная река катила под угором мелкие срые частые волны, раздавалась вширь и уходила за горизонт, там в солнечные дни можно было разглядеть на облаках синий блеск моря. На берегу лежали лодки — маленькие узкие карбасы и широкоскулые громоздкие дори. И когда шла семга, главная работа выпадала им.

Отец часто брал сына с собой на лов. Они переезжали на низкую песчаную косу — здесь артель готовила невод.

Стоять на раче оставался кто-нибудь из стариков — его дело было держать кол наклонно, чтобы вся сила, с которой река тянула сеть, только загоняла бы рач в песок. Иногда рач надо было, поймав момент слабину, переносить. Тут же стояли наготове две-три лошади. Выметывая невод, карбас пересекал стрежень реки, подходил к дори и передавал на нее мокрые, пахнущие пенькой и рыбой концы. Описывая неторопливый широкий полукруг, дори начинала вести невод. Где-то под лодками, в холодной непрозрачной воде, уставясь тупыми мордами против течения, медленно и обреченно шла семга. Отягощенная икрой и молоками, она шла в верховья реки, повинувшись инстинкту и чутко принюхиваясь к запаху струй, чтобы не пропустить ручей, откуда скатилась мальком в реку.

Дори подходила, концы передавали на берег, и коротконогие лохматые лошади, понукаемые и осытаемые ударами, начинали тянуть; они уходили все дальше, а из воды, как огромная кольчатая змея, выползала сеть. Охваченный восторгом, мальчик заходил по колено в

воду, стараясь первым поймать момент, когда пойдет мотня, а в ней блеснут серебром огромные рыбы тела.

Однажды отец взял его с собой в море. В то время на побережье начинали строить зверофермы, и кто-то решил попробовать кормить песцов акульим мясом. Дори вышла из Мезени в губу, поднялась вдоль берега, и там, на весенних путях рыбьих стай, поставили несколько ярусов.

О том, что сюда заходят следом за рыбой акулы, в те годы мало кто знал, и рыбаки с недоверием смотрели на то, как колдуют с незнакомой снастью приехавшие из города люди.

Яруса простояли сутки, их стали выбирать. Рыбаки тянули из воды прочный нескончаемый трос, к которому через равные промежутки были привязаны поводцы со стальными цепочками и огромными гроздьями крючков.

Поймали только одну акулу. Ее увидел отец, он перегнулся через борт и с удивлением показывал всем на огромную синюю рыбину, которая послушно шла за поводцом, задумчиво глядя вверх удлинёнными бесцветными глазами.

Ее тащили впятером, акуля кожа скрипела о борт; перевалив, обрушили на палубу. Человек из города сказал, что это сельдяная акула. Она лежала на забрызганных солью и кровью досках, изредка вяло шевеля хвостом и подергивая жабрами. Вспороли живот — на доски вылилась отвратительно пахнущая смесь из рыбьих костей, чешуи и слизи.

Акул больше в те годы не ловили, но этот поход в море запомнился. Особенно запомнилась ему акула с распоротым брюхом, неподвижно лежащая на палубе и безразлично разевающая рот...

Закончив школу, он уехал в Ленинград и поступил в художественное училище; в те же годы умерла бабка, и это тоже запомнилось, потому что в семье жили долго, а это была первая увиденная им смерть. Дело было в середине тридцатых годов — ему только что исполнилось двадцать и он приехал в отпуск.

Бабка Ангелина Сергеевна ходила уже тогда трудно, одевалась во все темное, два раза в день молилась, память имела необыкновенно острую, но странную: все, что случалось днем, помнила до мельчайших подробностей, однако на завтра, просыпаясь, была не в состоянии ничего вспомнить. Много лет спустя Гроздецкий подумал: за бабкой следом шел каток, стирая на

пути все следы и оставляя глухую безжизненную полосу. Однако она цепко держала в уме недавние события и оттого уверенно помогала невесткам по дому и, если хватало быстроты и сил, разбиралась с детскими бедами.

Гости, сбитые с толку ее ясной речью, придя через несколько дней, всегда попадали впросак.

— А что, Ангелина Сергеевна,— спрашивал гость, забывший по пьянке дедовский портсигар,— не видела, я вещь тут положил?

— Это каку таку вещь? — настороженно спрашивала старуха.

— Портсигар. Серебряный, с камушком. Вон тут сидел и положил.

— Не сидел ты тут,— говорила старуха, поджимая губы, потому что помнила отлично — гость только что вошел.

— Как же, сидел,— удивлялся тот,— ты эспомни: так — я, так — Иван, а ты — вот тут.

— Не сидел,— упрямилась старуха.

— Да ты что? Портсигар вот сюда клал,— начинал нервничать гость.— Положил, еще подумал: надо б не забыть! Серебряный он, понимаешь? Серебряный! Не серебряный — так я бы и не спрашивал.

— Ох, что-то ты хитришь, обманываешь, Петя,— жаловалась Ангелина Сергеевна.— И что в тебе такая жадность развелась? Я ведь тебя вот таким помню, подельчивый ты был и врать не врал.

— Тьфу ты, старая! — Гость плевался и прекращал разговор.

Приходила мать и доставала из шкафа припрятанный портсигар.

— И когда это он успел его в шкаф толкнуть? — удивлялась старуха.— Суда? Ничего ты суда не клал, я твой каждый шажок, милый, помню...

В тот день они остались с ней в доме одни. Мать и отец поехали в город за покупками. Старуха сидела у печи, широкой спиной прижимаясь к чуть теплему камню.

Внезапно и тихо она позвала:

— Сынок!

— Чего тебе? — Он собрался бриться, разложил мыло, помазок, поставил зеркало.

— Помирать я сейчас буду,— по-прежнему тихо сказала Ангелина Сергеевна.— Дай с кровати под подушкой чистое.

Старуха сидела прямо, неподвижно. Он испугался, подумал: «Пугает!», но в спальню пошел. Под подушкой в высокой бабкиной кровати лежало собранное в узелок приготовленное белье.

— Помоги встать.

Она зашла за занавеску и долго там оставалась. Над домом нависло что-то огромное, непонятное, страшное. «А вдруг там?..» — испуганно подумал он. Но занавеска отодвинулась, показалась Ангелина Сергеевна, по-прежнему в темном платье и в платке.

— Скажешь матери, не смогла я обед собрать. А узелок — там, с грязным. — Володя понял, что это она про снятое белье. — Помоги теперь на кровать влезть.

Ангелина Сергеевна легла на высокую постель, выпрямилась и замерла.

— Выдь, Ванюша, — сказала она, путая имена, — дверь прикрой. Выдь, не надо стоять тут.

Говорила она обыкновенные слова тихо, но он почувствовал, как все в нем от этих слов напряглось. Дрожащими руками прикрыл дверь, вышел на улицу и, сев на скамью, одеревенел.

Только потом, много лет спустя, он понял, что такое умение умирать могло появиться только у людей северных, выросших в холодном малолюдном краю...

День, когда наконец приехал Викентий Николаевич, выпал в тресте трудный, горячечный, в ругани и матюках. Не давали крана, чтобы разбирать упавшие стены. Диспетчер треста запрашивал участок. Оттуда говорили: кран вышел, его демонтировали день назад. Прораб звонил и уверял, что никакого крана нет, он посылал человека, который ездил смотреть, — кран стоит, как стоял. Владимир Иванович озверел, вызвал было машину — посмотреть самому, вспомнил, что отдал ее техническому отделу, плюнул, решил смотаться на попутной.

Кран он встретил на полпути, его уже тащил, плюясь дымом, огромный колесный трактор. Натужно скрипели литые резиновые катки, платформа шла покачиваясь, переплетенные решетчатые фермы дрожали, подпрыгивала, сверкала стеклами будка.

«Везет, паразит!»

Он вернулся назад в контору и там увидел Викентия Николаевича.

— Меня интересует все, что связано с аварией, — начал гость.

— Та-ак.— И это «та-ак» означало: «Не жду ничего хорошего».— Сначала посмотрим стройку?

— Конечно.

«Въедливый. Будет искать, как все свалить на нас. Держится, словно проглотил палку...»

На строительстве были неразбериха и разболтанность, которые всегда возникают, когда появляется слух, что стройку могут свернуть. На некоторых домах работа еще продолжалась, на других людей уже не было. Завидев «Волгу», подошли бригады, стали жаловаться на задержку с цементом.

С асфальтированной дороги, как корабль на волнах, сполз трактор, и кран поплыл, качаясь, к домам.

— Этот товарищ — изобретатель,— строго сказал Владимир Иванович. Бригады вежливо, с ухмылкой, поздоровались.— Будет разбираться, кто из вас напортачил.

Сказав это, подумал: надо было взять с собой Лидию Павловну.

— Нам как говорили, мы так и лили.

— Лили одинаково, а посыпалось пять. Остальные-то стоят!

Викентий Николаевич подошел к бетономешалке, взял на палец серую тяжелую грязь, растер, осмотрел насос, по металлической лестнице поднялся на верх опалубки.

— Лить думаем часа через два,— сказал бригадир.— Цемент подвезут, замес сделаем и начнем.

— Я подожду. А у вас, вероятно, дела?

Но Владимир Иванович подумал, что оставлять его опасно, и сказал, что тоже подождет.

Их пригласили попить чаю. Вошли в бытовку, на электрической плитке, закипая, тонко пел чайник. Бригадир насыпал в кружку дешевого грузинского чая, разлил по стаканам густой черный завар.

— Мы привыкли вприкуску,— сказал он.— Вам как?

Тут Викентий Николаевич удивил всех: достал из кармана аэрофлотский сахар, сорвал обертку, бросил в кружку два куса, достал из другого кармана серебряную ложечку и помешал.

Разговор шел тихий, обстоятельный, бригадир уважал Владимира Ивановича, сам служил на флоте, любил порядок и строгость, а тот был в курсе дел и задавал вопросы больше для вежливости и чтобы показать московскому гостю — здесь порядок, а виновников надо искать там, откуда вы сами.

Привезли бетон. Загудел мотор, шевельнулся барабан, серая вязкая масса дрогнула, наклоняясь, поползла вверх, развалилась на пласты, зашуршала, зачавкала. Когда она перемешалась, остановили барабан, подвели шланг, открыли кран. В барабан потекла прозрачная янтарная смола, она текла неторопливо; соприкасаясь с бетоном, струя оседала, превращаясь в лепешку. Включили снова мотор, и влажная горизонтальная поверхность бетона с прозрачной янтарной лепешкой смолы опять наклонилась, бетонная масса лопнула, снова развалилась на мягкие влажные глыбы. Они меняли форму, громоздились друг на друга, потом как-то разом растаяли и снова превратились в каменное жидкое тесто. Сначала в нем еще можно было разглядеть оранжевые ручейки, потом исчезли и они. Пустили воду. Барабан гудел, поворачивался, бетонное тесто скрипело и шуршало, становясь жидким.

— Можно лить, — сказал бригадир.

Включили насос, и, булькая и скрипя, жидкая масса стала втягиваться в армированную проволокой резиновую трубу. «Идет!» — крикнул кто-то сверху, и Викентий Николаевич полез по металлической лестнице наверх.

Мимо пробежала девушка из лаборатории — Татьяна Соловьева. Владимир Иванович окликнул ее и попросил предупредить Лидию Павловну.

Та гостей встретила сухо, разложила амбарные аккуратно заполненные книги. Викентий Николаевич начал медленно их листать, потом заметил лежавшую в стороне потертую, в пятнах, зеленую ученическую тетрадку, брезгливо взял ее.

— А это что?

— Черновые записи. Их лаборантка делает прямо на стройке, в них замеров в два раза больше.

— На всякий случай храним, — сказал Владимир Иванович. Он стоял у окна, наблюдая, как выгаскивают трактором застрявший в грязи самосвал.

Викентий Николаевич пробыл на стройке неделю. Анализы ничего не прояснили. Авария осталась загадкой.

Первый раз в жизни Владимир Иванович шел в отпуск летом.

Ехал он в Севастополь и в Приморск — военная память, как боль от застарелой раны, не давала забыть о прошлом.

...Они вышли к берегу на рассвете. Из воды всплыли лиловые бесплотные горы, у их подножия вспыхнула белая полоса пены. Неподвижность затихшего на ночь моря оказалась кажущейся: с юга шла незаметная пологая зыбь; подходя к берегу, она замедляла бег, волны росли и выкатывались на мелководе, с грохотом выметывая перед собой пенные языки.

Командир приказал приготовить якорь к отдаче с кормы, но тут с берега ударил пулемет — по воде заматались с брызгами трассы. Якорь не отдали. Катер с ходу ткнулся носом в песок, солдаты, стоявшие на палубе наготове, посыпались в воду, командир отчаянно, рывком перебросил ручки телеграфа назад, корпус катера задрожал, но было уже поздно — подлетела волна, понесла катер к берегу. Когда она отступила, катер лег бортом, палуба со скрипом накренилась, винты ударили о камни, корпус затрясся. Подошла следующая волна, нависла над катером, скользнула под него, откатилась...

Владимир Иванович лежал около носового орудия, держась за его тумбу. Пулемет, стрелявший с берега, замолк: немцы, завидев десантников, разбежались. Матросы вылезали из люков, ругаясь, стали спрыгивать на землю. Командир — кровь сошла с лица — спустился в каюту. Его долго не было. Владимир Иванович, зная, что он должен изъять из сейфа шифрдокументы, полез следом. Брезентовая сумка с документами валялась на столике. Между стенкой и узкой койкой, застеленной рыжим потертым одеялом, скорчив ноги, лицом вниз лежал командир. Кисло пахло выстрелом...

О том, что корпус катера, промытый дождями, обдутый ветрами, но не разрушенный, до сих пор можно видеть на берегу, Владимир Иванович узнал случайно. По телевизору показывали поход по местам боев в Крыму. Тоненькая цепочка мальчишек и девчонок с черными галстуками, извиваясь, вышла из-за ближайших к морю домов — мелькнули знакомые горы — и направилась к маленькому кораблю, до половины замывшему песком.

— Варя, смотри, это же наш катер!

— В самом деле?..

Он жадно смотрел на экран, слушал спокойный голос диктора и думал: «Летом обязательно поеду».

И вот душный, набитый людьми и вещами вагон. Он лежит на верхней полке, запрокинув лицо, и слушает drobный стук колес. Так, так...

В гостиницу устроился с трудом. Оставив в номере вещи, вышел на бульвар к справочному киоску и через час получил узкий голубой бланк, на котором были и адрес и телефон.

Позвонил. Женщина долго молчала, а когда пришла в себя, едва выговаривая, попросила встретиться завтра днем. Ошеломленный ее неизменившимся голосом, он растерянно согласился.

Пляж у подножия известковой, желтой, стесанной камнерезными машинами скалы был переполнен. Он долго лежал на мелкой, припорошенной меловой пылью гальке, прижимаясь к ней животом и подбородком, потом нехотя пошел к воде. Зеленая, прохладная, она хорошо обтекала ноги, живот, плечи. Стоило забросить за голову руки, течение поворачивало тело и начинало нести его параллельно берегу.

Из-за равелина (вход в бухту запирали старые крепости) показались белые зубчики парусов. Швертботы шли, не обгоняя друг друга. Пройдя поворотный буй, они уронили паруса и застыли на гладкой серой воде.

Доплыл до буя, ухватился за него, проверил направление на угол равелина, на собор, возвышающийся над городом, на базарный причал, набрал воздуху и нырнул.

Вода была голубая, желтая, бесцветная, у самого дна красная — на дне лежала грудa ржавого лома. В пробитых бортах разбросанного по камням судна бродили капустного цвета рыбы.

Это было здесь. Лиловое солнце опускалось за горизонт. Оно опускалось в тучу, и от этого море было тогда почти черным. Впрочем, вечер мог быть и безоблачным, и тогда солнце, идя на закат, могло светить розовым и желтым. Катер стоял в Базарной бухте, под скалой, куда не могли попасть летящие по низкой траектории немецкие снаряды. Владимир Иванович хотел дожидаться темноты и тогда идти через бухту к окруженным на северной стороне, но прибежал посыльный и принес новый приказ. Сбросили с палубы маскировку — доски и листы фанеры — и отошли. Снаряд разорвался рядом, ослепил и лишил слуха. Он пришел в сознание в воде, поплыл, утонул уже около самого берега, а потом лежал на камнях и женщина трясла его, лицо ее то исчезало, закрытое белым бинтом, то появлялось вновь. Она увезла его в госпиталь, устроила в свою палату, а когда он пошел на поправку, вдруг исчезла.

Остаток дня Владимир Иванович бродил по городу. Тот неузнаваемо изменился, лишь улицы, идущие по склонам, еще сохраняли прежний вид: на Перелешинской и Батумской все так же росли акации, а заборы по-прежнему были сложены из белого ракушечника. С Бастионной был виден весь город, полный легкой пыли, особенного, голубого, отраженного морем, света. Звенела сухая листва, девушки, размахивая спортивными сумками, бежали вниз по улице. Они ели на бегу абрикосы и стреляли косточками в заборы.

Он спустился по Перелешинской — внизу начинались новые дома с лесом телевизионных антенн, — дошел до угла и вспомнил, что здесь, во дворе, его приятель играл свадьбу.

Толкнул калитку — та звякнула незакрытой щеколдой — и вошел. Во дворе сухонький старичок с вывернутой инвалидной рукой строгал доску. Доска под рубанком шевелилась, подпрыгивала. Она была шершавой, серой, рябой, в ложбинках ослепительного телесного цвета с красными прожилками.

— Мне бы Соню, — сказал Владимир Иванович.

Старичок непонимающе уставился на него. Он смотрел почему-то испуганно.

— Мать, а мать! — позвал он.

В голосе его был страх. Вышла женщина, грузная, старая. Владимир Иванович сразу же узнал ее.

— Вот человек, Соньку спрашивает, — сказал старик.

— Зачем вам Соня? — с тревогой спросила женщина.

Владимир Иванович улыбнулся.

— Я товарищ ее мужа, мы у вас свадьбу играли. В сорок пятом. Ищу друзей.

Женщина долго, тоже не понимая, смотрела на него, а потом вдруг принялась плакать. Она плакала без слез, вытирая ладонью сухое лицо.

— Не женился он, товарищ ваш, — сказала она наконец. — Не живет тут. И Соня уехала. В Барабе агрономом. Всё не замужем, так ни за кого и не вышла.

Владимир Иванович растерялся, хотел что-то сказать — не сумел и торопливо зашагал прочь.

Он шагал быстро, по самому краю тротуара, то и дело срываясь, ударяясь косточкой ноги о поребрик, вышел на главную улицу и только тогда остановился...

Всю ночь над крышей гостиницы, набирая силу, пел

ветер. Утром на город обрушился циклон. Волны шли от равелинов в глубину бухты, шли шурша — черные, зеленые, рядами, как солдаты. Ударяясь о набережную, останавливались, поднимались белые колонны брызг, они повисали в воздухе, смещались, оседали и рассыпались. Ветер подхватывал их, брызги, темнея, летели параллельно земле, стучали о гравий, беззвучно проникали в траву.

Он шел по Приморскому бульвару, пряча от ветра лицо. Бульвар сделал поворот, ветер стих. Здесь город жил обычной, не затронутой циклоном жизнью: на площади около универмага в газоне пламенели канны, ударяя шинами в асфальт, проносились троллейбусы, у кинотеатра стояли девушки с длинными, твердыми, как бильярдные кии, ногами, с рекламных афиш на них сыпались разноцветные буквы.

Увидев Полину, он быстро пошел ей навстречу. Случайный порыв ветра пронесся по улице, разбрызгивая пыль, по асфальту катилась мужская шляпа. Полина стояла, одной рукой придерживая волосы, второй прижимая юбку. Она стояла против солнца, по телу метались желтые и красные огни, рядом стоял юноша. Владимир Иванович понял, что это сын, подошел, неловко обнял. Стали говорить неуверенно, громко, быстро, ожидая, когда пройдет неловкость.

Сын смотрел на них исподлобья.

— Ну вот, встретились,— сказал ему Владимир Иванович.— Твоя мать для меня ведь — медицинская сестра, девчонка, а я для нее — старший лейтенант. Ты куришь?

— С ума сошел? Он не курит,— сказала Полина.— Идем к нам, я накрыла стол.

Это «с ума сошел» почему-то успокоило, они перестали отводить глаза и начали неторопливо, умеряя шаги, рассказывать. Сын сперва внимательно слушал, потом отстал и остаток пути шел один.

— Вот мой дом,— наконец сказала Полина.— Здесь я живу. И садик мой.

Она не сказала «наш» и «мы», и в этом был какой-то вызов, но Владимир Иванович не понял его и ничего не спросил. Вошли, в комнате за столом сидел одетый в чистую белую сорочку мужчина. Полина познакомила:

— Мой муж.— А тот спросил:

— Надолго?

— В отпуск.

— Покупаться, значит?

— Витя, принеси альбом.

На старой, надорванной, пожелтевшей у краев фотокарточке стояла, горько сжав губы, в белом медицинском, перехваченном в талии, халате сама.

— Это последняя мирная, первый месяц войны. На базаре снялась: в госпиталь шла, халат из чемодана вытащила и снялась. Пускай, думаю, на память.

— За встречу! — предложил муж.

Выпили за Ленинград, и муж, посматривая на бутылку, стал расспрашивать, как на Севере жизнь и что за рыбалка там такая — зимой? Правда ли, что лед сверлят и для этого есть особый бур?

— Шел бы ты к дружкам в шахматы поиграть, — ласково сказала Полина.

Муж недовольно посмотрел на Владимира Ивановича (Вити уже не было) и ушел. Полина села на диван. В комнату натек лиловый сумрак. Голос у Полины потерял чужие нотки, стал прежний, ласковый. Окна открыты, пахнет терпким виноградным листом и остывающими домами, к Владимиру Ивановичу пришло ощущение тихой радости.

— А помнишь, как ты мне тогда сказала: «Дай я тебе повязку ослаблю, а то и обнять по-настоящему не можешь».

— Горячая была.

Но Полина вдруг встала, сказала:

— Ты все видел? Все понял? Надо уходить.

Щелкнул замок, ударила щеколда, по крутой, делающей петлю улице спустились к бухте, поднялись к Матросскому клубу. Здесь было светло, но огонь фонарей был уже зеленый и мертвенный.

— Вроде и времени много прошло, — сказала нараспев, — а у меня война закончилась только-только. Прияду, задумаюсь — Севастополь горит. Соберемся с соседками, только и разговоров: «А помнишь?..» Все ворошим, ворошим. Гора, сколько ни иди от нее, все рядом.

— Нам надо побыть вдвоем. Все вернется, уже сегодня я чувствовал — вернулось. Завтра опять приду. Или лучше давай встретимся в городе, у меня. Ты что молчишь, не хочешь?

— Хочу, только нельзя. Ты прости, все изменилось... И больше не звони, я не приду.

Он заговорил встревоженно, быстро. Она качала головой, зеленые и серые тени плавали по лицу. Взял за

руки, осторожно потянул к себе, но она сделала шаг назад, стала отдаляться, сливаясь с ночью.

И тогда он, ошеломленный, заторопился, вернулся в гостиницу, заплатил за номер, взял рюкзак, проехал троллейбусом до кольца, отойдя по дороге, сошел с асфальта в степь, сел в сухую колючую траву. Отсюда город еще был виден: черный силуэт Панорамы на Историческом бульваре, горели огни новостроек, пахло полынью. Схватился за голову, подумал: «И как не стыдно, как я мог?» Сыреть от ночной росы, сидел до утра.

Женился он случайно, в Батуми, в маленьком дождливом городе, полном влажного и сладкого на вкус воздуха. Судьба забросила туда в самом конце войны, был он все еще командиром катера и в тот день ходил в гидрографию за новой картой. С бульвара заметил женщину. Каменный, прохладный, покрытый нефтяными пятнами, запущенный городской пляж был пуст, женщина сидела у воды и показалась ему ослепительно красивой. Она сидела на гальке и смотрела на стеклянную воду.

В полдень ударила тревога. Около самого городского мола приборы заметили под водой лодку. Из порта выскочили три катера, лодку положили на грунт, сбросили несколько десятков бомб, они взорвались, поднимая белые пенные столбы, столбы рушились, оставляя на воде грязные маслянистые пятна. Потом густо пошли пузыри и всплыла крашеная доска. Командиры решили, что лодке конец. Вернулись. Офицеры, сменив меховые куртки на кители, ушли в город.

Было уже темно, в черной воде плавала красноватая, со щупальцами, луна. Владимир Иванович прошел по набережной, свернул в переулок и остановился перед зданием с колоннами. Через раскрытую дверь доносился неуверенный звук — кто-то пробовал струну. Над входом было написано: «Матросский клуб». У двери лежала длинная, черная, похожая на швейную машину собака.

Вдоль стен небольшого узкого, с наклонным полом зала со сценой расставлены стулья. На них несколько матросов, рабочие с нефтезавода, два базарных спекулянта в круглых мохнатых кепках — человек десять мужчин и женщина. Владимир Иванович сразу узнал ее. Она сидела в углу, коричневая от загара, и снова показалась ему прекрасной.

На сцену вышла толстая старуха в халате. Но, может быть, это был не халат, а поношенное старое концертное платье. Толстуха (ей помогала маленькая девочка) перенесла из зала на сцену стулья, вышел оркестр — дирижер и пять молодых женщин. Толстуха села у стойки с подвешенным стальным блестящим треугольником, мужчина взмахнул рукой — и оркестр заиграл.

Молодые женщины были странно похожи друг на друга. Они играли веселые южные песенки. Потом без перерыва стали играть что-то грустное и медленное. Зал терпеливо слушал. Наконец один матрос крикнул:

— Давай танцы!

Оркестр сбился. Старуха встала и постучала пальцем по инструменту.

— Ша,— негромко сказала она.— Послушайте Рихарда Штрауса — не надо путать с однофамильцем,— танцы будут потом.

— Мама, ну зачем вы так? — сказал дирижер.— Публика слушает хорошо, товарищ погорячился.

И тогда удивительная мать этого удивительного оркестра — Владимир Иванович вдруг понял, что молодые женщины — сестры,— села на свое место и замолчала. Она ни разу не ударила по треугольнику, а сидела и все время, шевеля губами, что-то подсчитывала.

Оркестр играл пьесу. Она била в уши и тревожила, но матросы, оглохшие от взрывов глубинных бомб, и рабочие, у которых на заводе тоже хватало шума, и даже тихие спекулянты в круглых кепках — все дослушали ее до конца.

И только тогда оркестр затянул танго.

Едва он заиграл, женщина, сидевшая в углу, встала и быстро пошла к выходу. Никто не остановил, не успел пригласить ее, она прошла мимо, и Владимир Иванович увидел, что она очень устала. Безмерно усталая и не очень красивая женщина, дослушав Штрауса, торопливо уходила в свою холодную, одинокую, полученную по ордеру для эвакуированных комнату.

И тогда вместо нее в зал со сцены спустилась девочка. Она была чуть выше стула, в коротком платьице и туфлях на взрослом каблуке. Привычно стала у самой сцены, и к ней тотчас подошел долговязый матрос. Он пригласил ее, и она начала старательно вышагивать за ним, а иногда даже висела на его руке, запрокинув лицо и серьезно глядя в потолок.

Владимир Иванович встал. Он вышел на улицу сле-

дом за женщиной, догнал ее и сказал: «Не бойтесь меня!» Они пошли по улице. Звездный свет, отраженный от белых каменных, крашенных известью заборов, лежал на ломком асфальте. Музыка с каждым поворотом становилась все тише. Прошел патруль, один из солдат посветил им фонариком в лица.

В конце набережной включился прожектор. Голубой луч протянулся над улицей, как проволока, около домов он искривлялся, белые ночные птицы сгорали в голубом свете.

— Наверное, вы хотите зайти ко мне? — спросила женщина. — Меня зовут Варвара Даниловна.

Через неделю они поженились. А через месяц он понял, что ошибся, и прямо сказал ей об этом.

— Но я уже в положении, — ответила она. — Подождем еще, я проверю.

У них родился сын. Через год — второй. Оба выросли крепкие, красивые, дружные с матерью. Трещина, раскалывающая семейный остров, оставляла Владимира Ивановича одного на крошечном клочке земли.

Летние отпуска на строительстве — вещь небывалая. Лидия Павловна побоялась отпустить сразу всю лабораторию — разделила сотрудников на два срока. Таня попала в первый.

В Приморске ее встретила на автобусной остановке мать. Таня удивилась сухонькой, не поддающейся времени ее легкой фигурке, темному, без старческих бороздок лицу и, только когда стала целовать мамины пальцы, увидела на кистях новые морщины и подумала, что мать стареет руками.

Дома все было по-старому: стол, накрытый бледно-желтой скатертью, кровать с железными шариками, над кроватью фотография — Таня прижалась плечом к отцу, у отца просветленное лицо, — она очень любила эту фотографию.

И на улице без перемен: в белой известняковой пыли все так же копаются куры, со стороны шоссе доносится шлепанье шин по асфальту, звенят цикады.

На камне около своего дома сидела гадалка.

— Все приезжаешь, девонька? — спросила старуха. — Дома-то всегда лучше. Так никого себе и не нашла? Садись рядышком.

Она взяла белую Танину ладонь, нацепила на носочки в металлической оправе, долго всматривалась в

рисунок жизненных линий, пробормотала про одного известного Тане человека, полезла в карман, достала колоду карт и тут же, на камне, начала раскладывать покровых, с важными лицами и бескровными голубыми губами королей и валетов.

Таня смотрела на их поджатые губы и нахмуренные лбы и слушала, как басит старуха.

— Все неприятности твои от дамы треф. И тебе, де-вушка, нужно остерегаться ее больше всех.

«Дама треф — это я», — подумала Таня. От зноя кружилась голова, перед глазами вертелись радужные круги. Она присела на корточки в тень, прислонилась головой к забору — стало легче.

Подошла мать, сказала, что плохо спит, под окнами всю ночь кто-то ходит. Гадалка ответила: это Пеликан, старик стал совсем дурной, ходит и разговаривает сам с собой. С чего бы?

Вечером они с матерью долго сидели во дворе под абрикосовым деревом, пили из белого эмалированного чайника кипяток с заваркой из чая с мятой и говорили.

О Сашке Таня ничего не рассказала, а мать не жаловалась на сестер — так в их семье было принято.

Ночью она проснулась от топота босых ног и выкриков. Набросив халатик, выскочила за калитку. Мальчишки бежали к морю. Там, высоко в черном небе, горели два ярких огня, а под ними что-то большое, темное, похожее на древнюю пирамиду, на воде — торопливые красные и зеленые огоньки.

Море светилось, и от этого все происходящее мало-помалу стало понятным.

Около берега стоял, подняв высоко к небу решетчатую стрелу, плавучий кран. К борту его жались два буксира. Вместо разноцветных ходовых огней они уже зажгли белые.

На кране расхаживали, поругиваясь между собой, едва видимые в темноте люди. Звякнуло, заурчали моторы, стрела крана начала медленно поворачиваться. Вспыхнул прожектор, ослепил было, но белый невесомый наклонный столб тотчас соскользнул. Желтый круг — пересечение светового столба и поверхности пляжа — накрыл корпус старого катера. Около него уже копошились люди, рыли, с шуршанием и скрипом проеывали под корпус тугие, стальные, непослушные тросы.

Застучал, опускаясь, лег на песок крюк. Люди на-бросили на него канаты. Снова на кране что-то прозве-

нело, крюк неуклюже пополз по песку, скачками приподнялся, задрожал в воздухе, медленно, светясь, ушел вверх. Раздался треск, изогнулся, не выдержав собственной тяжести, старый корпус, роняя песок и гальку, взмыл вверх и неожиданно легко поплыл, удаляясь от берега. Стрела застыла у самого борта крана, там, прячась в тени, стояла низкая железная баржа. На нее опустили израненное тело катера, оно с печальным криком легло на железо, с грохотом упали не выдержавшие полета куски обшивки.

И все стихло.

Кран стал отползать от берега. Буксиры зажгли ходовые огни — красно-зеленые, — приняли с крана канаты и теперь, поворачивая стальную громаду, уводили ее в темноту.

Скоро только медленно плывущая россыпь огней напоминала о том, что здесь, на берегу, еще днем стоял маленький разбитый кораблик, без которого Таня не мыслила себе поселка.

Прошла неделя, она стояла в очереди у хлебного ларька, когда, волоча за собой оранжевый хвост пыли, подошел рейсовый автобус. На асфальт с рюкзаками, чемоданами, сумками стали вываливаться пассажиры. В одном — Таня удивилась — она узнала главного инженера. Тренировочный мятый костюм, рюкзак... Она подошла. Владимир Иванович уже забрасывал ремни за спину.

— А, Соловьева! — сказал он. — Что ты тут делаешь?

— За хлебом стою.

— Давно отдыхаешь? По путевке, что ли?

— Я местная.

Владимир Иванович сел на землю.

— Бери хлеб. Я подожду.

От ларька крикнули, что подходит очередь. Таня взяла круглого хлеба, и тогда Владимир Иванович объяснил, зачем приехал.

— Ну надо же, как случилось! Катера-то уже нет, — расстроилась Таня. — Здесь многие помнят, как он выбросился, говорят — высаживал десант: со всего хода на берег, такой отчаянный!

Они прошли на берег моря, и там она показала длинный шрам, который оставило в песке тело корабля. В яме стояла вода.

— Скоро и следов не останется — все замочет. А мы, знаете, к нему так привыкли. Сколько живем, столько

он и стоит... Вам, наверное, надо квартиру снять? Я спрошу маму.

Владимир Иванович поместился в маленькой комнатке с отдельным входом.

— Сойдет! — сказал он. — Мне бы только койку, я ведь бродяга.

И действительно, просыпался он рано, брал полотенце, ласты и уходил на море. Плавал около отвесных лиловых скал, нырял, собирая на дне зубчатые, обросшие известью и зелеными нитями рапаны и плоские черные мидии. Раковины чистил и дарил Тане.

— А вы отчего утром не ходите на море?

— Я утром бегаю: там, за шоссе, есть канава, длинная, километра три, так я вдоль нее то бегаю, то сижу...

На окраине поселка, отделяя дома от виноградников, тянулся заброшенный неглубокий, заполненный до половины теплою водою арык. Берега его густо заросли терном. Среди кустов вилась тропинка, в одном месте ветки терна были сломаны, трава примята, здесь Таня приказала Владимиру Ивановичу сесть.

В арыке росла, уходя корневищами в воду, болотная трава, плавали зеленые островки тины, на них сидели, раздуваясь в боках, зеленые лягушки. Они грелись в теплой тине и смотрели на мир неподвижными золотистыми глазами.

Таня сидела не шевелясь. Лягушки, встревоженные их появлением, помолчав, запели снова. Они пели горланно, хрипло. Из глубины всплывали черные хвостатые головастики, они хватили с поверхности золотую цветочную пыльцу и удирали.

Внезапно лягушки смолкли. Самая большая взбрыкнула ногами, вырвалась из тины, взлетела в воздух и шумно шлепнулась в воду. Из травы выплыл раздосадованный неудачей уж. Он плыл короткими сильными толчками, держа пеструю головку, как флаг.

Желая лучше рассмотреть его, Владимир Иванович привстал. Уж сверкнул красными оспинами на затылке — и исчез.

— Зачем же вы его испугали? — сказала Таня. — Надо сидеть тихо. Я так часами могу. Ужи знаете какие разные: есть маленькие, как кнутики, а есть большие, на головах — пятнышки, бледные, почти белые, желтые или красные, как кровь... Идемте домой.

Только через несколько дней она взяла у кого-то из курортников ласты и пошла с ними на пляж. Владимир

Иванович дал ей маску, а она принесла с собой корки хлеба. Он научил завернуть их в носовой платок, опуститься на дно и сесть там, зажав коленями колючий липкий камень, потряхивая узелком. Взялось дымное облако хлебных крошек, замелькали рыбы — они подплывали и тыкались твердыми жестяными губами в ладони.

— А вы говорите, змеи, — сказал Владимир Иванович. — Рыбы интереснее.

Таня лежала на горячей гальке, загорелая до черноты (белые полосы по краю купальника — с внутренней стороны бедер и на плечах), раскинув руки, навзничь, лицо закрыто полотенцем. Лежала и улыбалась. Владимир Иванович опустился рядом, красные бронзовые капли упали на гальку. Он посмотрел на белые полосы и отвел глаза...

Как-то он уехал на целый день в Феодосию, заказывать билет. Неожиданно пошел дождь, Владимир Иванович задержался, вернулся вечером поздно и увидел, что Таня стирает во дворе его белье. Корыто она поставила на два табурета, белая гора пены шевелилась под руками, белье чавкало.

— Что это вы, Танюша, право, — сказал он. — Я ведь стираю себе сам. Надо же придумать!

Таня подняла к лицу ладонь в радужной пене, отерла тыльной стороной кисти лоб. С плеча соскочила бретелька, она нахмурилась.

Быстро темнело, перед ней горкой лежали еще платья и простыни. Владимир Иванович вышел покурить на улицу. Над его головой светилось окно комнаты, скрипнула рама — мать закрыла окно на ночь. Погас свет.

Время тянулось медленно. Владимир Иванович сидел на камне боком, под деревом тускло горела лампочка, и он мог, поворачиваясь, каждый раз видеть через калитку двор, освещенный смешанным, звездным и электрическим, светом, Танину обнаженную спину, гору белой пены и мелькание мягких рук.

Наконец плеск воды и шипение пены прекратились, зазвенела проволока — вешала белье. Улица затихла, прошел поздний автобус, запахло степью.

Скрипнула калитка. К запаху трав и виноградной лозы добавился запах мыла. Владимир Иванович подвинулся, молча протянул руку, наткнулся на круглый маленький локоть, осторожно притянул — Таня села рядом, их колени соприкоснулись.

Воздух, который приходил с виноградников, становился все жарче, Таня долго прятала губы.

— Тут нельзя, мамино окно,— вздохнув по-детски, тихо сказала она.— Стыдно. Все слышно... Идемте к вам.

Ночью Владимир Иванович вышел во двор, достал из кармана коробок спичек, потряс ими, примял сигарету, закурил, долго стоял, запрокинув лицо, полуприкрыв глаза. Сигаретный дымок уходил в небо. Плоское, черное, с разноцветными звездами, оно касалось крыш. Звезды выдавливали из себя свет. Владимир Иванович хотел было идти назад, в комнату,— у стены шевельнулась тень: около окна, держась рукой за раму, стояла Танина мать...

Он не нашел что сказать, ушел, скрипнула половица, охнула, оседая под тяжестью двух тел, кровать, неясное бормотание и легкий вздох облегчения донеслись до матери через окно. Небо повернулось. Голубые Плеяды, как пламя далекого города, встали над поселком. Мать осталась стоять, держась рукой за стену и слушая звуки, которые, проникая через окно, входили ей прямо в сердце.

— Она всю ночь не спала,— сказал утром Владимир Иванович.— Стояла у окна. Как хочешь, я так не могу.

Они взяли палатку и ушли в горы. Палатку нес Владимир Иванович, Таня тащила рюкзак с едой. Шли тропинкой целый день, наугад, и к вечеру неожиданно, описав круг, вернулись к морю.

Внизу была синяя, зеленая, серебристая вода. Стали спускаться. Владимир Иванович уронил палатку, оранжевый тюк, кувыркаясь, долго летел вниз.

Потом Таня сидела на камне и дула на пальцы: падая, ухватила за корень, сорвала кожу. Спрятала ладонь в воду. Вода оказалась холодной, прозрачной, розовой.

Владимир Иванович поставил палатку, надел ласты, взял пружинное ружье. Вылез он из воды продрогший, без добычи, добрый.

— Ни одной! — сказал он и стал прыгать на одной ноге, выбивая из ушей воду.

— Какой ты смешной, у тебя совсем нет талии,— сказала Таня.

— Она мне ни к чему.

Ночью поднялся ветер. Он продувал палатку насквозь. Таня проснулась первой. Над морем всгавала луна. Одна стена палатки светилась. Брезент был прозрачным, Владимир Иванович спал, по-детски шевеля губами.

Таня встала на колени и наклонилась над ним, придерживая у плеча падающее одеяло.

— Почему лаборатория не представляет вовремя анализы? — И счастливо засмеялась.

Утром она лежала у воды на гальке и смотрела в небо. Серые ватные комочки — предвестницы ветра — уже свисали с вершины Акдага. Таня думала: в маленьком северном селе, откуда был родом отец, живут ее родичи. В четвертом поколении их набирается человек пятьдесят. Вот и получается, что она, Таня, стоит на вершине пирамиды, уходящей основанием в глубокую древность, и чем дальше пытаться заглянуть, тем основание пирамиды шире, и уже не тысячи, а сотни тысяч людей находятся с ней в родстве. Таня подумала, что со стороны матери стоит такая же пирамида и основания их перекрывают друг друга. Значит, та кровь, что бежит по ее жилам, может быть обнаружена во многих неизвестных ей людях. Еще она подумала, что прабабка со стороны матери была итальянка — когда-то в Крыму были торговые города генуэзцев, после страшного их разгрома татарами люди бежали и смешались с местными жителями, — раз так, то и в далекой Италии можно выстроить такую пирамиду... У нее закружилась голова, ей показалось, что она забралась на вершину горы и заглянула вниз, в пропасть.

Пройдет много времени, и Таня расскажет про это Викентию Николаевичу, но тот усмехнется и скажет:

— Ты, конечно, не права, ты говоришь — сотни тысяч людей?.. Дело гораздо проще — проверяли на королевских семьях Европы: с четвертого поколения начинаются перекрестные браки, пирамида перестает расширяться, она превращается в ствол, причудливое дерево, несколько корней — и все... Но есть что-то другое, о чем ты смутно догадываешься, что ты чувствуешь, не отдавая себе отчета — что это. Есть некая общность памяти: какие-то ценности, представления, одинаковые у людей, долго живущих на одном месте, одним бытом. Мы и сами не подозреваем, что они есть и откуда-то из глубины эта память влияет на нас. Вот таких людей, близких тебе, много, здесь ты действительно стоишь на

вершине горы, а впрочем, не на вершине,— мы с тобой на одном острове...

В день его отъезда собралась гроза: с полудня парило, сырой воздух давил на влажную перегревшую землю, над Акдагом гроздзились тучи.

Ночью Таня проснулась. Она присела на постели, не понимая, что произошло: все еще мелко дрожали от удара стекла, где-то далеко, убегая, погромыхая, угасал гром.

Окно осветилось — в лиловом прозрачном небе выросло огненное дерево, сухо ударил выстрел, от него лопнули стекла и раскололась земля, комната вновь погрузилась в темноту.

Таня прижалась к Владимиру Ивановичу, но тот сказал сонно про грозу: «У-у, ка-кая!..» — и снова заснул.

Тогда она слезла с кровати и, придерживая на груди рубашку, вышла во двор. Гром отдалился, но молнии били теперь одна за другой, словно кто-то ворочал в небе электрический кабель и тот, обнаженный, задевал за облака, за горы, за землю, и от этого рождались малиновое пламя и снопы искр.

Потом гроза затихла, запахло свежим воздухом, травой и мокрым известняковым камнем.

Таня долго неподвижно постояла, продрогла и вернулась.

На этот раз Владимир Иванович почувствовал ее, проснулся, выпростал из-под простыни руки, обнял.

Утром первым автобусом он уехал.

Когда, проводив его, Таня подошла к дому, на их улице стояла белая машина с красными крестами. Выводили Пеликана.

— С ума ведь сошел,— сказала мать,— жалость-то какая! Такой крепкий еще, жить бы да жить...

Таня подумала, что старику отомстили собаки.

Теперь, уходя на море, она часто представляла себе будущую встречу с Владимиром Ивановичем. Она так часто представляла ее, что встреча сделалась реальностью, отодвинулась в прошлое и о ней стало возможно вспоминать.

Она приехала на день раньше. Вечером позвонила по телефону. Он ответил сухо, но, узнав голос, заговорил тепло. Она надела хорошее платье, но передумала, натянула то, в чем провожала в Крыму и в чем ехала,— застиранную трикотажную рубашку и юбку. Встретились около Главпочтамта, в узкой улице за Исаакиев-

ским собором. Над улицей нависала арка с часами, циферблат был испещрен красными, черными цифрами и, кажется, знаками Зодиака.

Владимир Иванович неторопливо ходил у часов. Его фигура то попадала в тень и становилась зыбкой, расплывчатой, то появлялась из-под арки и возвращала себе четкость. Стрелки на часах вздрагивали, сближались. Заметив Таню, Владимир Иванович подошел, поцеловал, она привстала на цыпочки и тоже тронула губами его щеку у самого рта, заметила, что он свежевыбрит, над верхней губой порез.

— Ну вот, наконец-то! — сказал Владимир Иванович, взял ее под руку и повел мимо домов, мимо Манежа к Адмиралтейству. Здесь, в сквере, они снова обнялись. Но теперь Таня ощутила, что язык и губы почему-то становятся шершавыми, терпкими, вытерла рот платком и поняла: платок пахнет хурмой.

Шли по Дворцовой площади, мостом, мимо Ростральных колонн, Петроградской стороной. День постепенно угасал, стены домов сближались. Владимир Иванович сказал, что они как борта стоящих у причала кораблей и что электрический свет вытекает из окон, как вода из пробойн.

В конце улицы блеснуло, всплыл мост. Он горбился и блестел рельсами. Донесся звук — гудела пароходная сирена. Звук был низким, далеким, протяжным.

Таня вспомнила, откуда запах хурмы, раскрыла сумочку и достала из нее плод. Хурму она купила в Феодосии у торговки на привокзальной площади. Покупая, подумала: «Владимиру Ивановичу хурма понравится — в Батуми было много хурмы. Надо по пути взять целую корзину».

Станцию, где выносили хурму, поезд прошел ночью.

— Съедем ее пополам, — сказал Владимир Иванович.

Он взял Таню за плечи и повернул к себе...

Таня без конца извлекала это воспоминание из памяти, как фокусник в цирке извлекает из ящика бесконечную цветную ленту: они стоят на мосту, он держит ее за плечи, их лица касаются, в руке у нее липкий, терпкий оранжевый плод.

Но в прошлое она поместила эту сцену сама. Прошли дни, она вернулась в Ленинград, и встреча произошла не так. Она произошла в кабинете Владимира Ивановича, а причиной стал приезд Борисова.

Борисов появился в тресте неожиданно, без телеграммы. «Специалист из Москвы»,— говорили про него шепотом.

Владимир Иванович принял его не сразу. Он только что пришел с новой, едва начатой стройки, сидел в кабинете усталый, злой, в пыльном, испачканном цементом костюме, саднила рука — сбил на лесах.

Вошел молодой, чистый человек, представился, сидел с прямой спиной, говорил веско, но что-то в нем Владимиру Ивановичу не понравилось.

— У нас уже был ваш начальник,— сказал он, полистал календарь, нашел запись,— Викентий Николаевич.

Борисов вежливо наклонил голову.

— Все, что интересовало его, мы показали.

— Выяснились новые обстоятельства.— Борисов расслабился и теперь сидел полуоткинувшись.— Институту нужны данные о схватывании бетона. Такие наблюдения у вас велись. Нужны журналы.

«Ах вот оно что!»

— Ну, журналы вести нас никто не обязывал.— Владимир Иванович говорил, взвешивая каждое слово.— Были черновые записи. Их потом свели в таблицы.— Про таблицы он сказал на всякий случай — звучало солидно.— Впрочем, все данные о ходе работ мы, конечно, имеем.

— Нужны первичные записи, если хотите — черновики.

Владимир Иванович понял, что собеседник что-то знает.

— Директор, посылая меня, имел в виду именно их.

— Ну, черновики так черновики...

Владимир Иванович снова потянулся к календарю. Календарь был ему не нужен,— нужно было выиграть время и сообразить, какой шаг мог стать опасным. Кто его знает, что можно извлечь из черновых записей! Теперь гость ему уже совсем не нравился: станет копаться, найдет ошибки в цифрах, обвинит трест, или его самого, или рабочих.

Он перевернул три странички, сделал карандашную пометку и сказал:

— Хорошо, мы все вышлем.

Молодой человек почему-то встревожился.

— Я должен увезти их сам,— сказал он, упирая на «сам».

Владимир Иванович развел руками, теперь он чувствовал, что поступает верно.

— Неудачно приехали,— весело сказал он.— Хотя бы два дня назад. Половина сотрудников на картошке в подшефном совхозе. И завлабораторией там, а ключи у нее.

Борисов заерзал на стуле.

— А лаборантка Соловьева?

«О, да ты и про лаборантку знаешь!»

— И лаборантка на картошке. Но вы не беспокойтесь. Мы все вышлем. Я записал.

— Можно, я пройду в лабораторию, побеседую с товарищами?

— Закрыта,— уже жестко сказал Владимир Иванович и потянулся к телефону, давая понять, что разговор окончен.

Борисов ушел, а Владимир Иванович тотчас позвонил Лидии Павловне и, к великому удивлению той, приказал лабораторию немедленно закрыть на замок.

— Я вас не понимаю,— обиженно сказала та.— Куда же прикажете нам деться?

— Сидеть дома, где хотите.

Когда через час Борисов добрался до лабораторного корпуса, дверь оказалась закрытой.

На другой день, проверив, уехал ли он, Владимир Иванович вызвал к себе Лидию Павловну.

— Захватите с собой Соловьеву и все ее тетради.

Тетради разложили на столе. Лидия Павловна сидела, поджав губы, распоряжение насчет замка она считала самодурством, ждала, что он выкинет еще. На щеках ее разгорались красные пятна.

Таня стояла, глядя в сторону, делая вид, что разглядывает фотографии на стенах: на них были сняты аварийные дома. «И не посмотрит, не посмотрит. Две недели всего прошло...»

Владимир Иванович полистал тетради, нашел незаполненную графу, спросил, в чем дело.

— В тот день отменили литье. Вы сами машин не дали.

— Да?..

Чем дольше листал он тетради, тем больше крепло в нем убеждение: посылать опасно.

«Где-нибудь да ошиблась,— думал он.— Тысячи цифр, какая-нибудь да выскочит. Мог врать прибор, могла быть описка...»

— Эти сведения почему-то требует институт,— сказал он, обращаясь к Лидии Павловне.— Запрос серьезный, не тяп-ляп. Выберите из каждой тетради несколько листов, проверьте, чтобы без ошибок, перепечатайте в виде таблиц. Пошлем за моей подписью. Вы что — обиделись, Таня?

— Здесь нет ошибок.

— В Москве найдут. Идите, Лидия Павловна.

— К какому числу сделать?

— К пятнице.

— А Соловьева?

— Она мне нужна.

Лидия Павловна ушла.

— Совсем сумасшедший, обнимается. Сейчас секретарша войдет.

— После работы не уходи, я приеду... А, черт, собрание в тресте.

— Ничего мне не нужно,— сказала Таня.— Я ведь все понимаю: лето прошло. Хорошее было лето.

Секретарша крикнула через дверь: Владимира Ивановича — управляющий. Тот снял трубку.

— Дуришь, старик? — сказал управляющий.— Что это ты выговорами стал бросаться?

Владимир Иванович объяснил.

— И все-таки ты поосторожнее... с людьми ведь работаешь, не с кранами... Из Москвы два раза звонили. Тетрадами какими-то интересуются. У тебя кто контрольные замеры делает?

— Лидия Павловна.

— Эта такая, в очках, словно прут проглотила? Из института, говорят, приезжали?

— Два раза.

— Так вот: они тут какие-то записи видели. Ты с ними поосторожнее, понял? Вы что там записывали?

— Температуру, влажность, много всего. Как обычно.

— Вот-вот... И температура, и влажность, а за ними наша безалаберность. Не посылать уже нельзя. Короче говоря, посмотри эти тетради сам, прежде чем выслать. Или еще лучше — пошли-ка с надежным, умным человеком. Идет?

Когда он повесил трубку, Таня сказала:

— Пошли меня.

Он удивился:

— Что так? Не видала Москвы?

— Я беспокоюсь за тебя.

Через неделю он позвонил Викентию Николаевичу, сказал, что записи высылает, их привезет лаборантка, но билет она смогла достать только на поезд, который приходит в шесть утра.

— Пускай ваша девушка с вокзала едет прямо ко мне. Я встаю чуть свет. Тетради ведь, кроме меня, кому нужны? Никому!

«Выходит, он не знал ничего про Борисова?»

В Москву поезд пришел на рассвете. Город был непривычно безлюден, тих, прохладен. После долгой езды в тряском и холодном троллейбусе Таня нашла дом. Он прятался в переулке за армянской церковью, старый, пятиэтажный, с узкими высокими окнами и темной лестницей. У лестницы стояла рыжая от грязи мраморная вакханка, одной рукой она придерживала подол, другой закрывала лицо. Лифт работал, но Таня пошла вверх пешком, дошла, не останавливаясь, до четвертого этажа, прочитала на двери медную тусклую табличку «В. Н. Высоковский» и позвонила. Долго не открывали, потом гроыхнул засов, дверь распахнулась, на пороге стоял Викентий Николаевич. Таню удивило, что он был в этот ранний час уже в белой рубашке и в галстуке.

— Какая вы шустрая! Только вчера про вас говорили, и вот — здесь! — сказал Викентий Николаевич и без улыбки посмотрел ей в лицо.

Они прошли в комнату. Таня открыла «молнию» на хозяйственной сумке, достала тетради, их было много — пока тащила, устала рука.

Первую тетрадь Викентий Николаевич рассматривал без интереса, на второй — нахмурился, спросил:

— Вы что, замеряли и скорость ветра?

— Да.

— Зачем?

Таня рассказала, что поручила когда-то ей Лидия Павловна и как она месяц за месяцем полтора года лезла с приборами на леса.

— Каждые четыре часа?

— Как мне сказали.

— Ну, голубушка... Мне теперь и вовек не разобраться. Что вы тут понаписали? Придется отдать в машиносчетное бюро.

Он перелистал еще несколько тетрадей, и тогда у него мелькнула мысль, что все это мистификация. Опи-

сан случай, когда человек годами вел журнал наблюдений, произвольно заполняя страницы. При некотором навыке можно перемежать настоящие наблюдения с выдуманными. Пересел от обеденного стола к рабочему, достал лист миллиметровки и, выбрав наугад одну из страниц, взял так поразившую его скорость ветра, стал наносить точки, полученную кривую рассматривал уже торопясь, кивая головой, тут же бросил взгляд на часы, извинился, вышел и вернулся, одетый в черный строгий костюм.

— Ну-с, идемте! — сказал он. — Какие у вас планы? Остановитесь у знакомых?

— У меня никого нет. Я сейчас на вокзал, возьму обратный билет и уеду.

— Стоп, стоп. А если вы будете мне нужны? То есть, конечно, будете. Пока всю работу не сделаем, я вас не отпущу. Оставайтесь-ка у меня. Как вам, одной со стариком, не страшно?

— Нет.

И он ушел.

Она долго сидела за столом, с удивлением рассматривая огромные, стоящие на полу часы, похожие на дом, с циферблатом из желтой меди, на котором по кругу расположились фантастические животные и обнаженные со вздутыми мышцами люди; стрелки часов стояли, длинный широкий язык-маятник висел неподвижно. Отправилась бродить по квартире. Ей никогда не приходилось прежде видеть таких высоких потолков, шкафов такого размера — на дверцах деревянными гроздьями лепились потемневшие от времени виноград и яблоки, за пыльными стеклами теснились коричневые кожаные, в золотых переплетах книги. Было тихо. Ей показалось, что в соседней комнате кто-то дышит, но это был ветер. Потом с лязгом открылась дверь, но это случилось на лестничной клетке. Из столовой — она была и рабочим кабинетом Викентия Николаевича — Таня осторожно прошла в спальню, удивилась размерам двухспальной кровати и странному сооружению в углу — зеркалу на тонких ножках. Затем через комнату, в которой стояли одни книжные шкафы, попала на кухню. Кухня была грязной, запущенной, никак не соответствующей великолепию квартиры. Таня никогда не бывала в старых домах и не сумела сразу заметить ветхость деревянной мебели и почувствовать, как мало осталось жить тканой узорчатой обивке, которой мастера когда-то покрыли стены комнат выше панели.

Когда она вторично обошла квартиру, от глаз ее уже не укрылись ни плохо вымытые стекла, ни протечки в углах. Захотела есть, решила выйти что-нибудь купить, но тут же сообразила, что ключа у нее нет.

Когда вечером пришел Викентий Николаевич, он обнаружил, что полы в квартире вымыты, а Таню нашел на диване в столовой, она спала, подобрав ноги и подложив под щеку ладонь. Ошеломленный, долго смотрел на нее, прошептал: «Старый дурак» — и на цыпочках ушел в кухню разогревать чай.

Через два дня машиносчетное бюро выдало таблицы.

Обрабатывать их Викентий Николаевич взял с собой Таню.

Она первый раз была в институте, ей понравилось — тихо, все в белых халатах, на столах штативы с пробирками и счетные машинки... В кабинет вошел Борисов, они вдвоем стали рассматривать рулончики желтой бумаги, коричневую россыпь цифр. Таня резала рулончики, склеивала куски в большое широкое полотно, а Викентий Николаевич с Борисовым обменивались быстрыми веселыми словами.

— Да, да,— радостно говорил Викентий Николаевич,— обратите внимание, как он привередлив, наш бетон: есть сочетания температуры и — подумать только! — давления, когда он получается неоднородным. Немудрено, что дома развалились: дождь, осень, холодно, высокие тяжелые стены... А вот тут хорошо получается... Таких листов вам, милая, придется склеить сорок восемь, войдут все ваши тетради... Вечером готовьте чай, а уж у меня найдется из старых запасов...

Они сидели вдвоем под низким оранжевым абажуром, пили терпкую жидкость из старинных, звенящих голубых рюмок. Викентий Николаевич вспоминал войну и как он с одним художником лечился в госпитале.

— Неплохой художник оказался, одно время пробовал жить в Москве, ко мне заходил. Даже подарил картину. Да вы ее видели... Не рассмотрели? Пойдемте, покажу.

В спальне над кроватью висел небольшой, полный света, картон — картина, словно составленная из красных, желтых, зеленых кусочков. На пестрых лужайках пряничные домики, крыши до самой земли, узенькие, прищуренные окна. Двери во всех домах настежь, в них — хозяева: коротконогие, плечистые мужики с натруженными, сложенными на животах руками, с окладистыми бородами, добрые простоволосые бабы. В ру-

ках у кого серп да грабли, у кого лукошки, прялки. Тут же старички в полотняных, до земли, рубахах и чистые большеголовые дети. В руках у детей игрушки — деревянные ружья, свистульки, медведи-кузнецы, что бьют по очереди в наковаленки, матрешки, туго обтянутые платками, глиняные кони и глиняные же птицы. У одного в раскрытой ладони — кучка игральных костей, залитые свинцом бабки...

— В каждой избушке свои игрушки, — сказал Викентий Николаевич. — Это ведь не картина — эскиз витража. Она должна быть сделана из стекла. Представьте себе: прозрачная стена... — Но для Тани картина давно уже исчезла, она уже стояла перед высоким лестничным пролетом, ступени, ведущие к картине, были чисто вымыты, и солнце лилось на них через цветные стекла, зажигало свечи, а Таня стояла, открыв рот, и казалось, что это течет на нее вода, и хотелось развести руки и начать, пока не задохнулась, всплывать.

— Сколько лет бьется, чтобы ему этот витраж заказали, и все никак. А знаете, как мы с ним самовольно удирали из госпиталя? Бывало, пойдем в кино...

Таня, забыв, что это было много лет назад, представила двух стариков в мышиных, спадающих с плеч халатах, лезут тайком от сестер через забор, идут по немощеным улицам городка, покупают билеты в кино, и через силу засмеялась: ее с утра подташнивало, она никак не могла понять, в чем дело.

— Вы совсем не слушаете меня, Таня, — неожиданно ласково сказал Викентий Николаевич. — А хотите, я расскажу, как нас с ним однажды чуть не убили?

Таня улыбнулась, но улыбка получилась жалкой, извиняющейся. Он понял — ей плохо. Ушла, легла и долго не могла заснуть, потому что, хотя давно хотела иметь ребенка, случилось все это неудачно и не вовремя.

На следующий день она уехала в Ленинград.

Борисов, насвистывая, вбежал в парадную, заглянул, как обычно, в щель почтового ящика, нажал кнопку лифта, но не стал открывать дверь ключом, а позвонил.

— Ну как? — с порога спросила жена.

Он улыбнулся и подмигнул.

Ужинали на кухне — картошка пригорела, мясо было жестким, но ели, не обращая на это внимания, понимая: наконец-то!

— Я только посмотрел и сразу понял — все! Такого у нас еще не было. И надо же: какая-то девчонка лазала по стройке, что-то записывала, привезла, дура, целую сумку тетрадей, а в них! Я даже ахнул. Старику подфартило. Теперь пойдет!

— А тебе не кажется, что его надо потихоньку отодвинуть?

— Не сразу. Его все знают, даже любят, считают чудачком. Шутка ли — помнит царское время! Еще — изобретатель, без него пока никуда... За все время в отделе никому слова худого не сказал... И как это я сегодня догадался вовремя войти? Увидели-то мы все вместе, втроем. Конечно, потом могут начать говорить...

— Брось. Бояться рано. Ты теперь должен взлететь. Только без ошибок, без глупого риска. Важен каждый шаг. И подумать только, еще не хотел идти со мной в эту контору!.. Хочешь сменить жену? Глупая и красивая — те, кто наверху, держат только таких.

Мыла посуду, а он сел переписывать отчет.

— Между прочим, — донеслось из-за двери, — меня беспокоит эта девчонка из Ленинграда. Женщины непредсказуемы.

Раздался щелчок — жена включила телевизор.

— Будет выступать академик! Посмотри, может, пригодится?

— Некогда.

«Пошло, пошло, тронулось!» — Он заточил карандаш и нанес на желтую гляцевую кальку первую точку.

С женой они познакомились в институте — учились на одном курсе, — но отношения сложились не сразу: она присматривалась к нему. На последнем курсе в праздник — на Новый год — много пили и танцевали. Домой шли компанией. Падая легкий снег, около фонарей плавали радужные круги. Подойдя к ее дому, остановились, она пошептала с подругами (втроем снимали комнату), подруги решили погулять. Когда Борисов протянул руку прощаться, пожала и не отпустила. Он не сразу понял, что это значит, поняв, пошел следом. На лестнице было темно, горела тусклая желтая лампочка. Поднялись на этаж, она достала из сумочки ключ, осторожно открыла дверь. Мимо хозяйкиной комнаты прошли на цыпочках. Борисов был неопытен, она сказала: «Ну, что же ты... Это не пуговица, а крючок, не рви, я сама расстегну...»

Детство его прошло на Украине, в Донбассе, в ма-

леньком пыльном шахтерском городке. Отец работал в конторе бухгалтером, семья была большая — шестеро детей, мать едва управлялась со стиркой и готовкой. Жили в одной комнате. Отец брал работу на дэм. Засыпая, Борисов видел его согнутую спину, самодельную, прикрытую газетой лампу, слышал, как скрипит перо и потрескивает арифмометр. От тесноты, от несытой еды, недостач развилось у Борисова тихое упрямство — надо выбиваться. Из разговоров бухгалтера-отца усвоил: нельзя делать ошибок.

Когда услышал: «Теперь нам надо пожениться», испуганно подумал: «Ну вот, конец».

Но ошибки не было. Она сказала:

— Мы сделаем тебя ученым. Кандидат наук — это престижно, и — деньги.

— Ты что? Какой я ученый? В школе задницей брал. И в институте, сама видела.

— И что? В нашей конторе можно стать только ученым. Технические науки — неплохо.

— А если бы я попал в театр? Меня ведь из самодеятельности когда-то выгнали.

— Тогда заслуженный артист. Лучше народный. Ты думаешь, нельзя, ничего не написав, стать журналистом, писателем, ставить пьесы?

— Наверно, так. Наверное, можно.

— Главное, — говорила она, — не упустить шанс. Главное — схватить.

Работали они в разных отделах. О диссертации сразу же начала рассказывать всем. Борисов однажды сказал:

— Ты что распространяешь слухи? У меня же ничего нет.

— И не надо. Пусть знают.

Таня родила летом. В машине неловко села, таксист посмотрел на мокрое пятно на сиденье, недобро усмехнулся:

— Ты бы еще тут рассыпалась...

Она судорожно порылась в сумочке, вытряхнула деньги — выпал паспорт, шофер взял пятирублевку, хлопнул дверцу, и машина умчалась.

В приемном покое сидела некрасивая, пожилая, рыхлая, в белом халате.

— Вы одна?

— Муж в командировке.

По косому, неласковому взгляду Таня поняла, что так говорят многие.

Дежурная взяла паспорт, привычно перегнула его и стала писать. На звонок пришла сестра.

— Разденьтесь, вот ваше белье. Вот вешалка и мешок.

— У меня уже схватки...

Каталка подрагивала, Таня ехала мимо светло-зеленых чистых, пугающих стен, вверх цепочкой проплывали лампы.

— Сразу на стол...

Из белого потолка выплыло женское лицо, сильные руки привычно скользнули по бедрам и остановились на животе.

— Вы консультацию посещали?

— Нет.

Таня закусила губу, из глаз потекли слезы.

Потом началась боль. Она казалась сперва случайной, и потому, когда отступала, приходила уверенность — боль не повторится или станет легче, но желанные передышки были все короче. Таня, закусив угол марлевой салфетки, мотала головой, боясь посмотреть вниз, на живот.

Приходила акушерка, говорила: что ж ты ему не помогаешь? На исходе четвертого часа (часы Таня оставила на руке), когда не было уже сил терпеть, вдруг почувствовала странную легкость, услышала: «Это уже плечики прошли» — и увидела, как поднимается вверх, всплывая в ярком электрическом свете, скользкое, мокрое, красное тельце.

Впрочем, это не могло произойти сразу. Между ощущением легкости и видом взлетающего вверх ребенка должно было пройти какое-то время. Но для Тани время текло тогда прыжками, с провалами. Она попыталась улыбнуться, но была настолько обессилена, что губы только шевельнулись.

Время сделало еще один скачок — она очнулась из липкого сонного забытья в палате. Очнулась на несколько минут перед тем, как по-настоящему заснуть. Справа и слева лежали женщины, была ночь, и ровный желтоватый свет лился с потолка на кровать, на тумбочку, заставленную стеклянной посудой. Это стекло, желтые огоньки в нем и изогнутые, раздутые в бедрах фигуры спящих было последним, что запомнилось.

На третий день она получила записку: «Еле нашел.

Обыскал все больницы. Как у тебя с молоком? Что нужно?» На записку не ответила.

Каждые два часа приносили Димку, он лежал рядом, сучил ножками и ловил что-то тонкими губами. Таня, привалясь, расстегивала рубашку и начинала ласково подталкивать к нему большую грудь. Он, чувствуя ее близость, сердился и все быстрее вскидывал ручонками. Когда красный, вздувшийся, с белой каплей рыхлый холмик касался наконец рта, он с отчаянием впивался в него, втягивал так глубоко, как только мог, напрягал щеки, чавкал и облегченно через нос вздыхал.

— Вы счастливая, сейчас детишки все больше искусственники, а у вас вон, вся рубашка мокрая,— говорила соседка и печально трогала, пытаясь отжать книгу, свою вялую, с плоским мужским соском грудь.

Таня покраснела...

Выписали их в воскресенье.

Перед тем как идти, она покормила Димку, потом вышла в приемный покой, переоделась, получила документы, прошла в холл. Минут через пять появилась сестра, на руках она несла завернутого в зелененькое одеяльце Димку. Сестра шла важно, зная, что в этот момент она предмет всеобщего внимания. Увидев, что Таня стоит одна, немного растерялась, но сдержалась — сестра была опытная. Таня почувствовала мучительный стыд, торопливо сунула сестре в карман приготовленный рубль, взяла Димку и выбежала на улицу.

Город обрушился шумом трамваев, криками грузчиков, которые напротив роддома подавали на автомашину из подвала дурно пахнущие бочки, гулом толпы — студенты около университета обсуждали экзамен.

Постояла, прислонясь спиной к ограде, потом медленно пошла; Димка оттягивал руку, сумочка, набитая бельем, била по ногам. Шла до тех пор, пока не увидела ящик и сине-белую вывеску «Почта». Зашла, положила Димку на закапанный чернилами стол и написала в Приморск матери телеграмму: «Приезжай срочно. У меня сын».

Она была уверена, что мать поймет, бросит все и примчится к ней, к Тане, как это делала не один раз,— сперва для старшей дочери, потом для средней. «Значит, и эта попала в беду»,— только и подумает мать.

Владимир Иванович разыскал Таню с трудом, через бухгалтерию,— она сняла на время декретного отпуска

комнату и попросила, чтобы деньги ей переводили по почте.

Он пришел вечером. Большая коммунальная квартира на Невском, с длинным коридором, заставленным ненужными, выброшенными из комнат вещами. С трудом нашел дверь, постучал. Таня замерла на пороге, придерживая на груди халатик, смотря куда-то в сторону.

— Мудришь? — отстранил Таню, подошел к кушетке, на которой лежал Димка.

— Напрасно пришел, мне ничего от тебя не нужно. Скоро придет мама.

— Вот я и буду пока здесь жить. А где коляска? Кровать? Нет?.. Мало тебя была жизнь.

Он ушел за покупками и только на улице понял, что так неприятно поразило его в Тане: серое, исхудалое лицо вконец замученного, готового упасть человека.

Появление Владимира Ивановича, его близость тоже были непривычными, неожиданными и потому лишь усиливали ощущение зыбкости. Она никогда не гадала о будущем, но любила возвращаться в мечтах к прошлому. Теперь она чаще обычного думала о Приморске, о теплой крымской земле и сверкающем благомном море. Однажды ночью она проснулась от необычного чувства. Не в силах противиться ему, встала, перешла комнату и осторожно толкнула дверь. Открылся не коридор, а пыльная наклонная крымская улица, с потоками мыльной воды у калиток, желтая, красная, раскаленная, по ней бродили одуревшие от жары куры, издалека, из-за каменных известняковых заборов, доносилось «донг-донг» — ехал в тележке, запряженной осликом, с пустой собачьей будкой безумный старик Пеликан.

Быстро-быстро — земля обжигала ноги — пошла к магазину, где работала уборщицей мать. В магазин что-то привезли, стояла толпа, женщины обсуждали, что будут давать. Таню в магазин не пустили, сказали: мать здесь уже не работает. «Как же так...» Встревоженная, повернула назад. Дом их стоял по-прежнему на старом месте, стена из выступающих желтоватых камней, сложенных впритык, забор из пиленого известняка, калитка с рыжей железной щеколдой и глазком в виде карточного знака — червонный туз. На калитку крестом были набиты доски. Таня охнула, ноги подкосились. С разбегу толкнула калитку и, задыхаясь, очутилась снова в комнате.

Димка, выкупанный, красный, лежал на кушетке, рядом с ним наискосок, неудобно, в ногах,— Владимир Иванович. Оба спали, посапывая. В комнате было тепло, пахло водой, молоком и мылом. Таня стала перекладывать Димку, подняла, он замотал головкой, шевельнул губами. Тане показалось, что он сказал «папа». «Запуталось, ах как все запуталось...» — подумала она.

Мать приехала через неделю.

Таня открыла дверь, женщины обнялись и заплакали...

Владимир Иванович извинился, сказал: «Прости, ждут на строительстве».

Когда вечером он первый раз за последнюю неделю приехал домой, жена с сыновьями ужинали. Его встретило враждебное молчание. Владимир Иванович сел было за стол. Молчание сделалось еще тягостнее. Не выдержав, ушел к себе в кабинет и долго, ошеломленный, сидел там, обхватив руками голову, мучительно спрашивая: «Что ж теперь? Что?»

В половине седьмого в дверь, не найдя звонка, постучали.

Таня уже покормила Димку, тот лежал в кроватке, ручки поверх одеяла, ножка в отлет. Мать ушла в магазин, Таня открыла, думая, что это вернулась она. Открыла и замерла: на пороге в дверном проеме стояла крупная женщина с плоским белым, страшным лицом, с белыми слепыми глазами, вся в черном.

Ужас сковал Таню. Обе стояли напряженно, молча, дверная пружина, сокращаясь, теснила дверью.

— Я жена Владимира Ивановича,— сказала женщина.

Таня склонила, как под топором, голову. Когда вошли в комнату, умоляюще сказала:

— Только говорите, пожалуйста, тихо — ребенок спит.

Женщина невидяще посмотрела на кроватку, нагнулась, нащупала, как слепая, рукой диван, села и сразу же начала говорить.

Она рассказала всю свою жизнь с Владимиром Ивановичем, как познакомилась в Батуми на танцах, как ждала его всю войну, как родились дети. Она говорила ровным голосом, но Таня ничего, кроме звона в ушах, не слышала и только кивала,

— Я защищаю семью, защищаю детей, их у нас двое,— сказала наконец Варвара Даниловна.

— Да, это очень разумно,— как в тумане, без смысла ответила Таня.

Варвара Даниловна торопливо закончила:

— Конечно, он меня давно не любит, дома молчит, почти не разговаривает, но что поделать, надо беречь семью... Впрочем, Володя никого не будет спрашивать,— добавила она,— он сделает так, как решит. Он никогда не слушал меня.

Свет ночника, поставленного на пол, бил в потолок, голубое печальное пятно плавало над головами. Победный тоскливый звук трубы наполнил комнату — соседи забыли выключить радио.

— Как же это вы с ним одна? — неожиданно спросила Варвара Даниловна.

Таня вздрогнула и наконец увидела, что перед нею сидит начавшая стареть женщина, усталая, робкая, бесконечно испуганная случившимся, совсем не с белым, а с обычным загорелым лицом и заплаканными карими, потускневшими, когда-то красивыми глазами.

— Мне помогает мама, она согласилась пожить у нас первый месяц.

Варвара Даниловна спросила:

— Она у вас старая и слабая?

— Что делать...

— Могу я чем-нибудь?..

— Не надо.

И тогда Варвара Даниловна начала уходить. Она уходила мучительно долго, страдая от невозможности продолжить разговор, боясь совершить какую-нибудь непоправимую ошибку, хотела еще что-то предложить и не предложила, что-то посоветовать и не посоветовала, вышла в коридор и, наступая на скрипучие подвижные половицы, направилась в сторону выхода. Таня замешкалась, отстала. Гостя с трудом открыла тяжелую дверь, и та, разделяя навсегда двух женщин, ударила вновь.

И тогда Таня вскрикнула от непереносимой боли, потому что поняла — конец, рушится то, что она считала счастьем, рассчитывать больше не на что.

«Надо терпеть, надо терпеть!» — повторяла она, кружа по комнате.

Бусы были сделаны из маленьких конических раковин, грубо выкрашенных в красный и зеленый цвет.

Посередине, замком соединяя цепочку, висела большая, покрытая серебрином, раковина виноградной улитки.

— Папа, ну купи же, купи! Они такие красивые! — Таня упрашивала отца долго, и, какими отвратительными ни казались ему бусы, он все же тогда купил их.

Таня нацепила бусы на шею и всю дорогу, пока шла домой, пела и подпрыгивала.

Это было в тот приезд отца, когда на вокзале зарезало железнодорожника, мать уехала в Феодосию, и они с отцом неделю жили одни (две комнаты мать с весны сдала курортникам) в маленькой угловой комнатке, окно во двор, где по краю забора рос черный виноград, откуда видны были абрикос и несколько кустов голубой туи.

Дома Таня сняла бусы, погладила их, бережно положила на колченогий стол посередине комнаты и пошла поиграть с девочками на улицу, а отец лег — устали ноги и покалывало в груди.

Все остальное рассказывал он, и случившееся Таня видела как бы его глазами. Когда он проснулся, солнце было низко, оно сквозило через редкие абрикосовые ветки прямо в окно, бусы почему-то свесились со стола, и отец подумал, что Таня положила их небрежно, с краю. Он передвинул их и ушел на автобусную остановку: могла приехать мать.

Мать не приехала. Когда он вернулся, Таня сидела на полу, надув губы, на ладони лежали бусы.

— Ты зачем сбросил их со стола? Я нашла их вот тут. — Она показала на самый порог.

«Ерунда какая-то!» — подумал отец, но спокойно ответил:

— Мне и в голову не приходило их трогать!

Перед сном Таня положила бусы на подоконник, а он плотно запер от москитов окно.

Проснулся он от ощущения того, что в комнате что-то происходит, встал, включил свет, осмотрел стол, подоконник, понял, что бус нет, и удивился, сел на кровать, стал искать бусы глазами, сразу увидел — они лежат на полу. Но теперь в них было что-то странное, он присмотрелся: они медленно двигались. Слез с кровати, присел над связкой. Красные и зеленые раковины двигались следом за серебряной, а та была теперь в вершине угла, и из-под нее то показывались, то исчезали настороженные черные булабочные рога. Блеснуло зеленое тело. «Так вот оно что!» Он поднял связку — раковина улитки была в двух местах пробита — и поду-

мал, как безразлична была работа тому, кто собирал, красил и нанизывал на суровую нитку бусы, если он даже не обратил внимания, что ранит живую плоть!

Проснулась Таня. Они отделили серебряную улитку от связки, вынесли во двор и в темноте на ощупь положили ее на сухие виноградные листья.

Под утро пошел дождь. Услыхав стук капель по оконному стеклу, отец проснулся еще раз и решил, что напрасно они выпустили серебряную улитку — она теперь будет резко отличаться от других и это привлечет хищных птиц и собак.

Утром он сказал про это Тане, они пошли во двор, но на том месте, где ее оставили, улитки не было. Сделали несколько шагов вдоль забора и обнаружили на мокрых бурых листьях короткую серебряную дорожку.

— Ну вот, а ты боялся,— сказала Таня.— Теперь с ней ничего не случится.

На углу Греческого и 2-й Советской человек, стоявший на тротуаре, поднял руку. Сашка затормозил.

— Не подвезешь, шеф? Мне недалеко.

— Садись.

— Одну вещь надо взять.

— Долго ждать не могу.

Пассажир был коренаст, черен лицом, в дубленке. Подъехали к большому пятиэтажному старому дому. Черный вошел в парадную, через несколько минут появился снова — легко нес туго набитый мешок.

— Багажник открывать?

— Открывай.

— Куда едем?

— До Кузнечного.

Расплачиваясь около рынка, черный сунул Сашке десятку, поднимая с земли мешок, спросил:

— А если завтра, в это же время?

— Понравилось?

— В двенадцать буду, где ты меня брал.

— Попробую...

Сашка уже работал на легковой — возил Владимира Ивановича, машина в полдень тому не понадобилась, к двенадцати подкатил.

Черный был на месте. Снова взяли мешок и снова, расставаясь, дал десятку и сказал:

— Еще разок?

— Не обещаю.

— Нет, шеф, уж ты не подводи.

— Ладно.

На этот раз машина Владимиру Ивановичу оказалась нужна. Сашка сказал, что нужно заехать в гараж, сменить прокладку. Владимир Иванович поморщился — его вызывали в трест, — сказал: «Ладно, туда я доберусь, но чтобы обратно — как часы».

К условленному времени Сашка опоздал, черный нетерпеливо расхаживал, поглядывая на стрелки.

— Опаздываешь... Ну, давай жми...

С мешком на этот раз вышла задержка. Сашка стоял около открытого багажника, как вдруг откуда-то, оглядываясь, подскочила старушка.

— Парень, а парень, ты что это делаешь?

— В чем дело, бабушка?

— Не понимаешь? Машина-то у тебя казенная, что я — номер не вижу!

— У нас все, бабушка, казенное. Чем я тебе не нравлюсь?

— Я тебя третий раз замечаю.

Она хотела еще что-то сказать, но шевельнулась парадная дверь, из нее показался угол мешка — человек выходил спиной вперед, — старушка юркнула мимо. Когда отъезжали, Сашке показалось, что в окне первого этажа кто-то отвернул занавеску.

На следующее утро он, как всегда, подал машину к конторе. Секретарша сказала:

— Саша, два раза звонили из ГАИ, вас вызывают. Владимир Иванович сказал: пускай едет.

Сашка пожал плечами — нарушений вроде не было.

У дежурного по ГАИ его фамилия была записана на бумажку, дежурный сказал — на шестой этаж, к майору.

Краснолицый майор сидел за столом, заваленным бумагами, спросил номер машины, цвет, в какой куртке ездил последние дни. Сашка объяснил. Тогда майор посмотрел какую-то запись в книжечке, снял телефонную трубку, набрал номер:

— Он у меня. Все точно: «Волга», цвет черный, номер совпадает, куртка коричневая с молнией.

Что-то выслушав в ответ, вырвал из книжечки листок, написал на нем адрес и приказал Сашке ехать туда немедленно.

На доме, около которого Сашка остановил машину, висели черные доски — «Районная прокуратура», «Суд». В узком, покрашенном унылой серой краской коридоре нашлась дверь с табличкой «Следователь».

Человек в форме, сухощавый, с нездоровым цветом лица, попросил паспорт, что-то записал, откинулся на спинку стула, посмотрел холодно (глаза глубоко запавшие, от переносицы дугой черные тени), сказал:

— Расскажите о ваших поездках с Греческого на Кузнечный... За дачу ложных показаний предупреждаю... Роспись — вот тут.

Сашка сперва растерялся, потом заговорил, путаясь, волнуясь, про десятки сперва умолчал, потом сообразил, что все равно узнают.

— Значит, тридцать рублей,— медленно повторил следователь.— И все?

— Все.

— А уговор какой? Какая доля?

— Что еще за доля?

Следователь, как показалось Сашке — злась, объяснил:

— Когда вступают в сговор, оговаривают долю. Не можете не знать... Итак, с кем и когда познакомились? Фамилия, адреса?

У Сашки вспотели ладони.

— Я же говорил: он сам подсел ко мне. Случайно. Я его всего три раза и видел. Какая может быть фамилия? Левый рейс — и все.

— При групповом хищении, да еще систематическом, странно выручку не поделить заранее. Подумайте.

— Какое групповое хищение? Ну, вы даете...

— Значит, сговор отрицаете? Тогда вызову еще... А сейчас подпишите показания. Из города не уезжать... Давайте отмечу пропуск.

С этого дня Сашка жил в непрерывном ожидании. Следователь вызывал каждую неделю. «А вдруг черный оговорит?» Сашке стало страшно до тошноты. Вечером он зашел в рюмочную. На другой день Владимир Иванович, садясь в машину, втянул носом воздух, свирепо посмотрел на Сашку, вышел, хлопнув дверцей.

Приехал завгар, отматюкал Сашку, за руль сел сам. Сашка подметал в гараже двор, когда прибежала секретарша и сказала: вызывает главный.

В кабинете Владимира Ивановича сидела Лидия Павловна. Владимир Иванович сухо кивнул Сашке и, обращаясь к ней, продолжил:

— Вот именно потому вам это и поручается. Шофер или не шофер, не имеет значения. Будете представлять коллектив на следствии, если понадобится — на суде.

Сашка стоял у двери, глаза в пол.

— С машины я его снял, пьяницы нам не нужны. Характеристику, которую требует следователь, получите у секретарши, завтра отнесете... К нему есть вопросы?.. Евстифеев, вы все поняли?

Когда Лидия Павловна с Сашкой вышли из кабинета, сели в коридоре на подоконник, она попросила рассказать все как было.

— Что — как было? Как было, так было.

Лидия Павловна не обиделась.

— Как ты изменился,— сказала она, рассматривая исхудавшее Сашкино лицо, плохо выбритые щеки, неожиданно большой, словно распухший нос.— Я ведь тебя помню, каким ты к нам пришел. Пьешь?

— Нет.

— Неправда. И злой какой. Давай все-таки поговорим.

Постепенно она заставила его рассказать все: и про десятки, о которых еще не знал Владимир Иванович, и про старуху, и про следователя, усталое равнодушие которого Сашка принимал за недоброжелательство.

— Это все старая, точно — она, гадина, капнула.

— Саша, что ты говоришь? Она, может быть, тебя от настоящей беды спасла! Ты же ничего не знаешь... Завтра я буду у следователя, потом поговорим... Смотри, держись. На кого стал похож...

Лидия Павловна смотрела на этого высокого, сильного парня, и в ней поднималось неожиданное, ранее незнакомое ей чувство превосходства над мужчиной, ясность понимания чужой запутанной жизни.

Когда Сашка ушел, она вернулась в кабинет и удивила Владимира Ивановича, сказав:

— Он не крал и ни в каком сговоре не был. И ни в какой шайке. Надо его спасать. Нельзя выгонять его, нельзя даже снимать с вашей машины. Разве не видите: его сейчас толкнуть — и покатится. Характеристику вы ему какую напишете?

— Какую заслужил...

— Надо хорошую.

На другой день следователь был поражен непонятной страстностью пожилой некрасивой женщины, которую прислали к нему из треста. Хорошей оказалась и характеристика. Дело, которое он вел, вдруг запуталось: ниточка, которая, казалось, была в руках — показания шофера, члена шайки и соучастника преступления, — ускользала из рук.

Поздно вечером в дверь постучали.

— Вас к телефону,— помолчав, соседка уже совсем зло добавила: — Мужской голос.

— Скажите, меня нет дома.

— Москва вызывает...

Утром, когда она пришла в лабораторию, туда взглянул Владимир Иванович, щеки в порезах: брился утром зло, торопясь, ненавидя себя.

— Я больше так не могу. Я ведь люблю тебя, у нас сын, чего ждать-то? Ну, скажи, чего?

Они стояли посреди коридора, проходившие обтекали их. Таня вышла на работу, не продлевая декретного отпуска, сильно похудела, лицо осунулось.

— Чего ждать? Отпусти мать, я возвращаюсь, будем жить одни.

— Я уезжаю. В Москву. Звонил Викентий Николаевич. Его посылают на Дальний Восток. Хорошие условия, такие хорошие, что он даже не захотел говорить. Берет меня с собой. Отправляю маму с Димкою в Крым.

— Ему же только год.

— Она привыкла.

Ошеломленный, он не сразу понял смысл ее слов, долго стоял, не отвечая, потом зло повернулся и пошел прочь.

Таня сказала неправду — согласия Викентию Николаевичу она еще не дала и только теперь, после разговора с Владимиром Ивановичем, пошла в почтовое отделение. Шла почему-то долго, дошла до центра города, до вокзала, оказалась в большом, шумном и многолюдном вестибюле, стала за конторку, взяла голубой бланк, перемазанную чернилами ручку, долго стояла, ощущая пальцами тонкий деревянный стержень, не решаясь начать. Прошла женщина с букетом цветов. Она держала его у груди, как ребенка.

Однажды Владимир Иванович подарил ей цветок, сорванный на обочине дороги (они шли из Приморска в Феодосию). Цветок был розовым. Впрочем, он мог быть и голубым и желтым. Владимир Иванович поставил тогда рюкзак на асфальт, перепрыгнул через канаву, сорвал цветок, вернулся, встал на колено.

Закусив губу, она вывела на бланке одно слово: «Согласна».

Все началось с совещания: Борисов попал туда случайно — не нашли, кого послать; когда вошел, на трибу-

не уже стоял докладчик, средних лет, виски с сединой, серый блестящий, ловко сшитый костюм.

— Таким образом, задача строительства поселка в этих и в горных и северных районах чрезвычайно сложна,— говорил он.— Нет вечной мерзлоты, но поселки располагаются на местности с очень сложным рельефом. Здесь нет горизонтальных площадок, крутые склоны, сильные изгибы при малой высоте сопков. Теряется такой элемент поселка, как улица. Вспомните Испанию или Италию — маленькие города, выросшие на склонах гор, улица превращается в извилистый узкий проход между домами. Но там дома отделены друг от друга двориками-садами. Рассматриваемые условия совсем иные — суровая снежная зима, прохладное лето. На севере человек старался все свое хозяйство забрать под крышу. Возникает идея: дома, вытянутые по горизонтали. Если район повышенной сейсмичности, решение — в виде монолитных, в сечении круг или эллипс, домов, переходы — внутри. На эскизе — общий вид такого поселка...

Докладчик повернулся к плакатам. На длинном склеенном, вполстены, листе ватмана вдоль склонов сопков тянулись, повторяя их изгибы, дома. Они напоминали белые тонкие щупальца морского животного.

— Но строить имеет смысл только в том случае, если мы найдем способ, при котором такие дома проще, чем обычные сборные или кирпичные. Еще недавно такая задача была неразрешима. Однако изобретенный новый, с включением смол, бетон...

Борисов вздрогнул, — как так? — вспотели ладони. Он смотрел на говорившего так напряженно, что лицо того расплылось, остался один костюм.

Оставшуюся часть доклада слушал плохо, с трибуны долетало: необычность и важность... смелый подход... новые горизонты.

Выступлений по докладу не было, к странным домам все отнеслись как предмету бесспорному и уже известному. Борисов понял: кто-то прослышал про бетон. Он кинулся пробиваться через толпу, докладчик отвечал на вопросы.

— Можно вас на минуточку? — Серый костюм нехотя качнулся к Борисову.— Дело в том, что бетон, о котором вы рассказывали, наша работа. Вы говорили, как его лить, но льют его совсем не так. Вы ошиблись или говорили, не понимая... Если хотите, я могу, нет, я должен...

Но серый костюм отвернулся, задвигались стулья, публика покидала зал. У самых дверей кто-то ухватил Борисова за рукав — худощавый с прямою спиной, чисто выбритый, сделал знак отойти.

— Нам надо потолковать. Вы только что сказали, что бетон ваш? — Незнакомец присел на подоконник. — Расскажите подробнее.

— Почему я должен вам о нем рассказывать? Ну, хорошо, работа наша, изобрели его мы.

— Где вы работаете? Что у вас за контора? Да не бойтесь. Скажите лучше, можно из вашего бетона отлить трубу длиной в несколько километров? И очень большого диаметра.

— Конечно, можно, все можно... Дайте карандаш.

— Не нужно рисовать. Ваш телефон?

— Кто вы такой? Почему это вас интересует?.. Какое они имеют право, как узнали? Уже обсуждают какие-то проекты, делают доклады... Мы подадим в суд.

— Если мы с вами договоримся, то все будет в порядке. Все решим мы. Итак, я вам звоню.

— Лучше дайте ваш телефон.

— А вот это не могу, — легко спрыгнул с подоконника, так же легко ушел.

Телефонный звонок раздался, когда Борисов писал за столом, а Викентий Николаевич с Таней раскладывали по номерам пахнущие аммиаком рыхлые коричневые синьки. Голос в трубке Борисов узнал.

— Нам нужно еще раз поговорить. Не могли бы вы встретиться со мною, скажем, завтра?

— Отчего же, — Борисов удивился, — можно и завтра, приходите.

— Нет. Давайте так: вечером, ресторан гостиницы «Москва». Вы будете с женой?

— Причем тут жена? — Он оглянулся на Викентия Николаевича. — Я вас не понимаю.

— Поймете. Договорились, завтра. Приходите с ней. В семь. Буду ждать вас за столиком.

— Но кто вы?

— Меня зовут Александром Ивановичем.

— Чушь какая-то, детектив, хоть посидим в ресторане, сто лет не были, — сказала жена. — Пойду из любопытства, не представляю себе, как делаются шпионами.

В гостинице швейцар, переспросив фамилию, сказал: «Пожалуйста, гардероб налево».

Поднялись лифтом на четвертый этаж и только вошли в зал, из-за столика в углу поднялся вчерашний незнакомец. На небольшой сцене музыканты с громом переставляли аппаратуру. Притушили освещение, и под потолком вспыхнули прикрытые цветными стеклами плоские, как сковороды, лампы. У сидящих лица сделались желтыми и синими. В трубах и на скрипках зажглись искаженные кривизною огни.

— Мы с вашим мужем уже знакомы, а теперь рад — с вами. — Александр Иванович наклонился к Борисовой. — Я думаю, вы не против серьезного разговора? Вы ведь тоже инженер.

— А что вы еще обо мне знаете?

— Шучу... Сейчас закажем, вот меню... Итак, я познакомился с работой. Ваш бетон — это то, что нам нужно. Но сначала выясним — у вас уже есть какие-нибудь серьезные предложения?

— Н-ну... пока...

— Значит, предложений нет. Так вот, о чем я хочу поговорить. Представьте себе — стройка на Дальнем Востоке. Бетонные работы. Много бетона, если говорить откровенно — колоссально много. По окончании строительства — орден, отдельная квартира в Москве. Сколько вы сейчас получаете?.. Там в четыре раза больше. В четыре. Говорю в присутствии супруги. Правда, на стройке быт спартанский, но снабжение — спецпаек, обувь, одежда.

Борисова подняла бровь:

— Что это за организация? Много сулите. Кто вы такой?

— Не имеет значения, я всего лишь вербую кадры. А организация?.. Строительство семьсот один. Вам что-нибудь это говорит? Государственная организация, каких сейчас много. Начальник строительства Кугель. То же не слышали?.. Нам нужна небольшая группа из тех, кто уже работал с бетоном. Высоковский — я не ошибаюсь? — он ведь руководитель, изобретение его. Дальше — вы. Хорошо бы и третьего, простого инженера, молодого, без претензий.

Жена толкнула под столом.

— Соловьева, — быстро сказал Борисов. — Татьяна Соловьева, но она лаборант.

— Мы не формалисты. Итак, третья — она. Понадобятся еще люди, всегда можно будет вызвать.

Ударил, закачался оркестр. Огни в трубах и на скрипках задвигались. Между столиками, торопясь танцевать, прошла пара — казах или чукча с тонкой белокурой девушкой. У девушки в волосах нетерпеливо прыгал гребень.

— Ну вот и наш заказ.

Двигая ногами, как лыжник, приближался официант. Он шел, держа на вытянутой руке поднос, на столе появились котлеты по-киевски. Александр Иванович налил всем красного вина, взял за теплую розовую ножку рюмку.

— Мы вас поняли, мы подумаем,— сказала Борисова...

Когда через два дня в квартире вечером снова раздался звонок, они уже поняли — это не просто шанс, это выход куда-то на самый верх, о чем вчера еще нельзя было и мечтать.

— А кто поговорит с Высоковским?

В трубке ответили быстро:

— С ним все решено. Он и лаборантка Соловьева. Командируетесь главком. Все трое выезжаете через неделю.

Таня не сразу поняла, отчего так торопится Борисов и почему все теперь обращаются к нему, а не к Викентию Николаевичу. Борисов как-то легко, быстро доставал все — билеты, документы, деньги.

И наконец настал день отлета. Серебристый двухмоторный «Ил» долго стоял в Новосибирске и Иркутске. Когда сели в Комсомольске — до последней минуты тянулся сзади, словно преследуя, темный в извивах Амур,— подумала: «Ну, вот и конец!», но оказалось, что это только начало. Борисов сказал: дальше поездом, но у поезда нет постоянного расписания, вагоны идут до Ванино. Кто-то на вокзале подсказал: сегодня едет начальник строительства — вот если его поймать! Катером перешли на другой берег Амура, там на пути без перрона стоял маленький состав — три товарных и длинный красный вагон с буквами «СВС», про который Викентий Николаевич удивленно сказал:

— Пульман!

Окна в вагоне были закрыты желтыми занавесками, на подножке у тамбура военный в шинели с кобурой у пояса. Борисову он сказал:

— Ничего не знаю,

Пришлось отойти и сесть в сторонке на чемоданы. Викентий Николаевич настороженно рассматривал голые, без составов, пути, холодный, оставленный позади Амур, на том берегу на пустырях редкие многоэтажные дома.

— Что ж они новую дорогу тянут по этому берегу? — сказал он. — Берег гористый, удобнее было бы по тому. Удобнее и дешевле.

— Значит, тех, кто строит, не волнует, что удобнее. Здесь ни людей, ни денег не считают.

Борисов сказал, что-то не договаривая, и Тане это не понравилось. На реке показалась точка — бежала моторка. У берега лодка выбросила из-под себя пену и замерла. Из лодки легко выпрыгнул человек — сухонький, рыжий, во френче, полез по склону. Около пульмана к нему подошел Борисов, френч долго слушал, потом почему-то пристально посмотрел на Викентия Николаевича, кивнул и скрылся в вагоне.

Борисов уже, подзывая, торопливо махал рукой.

— Боже мой, никогда так не ездила! — сказала Таня, осматривая полированного дерева стены и узкие с медными ручками и замочками шкафчики в купе. — Зачем нам три зеркала? А это что за дверь?

— Там туалет.

Без гудка мягко качнуло, и по зашторенному окну побежали, отскакивая назад, тени.

Когда под утро проснулась, дробный частый перестук колес сменился медленным — паровоз тянул задыхаясь. Отвела пальцем занавеску — редкие, наклонно стоящие сосенки не торопясь уходят назад. Поняла: состав идет в гору. Так ползли до полудня, а в полдень поезд пошел неожиданно легко, и, когда остановился, в дверь просунулась голова Борисова.

— У вас открыто? Вхожу без приглашения. Как, Викентий Николаевич, провели ночь? Таня, смотрите, у самой насыпи могила. Инженер, когда строили дорогу, замерз.

Могила — неприметный холмик. Борисов рассказал, что дорогу прокладывали во время войны, искали перевал. Инженер, утопая в снегу, вышел сюда таежной тропой, отправил на базу рабочего с донесением и картой, а сам без сил, с обмороженными ногами остался лежать под брезентовой накидкой...

— Их называли инженеры путей сообщения, — сказал Викентий Николаевич. — Рубеж века. Это они построили дороги, которыми до сих пор живет страна.

Это были люди совершенно особого склада. Вам, Борисов, их не понять. А я их знал... Зовут, что ли?

Купе, где пили чай, удивило: было оно просторным, видно, сломали перегородку. Бархатным полукружием в углу диван, в другом углу стол с книгами, на стене карта.

— Вот — сказал Борисов и повел пальцем через зеленый и желтый материк к синей полосе пролива. — Тут.

Пролив пересекала двойная, красным карандашом проведенная линия.

— Тут, — сказал Борисов и опять чего-то не договорил. — От материка на остров. Мыс Низменный — мыс Гиблый. Вот что строит Кугель. Знаете, на чем он, говорят, поднялся? Во время войны строил заводы. Пока с запада везут станки, на Урале уже готовы цехи. Новая порода людей: под Красноярском фундаменты заложили раньше, чем были готовы чертежи. И конечно, умершие тогда были не в счет. Все на костях. Не морщитесь, Викентий Николаевич, у этих людей хватка, за ними будущее. Я чем-то вас расстроил? Ну, скажите.

Но Викентий Николаевич промолчал, и Таня поняла, что разговор ему неприятен.

— Да, да, стройка века. И подумать только, в стране никто о ней не знает! А как вам нравится: Мыс Гиблый! Говорят, тут гибли каторжники, пытались переплыть пролив... В какие места попали! — Борисов довольно потер руки.

Поезд по-прежнему катил под уклон. Из-за сопки вывернулась и побежала рядом с вагоном река, мелькнуло название разъезда. Около станционной будки стояла с желтым деревянным лицом старуха в кожаной, расшитой стеклянными бусами одежде и курила трубку. Из вагона выбросили мешок с почтой, старуха подняла его, спустилась к реке, залезла в узкую верткую лодку и, отталкиваясь шестом, поплыла.

Вечером была пересадка. Пульман ушел на юг к порту Ванино, а они выгрузились около одинокого странного, с немецкой остроугольной крышей, станционного здания. Около него было безлюдно, на перроне солдат с винтовкой, тут же под парами небольшой паровоз и состав — всего пять маленьких вагонов. Таких вагонов Таня никогда и не видела: деревянные полки, поднимаясь, смыкались, и в вагоне оказывалось два этажа нар. Забрались на нижние, Таня достала из чемодана шерстяное тонкое одеяло, и, прижавшись друг

к другу, сидели, не снимая пальто, накрывшись с головой, перешептываясь, уже не думая, отойдет ли когда-нибудь этот странный поезд. Но и он в конце концов дернул, покатил, свет не зажегся. У железной круглой печки в конце вагона вполголоса переговаривались, со скрипом вскрыли банку, забулькала наливаемая в стакан жидкость, кашляя и давясь, пили. Среди ночи Таню разбудил кто-то, задев за ноги, цепляясь за стойки и края нар, бормоча, пробираясь по вагону, пройдя в конец, остановился, завозился там, переминаясь, затем послышался звук разбивающейся о пол струи, человек облегченно вздохнул. «Ужас, ужас!» — подумала Таня. С рассветом поезд пошел как-то особенно медленно, словно преодолевая тянущую его назад силу, но потом опять, после перевала, замотало, тени за окном замелькали все быстрее и быстрее. В полдень Викентий Николаевич и Таня вышли в тамбур. Посреди тайги, на откосе, внизу, змеилась речка, на берегу чернели два заброшенных, пустых, с выбитыми окнами барака и, обнося их, прямоугольником, лежала вместе со столбами упавшая в траву колючая, в три ряда, проволока. «Лагерь, — удивленно сказал Викентий Николаевич. — Откуда он здесь?» И наконец остановились у одинокого станционного здания — около него черные фигурки с чемоданами на плечах — те, кому теперь надо садиться в эти странные пугающие вагоны и уезжать.

Вылезли прямо в грязь — только что прошел дождь, в небе курилось, торопясь уйти за тусклые зеленые сопки, облако. От станционных домов — щебневка, по ней и направились все приехавшие. За поворотом открылась плоская, вдавленная в берег бухта: два разновысоких мыса, на берегу бараки да рубленые, обшитые тесом дома. От барakov и домов полого к сопкам пробитые в редколесье просеки. Странное безлюдье... И вдруг шедшие впереди стали сходить с дороги, перебегать за канаву, ставить чемоданы на землю. Возник тихий, угрюмый, непонятный шелест: из низинки, в которую спускалась дорога, показались головы в фуражках, заблестели винтовочные стволы, а следом уже поднималась, вытекала на дорогу, раскачиваясь, зловещая молчаливая колонна: серые суконные шапки (некоторые держали их в руках), щетинистые лица, у всех темный металлический загар, по обе стороны — конвой, на поводках поджарые черно-коричневые собаки с дикими равнодушными глазами.

Таня вздрогнула, Борисов, торопясь очистить доро-

гу, перекинул ее чемодан через канаву, подал руку. Совсем рядом прошел, едва не толкнув ее, конвойный — скуластое желтое лицо... Текла, текла серая, дымная, со странным тяжелым запахом толпа, ровно, зловеще шелестя, словно река тащит камни по дну, изогнулась — крикнул что-то конвойный, рванулся и осел на задние лапы остановленный ремнем пес, — затекла за поворот и пропала.

— Что это? — только и смогла проговорить Таня. — Откуда, зачем они здесь?

На что Борисов только и сказал:

— Привыкнете.

А Викентий Николаевич страдальчески скривился:

— Вы что — знали и не могли предупредить?

— Я предупреждал — строительство закрытое. Идемте, идемте, надо устроиваться.

Поселили их в щизовом, крытом позеленевшей щепой, похожем на барак доме: четыре комнаты, общий коридор и кухня. В четвертой жила грузная, с нездоровым лицом и тяжелыми руками медицинская сестра Зоя. Увидев Таню, она сразу сказала:

— На кухне ничего не трогать и не ставить. И так повернуться негде. Не на Западе.

— Запад у нее все, что за Хабаровском, — сказал Борисов. — Плевать на нее, будут тут всякие распоряжаться. — И он выволок на кухню для Тани второй стол.

Над столом висели веревки для белья. Таня ходила, нагибаясь, стараясь не задеть лицом то мокрую, только что повешенную, простыню, то огромные оранжевые растянутые женские трусы.

— Не так я все это себе представлял, — сказал Викентий Николаевич. — Но ведь и отказаться нельзя было. Правда? Трудности — это не главное, главное — работа.

Их принял заместитель Кугеля. Расхаживая по громоздкому с длинным ворсом ковру, рвал его носками ботинок, зло доставал из кармана пузырек, выкатывал на ладонь мелкие серые шарики. Торопясь, объяснил, что начальник строительства на трассе, объемы работ ожидаются колоссальные. Сперва хотели выполнять стены туннеля в железобетоне, но возникли сложности с арматурой. Ваше изобретение как нельзя кстати, надо срочно выбрать площадку под завод и завозить цемент... Когда Викентий Николаевич попросил назвать: что значит — колоссальные? — поморщился:

— Со временем, со временем...

Цифр никаких не назвал, стал говорить: то, что вы тут увидели,— верхушка, работы развернуты такие, что и представить не можете. В тайге, все люди в тайге, вот выведем сюда еще одну железную дорогу, город развернем — все изменится.

— Вас трое. Дайте мне на всякий случай еще одну фамилию.

Оттого, что смотрел он на Таню, та смутилась и назвала Лидию Павловну.

— Начнете с лаборатории, помещение мы вам выделим. Заодно посмотрите котлован.

— Нам бы чертежи туннеля, чтобы представить характер работ,— сказал Борисов, но заместитель сделал вид, что не расслышал.

Вечером Таня приготовила чай, говорили мало, даже Борисов только протянул:

— Да-а, здесь надо привыкать: такие, значит, особенности...

Викентий Николаевич поморщился:

— Только без этого. Не хотите ли вы наконец признать, что ошиблись?

На вершину сопки их вывела тропинка. Она пришла между кочек, между зеленых сырых шапок мха, внизу осталось редколесье, болотистый с мокрой глиною склон.

Викентий Николаевич потрогал рукой холодный камень, но садиться не стал, а повернулся лицом к морю. Огромный Пролив лежал у их ног. На горизонте белой полосой стоял туман, Острова не было видно, но в воздухе над туманом угадывались голубые пауки с опущенными лапами — вершины далеких островных сопки. Внизу разбегался свой берег, рейд с черненьким семечком — катером, и не понять никак, движется он или стоит на месте. Один из входных мысов пониже, другой повыше, над тем, что повыше, белый дым — птицы, тысячи птиц.

— Удивительно,— сказала Таня,— на самый верх влезли, а все — болото.

— Камень и глина. Вы заметили, когда шли, что, кроме птиц, тут никого нет? У нас в лесу жуки копошатся, ящерицы, а тут... Мертвая сопка... Всю жизнь мечтал увидеть птичий базар. Вот он, а не дойду, хоть на носилках неси. Видно, последний раз в жизни на гору влез...

Викентий Николаевич трудно дышал, а Таня, хмурясь, разглядывала внизу крошечные домики — поселок, на другой стороне бухты черные прямоугольники — зоны, внутри каждой зоны — бараки, от поселка, от зон — желтые протоптанные колоннами дороги, самая широкая к морскому берегу, где между водой и подножием небольшой сопочки в земле коричневая глубокая рана — начало туннеля — котлован. Еще две дороги поуже в тайгу, там просвечивает желтая лента — песчаная насыпь, новая дорога на Амур.

— Непостижимо,— печально сказал Викентий Николаевич.

Назад шли молча. Внизу, у самой дороги, Таня нагнулась и сорвала едва раскрывшийся на тонком стебле лиловый цветок. Викентий Николаевич сказал:

— Ирис. Удивительно — тут растут ирисы. А впрочем, все равно...

Да, огромный пугающий Пролив лежал теперь за окном, а за ним Остров, настолько большой, что и сам он мог поспорить за право называться материком. Отделенный Проливом, был он когда-то пугающе безлюдным. Редкое зверье перебиралось, что ни год, по льду на Остров, давно заселило сырые еловые и березовые его леса на севере, красное редколесье и бамбуковые заросли на юге. Шатались летом по этим лесам медведи, зимними ночами протяжно и безысходно были волки, рыжие лисы, как искры, стреляли в зарослях травы, которая шла здесь в рост удивительно, как ни в каких других местах: в два человека вымахивала порой неотличимая от дерева медвежья дудка, густо цвел шеломайник, а в низинах, у ручьев, теснились белокопытник и частые, каждый лист шириною с кухонный стол, лопухи. Бродили по Острову оленеводы и охотники-нивхи, на самом юге еще не так давно видели бородатых айнов, но те с началом века исчезли, уступив безропотно свои поселки и клочки-огородики японцам и японцами привезенным корейцам. Север же, потеснив нивхов, заняли каторжные — русские, народ, впрочем, не разбойный, а скорее трудолюбивый и безответный. После войны уехали японцы, исчезли вместе с ними безотказные корейцы, почерневшие дощатые дома заменили каменные, а вместо черного пыльного шлака, которым японцы посыпали улицы, кое-где уже лег асфальт.

Пролив... Он был преградой, не давал вывести на Остров железные и иные дороги, сделать его легкодоступной частью огромной страны, связь с которой не могли бы остановить ни снежная зима, ни летние приходящие от берегов Кореи и Японии тайфуны.

Пролив...

Встречались вечерами на кухне при свете тусклой, вполнакала, лампочки, соседка учила:

— Дурочкой не будь, хлеб белый тут тоже пекут, только надо хорошенько попросить, у твоего что — желудок? К врачу нашему сходи, он справку даст, или через начальство. Тут рот разевать нельзя, сразу издохнешь. Твой — старый, не вытянуть ему здесь.

Таня пыталась объяснить, кто ей Викентий Николаевич, но Зоя не слушала.

— А я вот всю жизнь одна. Всю войну, считай, отъездила с госпиталями — и Волгу видела, и Днепр, чуть-чуть до Праги не дошла. А потом нас с германской на японскую кинули. Во Владивостоке кончила, за длинным рублем, дура, погналась, до сих пор эту Колыму вспоминаю... Тут-то что — мороз больше двадцати не бывает. Правда, сырость такая, ну прямо сидит в печенках. Ты у себя по углам посмотри — мокрое все. Чемоданы под кровать не ставь — зеленые будут. Дождь месяц может идти. Зеки — те с себя ничего не снимают... На Колыме дистрофия да пеллагра, а тут — воспаление легких. Кроватей не хватает — на полу лежат. Коридор свободным не помню... И все равно тянутся, еле живой — а к нам, только у нас им и подкормиться. Чтобы к нам попасть — бензин пьют, от спичек головки трут и в глаза сыпят... Зимой обмороженных привозят — просеку в тайге к Амуру рубят, и прежде чем рубить, их вперед посылают протаптывать, по грудь в снегу ходят. А когда сил больше нет, саморуб делают. На пенек руку положит... У нас на Колыме с такими было строго... Вчера двое умерли. Утром их унесли... Если тебе будут говорить, что, бывает, вместо покойника живого в мешке выносят, — не верь. Это в кино или в книжке так убежать можно. А у нас, прежде чем вынести... — Спихватилась и несколько дней после этого молчала.

Пришел Борисов, сказал: дали комнату под лабораторию. В бараке управления, но с отдельным ходом. Там была лаборатория у геологов. Пошли посмотреть?

Открыл висячий замок, в конце короткого коридора еще одна дверь. Наступал вечер, свету в коридоре не хватало, и Борисов, как ни пытался (ключ, забытый, торчал в замке), открыть дверь не смог.

— Я пойду, мне еще в канцелярию надо, хотите — попробуйте сами.

Он ушел, а Таня, осторожно повертев ключом, открыла. В комнате темно. Пошарила рукой около косяка, наткнулась на выключатель — вспыхнули две молочные пузатые лампы.

Комната оказалась невысокой, вытянутой (лампы осветили каждый уголок), со столами и заставленными прозрачной посудой стеклянными шкафами. Таня осторожно подошла к одному, на полу в серой меловой пыли отпечатались следы. Провела пальцем по колбе — заблестел ручеек чистого стекла. В кладовке нашлось ведро и куча тряпок. Набрала в уборной воды, вернулась, сбросила туфли и, подоткнув юбку, встала на четвереньки. Осторожно плеснула водой на пол и погнала блестящую лужу от окна к дверям. С таким ожесточением терла линолеум, что зеленые пятна от ламп перекочевали на него с потолка. Однако скоро поняла: напрасно начала с пола. Натаскала воды в кюветы и стала мыть окна. Забытой кем-то газетой протерла стекла шкафов, расставила по местам штативы и начала выстраивать рядами на полках колбы. Закончив с ними, домыла пол, проползла на коленях еще раз от окна к двери и, совершенно разбитая, с трудом разогнув спину, прислонилась к косяку. Лампы отражались теперь и в сверкающем полу, и в прозрачных стеклах шкафов, зеленые огоньки горели на пузатых боках колб и тихо светились в пробирках, выстроенных рядами. Провела рукой по бедру — больно кольнуло мышцу, устало поправила около уха прядь и подошла к окну.

Нет, не так уж все и плохо, все уладится, подумалось ей, не может ведь все так остаться, лагерь переведут, начнется привычная, с нормальными человеческими отношениями, суэта. Да, обойдется, конечно...

А вечерами по-прежнему выходила на кухню Зоя, становилась около своей керосинки, помешивая в кастрюле, рассказывала:

— Сегодня двум абсцессы вскрыла... Их к яам конвой приводит. Из одного, как резанула, целый стакан вытек... «Где тебя так?» — спрашиваю. «В буре застудил». А сам ноги на электроплитку норовит поставить, резина на ногах уже горит. Не соображает... Такие дол-

го не живут... Лекпому ночью одного привезли — пикой кто-то ткнул. У них это всегда по ночам, привычка такая: кого убрать надо, — ночью... Еще подушкой душат.

— Мне сковородку снять, — умоляюще говорила Таня и боком, в обход необъятной Зойкиной спины, тянулась к своему огню.

— Держи. — Сковородка, лязгнув, опускалась на чугунную плиту, над керосинным оранжевым пламенем взлетали красные мухи. — Лекпом-то нашел себе, как обещал, такая же, как я, вольняшка, в кавэче работает.

Таня не спрашивала, что такое бур и кавэче¹, переносила сковородку на стол, мешала на ней подгоревшие лук и картошку, мучительно соображая, как поставить теперь чайник.

А Зоя рассказывала, не поворачиваясь и не интересуясь, слушают ее или нет: в спецчасти, говорят, будет у нас и женский лагерь. Охрана будет стрелять — кто ночью попытается перебраться из мужской зоны в женскую, а перебираться они будут обязательно, блатные такого не упустят. Был у нас на Севере такой случай...

Таня не верила ни одному ее слову, но уйти с кухни — значило оставить Викентия Николаевича без ужина, и она продолжала мешать на сковороде, ожидая, когда Зоя освободит место.

— Когда приходят с пересылки, про каждого уже все здесь знают. Его из Казахстана везут, а тут известно. Привезли, а здесь его уже решили. Их суками называют. Даже сучьи войны бывают...

Таня закрывала ладонями уши и уходила. Сковородка оставалась холодная на столе.

Где побывала Зоя на Колыме, Таня так и не поняла, поняла только, что забрасывало ее и на самый Север, так как рассказала: однажды к ним прибыла на автомобилях войсковая часть, перебросили ее откуда-то с юга, это значило, вероятно, из Приморья, может быть, даже с самой китайской границы. Офицерам было сказано не брать семьи, но как это — не брать? Все понимали: завезут, куда уже ни одна баба с детьми сама не доберется, а потому на машинах под брезентовыми шатрами ехали с детьми, с вещами; таились в полутемных клетках нахохлившиеся куры, повизгивали голодные свиньи. Машины свернули с тракта, по насыпанной

¹ БУР — барак усиленного режима, КВЧ — культурно-воспитательная часть.

наскоро грунтовке съехали в ложину. Рыжая холодная тундра кочками, как волнами, убегала вдаль. Бабы заплакали. Как тут жить? А так, сказано было — не везти... Куда сгружать? Командир полка выругался и приказал рыть землянки. Через месяц ударила первая метель, была она не свирепой, погода только примерялась, но и от нее людям стало страшно. Среди землянок бродили ошалевшие свиньи. Со снегом к ложине подкочевали оленеводы. Со стойбища в палаточный городок пришли ездовые собаки. Свиней они никогда не видели. Окружив зверя, долго присматривались, потом две собаки схватили свинью, каждая за ухо, и, растягивая, чтобы зверь не мог повернуть голову, держали, пока остальные не вспороли добыче живот... Кур офицерские жены так и не выпустили из клеток, а когда построили бараки, занесли клетки на чердак, под крышу. Теплый воздух, вместо солнца электрические от полкового движка лампочки... Ничего, кроме рассказа про свиней и кур, Зоя о военных не помнила.

— Тут-то еще что...— повторяла Зоя,— тут зеков кормят. С голоду они не мрут. От начальства ведь работу наверху требуют. А там, бывало, в столовую зайдешь: зек миску вылизывает — ложку украли. В миске одна вода... Здесь их рыбой кормят. Мелкую акулу рыбкомбинат на Тумнине ловит. Акула, они говорят, хорошо, а я раз попробовала — чуть не вырвало...

По утрам Таня отводила угол занавески и испуганно смотрела, как на том берегу перед бараками, за двойной проволочной оградой, за вышками и воротами с будкой, строится колонна. Люди в форме строили ее долго, долго держали. Выводили из строя и возвращали в строй, а около зоны, с наружной стороны, за проволокой, уже стояли кучками с автоматами и собаками на поводках, стояли неподвижно. Когда распахивались ворота и серая, изгибающаяся, как зверь, колонна медленно выползала, ее окружали те, кто ждал с автоматами и собаками. Окружали и, став по бокам, начинали вместе с ней движение.

Однажды она с Борисовым поехала смотреть устье туннеля. Едва вездеход поднялся на горку, открылась рабочая зона. Котлован — распоротая земля, рыжая глина, красный, слоистый камень. Сотни людишек — крошечных насекомых — роятся внизу, долбят камень, лопатами швыряют в тачки. По наброшенным встык

доскам катятся тачки наверх. Текут ручейками серые капельки — бушлаты, а наверху, вокруг котлована, — неподвижно те, с автоматами, и около каждого — у ноги — черная с желтыми подпалинами овчарка...

Стояли, смотрели, пока не начало смеркаться, и тогда те, кто копал и кто возил, вдруг разом бросили тачки, свалили в кучи лопаты, полезли по крутым глинистым дорожкам наверх, сбились в колонну. Ее обтекла охрана, и огромное, многоногое животное начало движение. И вдруг оба — и Таня, и Борисов — поняли, что нет здесь ни отдельно взятого человека, ни даже колонны и что конвой охраняет не их, а Пространство, внутри которого колонна движется, так же как охранял час назад Пространство на дне раскопа. Вот почему: «шаг влево, шаг вправо...»

Да, воистину великими были и Пролив, и огромный, вытянувшийся с юга на север Остров, поросший лесами, всхолмленный сопками. Был он столь велик, что когда в одной стороне его давно зеленел бамбук и душно, без меры, съетило солнце, на другой еще вылезали на берег принесенные от Магадана и Шантар льдины. И вот оттого, что так велики они были, грандиозным получался и туннель. Сидя в теплой, натопленной для него, начальника, рубленой избе, в комнатке с задернутой шторой, вспоминал инженер Кугель, как в молодости, разложив перед собой карту, наткнулся на голубую ниточку — реку Мая — и ахнул, увидев, что чуть-чуть не дотягивает она истоком до берега Охотского моря. Родилась тогда дерзкая мысль — ногтем всего-то одна черточка — пробить канал. Распадется тогда Сибирь на двое, и корабли прямо из Арктики по Лене, Алдану и этому каналу, в обход четверти Азии, выйдут в океан. Но посмотрел подробные карты, сам понял: ошибкою, блажью оказался проект. Однако близкая удача запомнилась, замах остался. Вот отчего сидит он теперь в ярко освещенной комнате за столом, заваленным чертежами, а на коричневых, зеленых топографических картах рвутся к Проливу с двух сторон железные дороги... Да, да, скрипят, валятся сосны, гремят, срываясь с лопат, песок и гравий, горько, ядовито тянет дымом от ползающих по насыпям тракторов... И нет ничего выше этого, нет ни кладбищенских колышков, ни колючки, разбросанной от Амура до морского берега, ни лая собак, ни редкого выстрела (на его глазах застрелил

конвойный зека, кинувшегося из строя к впервые увиденному в тайге начальнику. С чем он бежал, с жалобой?)... Велик Пролив, и только ему судить правых и виноватых, только ему судить и инженера, и конвой...

А может быть, есть все-таки и Высший суд?

На Пролив опускался туман, и сразу становилось тяжело дышать. В серой полутьме едва различались пятна: неподвижные, придавленные к земле — дома, а между ними зыбкие, исчезающие — люди. Туман приходил с моря, со стороны Острова, появлялся там синей полосой, рос, лохматился, катил, выпуская вперед облачка, пока белые мертвенные косы не повисали на скалах. Потом дымное облако входило в бухту, останавливалось поперек рейда и, постояв, выкатывалось на берег. На лица садились крупные капли, делалась влажной одежда. В поселке все замирало, редкие звуки, возникнув, разносились особенно отчетливо, а когда били в рельс, казалось, что звук рождается совсем рядом. Люди в такие часы неохотно выходили из домов, а выйдя, с трудом находили проложенные вдоль дорожной обочины мостки, шли по ним, качаясь на досках, мучительно вглядываясь в белую темноту. Если на рейде туман захватывал пароход, тот начинал часто и беспокойно вызванивать колоколом, но Пролив был пуст, и тоскливые жалкие звуки бесполезно замирали. Казалось, жизнь кончилась... Но нет, застрекотал трактор, осторожно, на ощупь, проследовал, умер звук, часто зазвонили в рельс, со стороны котлована донесся чепонятный шелест, но понять его мог только тот, кто хоть раз стоял у дороги и слушал, когда по ней следует колонна — тысячи обутых в резину ног.

И еще не замирала жизнь у входных мысов: шелестели в тумане крылья, срывались со скал невидимые птицы, улетали в море и возвращались. Это значило, что не только страху, но и голоду подвластен был туман.

Раз в неделю Викентий Николаевич с Таней ходили в клуб.

Там показывали кино.

Мерцает голубой экран, ползут, прыгают по нему коричневые пятна, старая потрепанная лента, во весь экран надпись — «Взята в качестве репараций в Германии». Из прыгающих пятен складывается море, по нему

плывет огромный четырехтрубный пароход, в салоне, отражаясь в зеркалах и не задевая столики, танцуют мужчины в черных с фалдами фраках и женщины с обнаженными спинами. В волосах у каждой женщины цветок, а мужчина, ловко обнимая, ведет ее, они плывут мимо зеркал, мимо картин, развешенных по стенам, мимо иллюминаторов, за которыми мечутся ночные с белыми короткими гривами волны и медленно встает белая, как призрак, льдина, которую из всей команды парохода видит только матрос, зябко мнущийся на самом носу корабля. Льдина приближается, растет, превращается в гору, и матрос в ужасе начинает отступать. Гремит музыка, и музыканты, уже не притворяясь, что им тоже весело, играют свой последний в жизни вальс.

А как-то показали концерт. Таня пришла пораньше и видела, как к клубу подъехала телега с какими-то вещами, а следом за телегой подошла группа людей, странно, беспорядочно, будто в чужое, одетых, с ними человек в шинели, с кобурой у пояса, в форменной шапке. Удивилась и пошла занимать место. Концерт начался, номера объявляли, почему-то не называя фамилий артистов. Первым на сцену вышел парнишка — лет нет и двадцати — в застиранной в клеточку рубашке. На сцене дуло, шевелились кулисы, народ в зале сидел в пальто и бушлатах. Паренек стеснительно улыбнулся и показал два шарика, погладил руку об руку — и шариков стало четыре, шарики множились, пропадали, он вытаскивал их из-за ворота, находил под мышкой, положил один за другим в рот и сделал вид, что глотает, потом выдохнул, пощелкал себя по щекам, полез в карман брюк и достал все шары. В зале засмеялись, у парня устали руки, он подул на них, изо рта высунулся конец бумажной ленты, начал тащить, роняя на пол, путаясь в ней. «Карманник, — сказал позади Тани хриплый мужской голос. — За то и сидит. Ловкость рук». После гитариста и балалаечника вышел певец. Балалаечник сел за рояль, первые дребезжащие звуки ударили в низкий, крашеный масляной краской потолок. Певец расправил грудь и запел. Голос его дрожал, когда надо было взять высокую ноту, переходил на шепот, но слушали терпеливо. «Солист Куйбышевской филармонии, — сказал позади тот же голос. — Фамилию забыл, я его у железнодорожников в батальоне слушал. Десять лет дали, бригада с концертом на фронте выступала, попала в окружение», Таня оглянулась, ей сказали: «Не вертись».

Когда шла домой, подумала, что инструменты уже вынесли из клуба, сложили на телегу, туда же положили ящик с самодельными булавками и кольцами (фокусник еще и жонглировал), артисты надели поношенные, должно быть чужие, пальто, шапки, куйбышевский тенор замотал шарфом горло, и сейчас они идут назад по накатанной автомашинами дороге к себе в лагерь, а может быть, и не в лагерь, но все равно идти им далеко по дороге вдоль моря, под пронизывающим ветром, туда, где над черной полосой низкорослого, прибитого морскими ветрами к земле сосняка над зоной разгорается желтое зарево.

А на другой день Викентий Николаевич прямо у крыльца — вместе шли на работу — выкрикнул:

— Да вы не знаете, Танюша, кого я тут встретил! Помните, я рассказывал про художника? Тот, с которым был в госпитале. Тут он, представьте себе, тут! Бывают же встречи. И не заключенный, конечно, нет. Работает. Сегодня придет. Ну, надо же такому случиться! Сам Гроздецкий.

Вечером, и верно, пришел художник. Вошел, весело потирая руки, сказал:

— Вот вы как устроились! Ничего, ничего, и девушка хороша, одобряю, старик, твой выбор. Ну не маши руками, не маши. Усталая — это про Таню, — а лицо... Нет, лицо ничего... — и тут же начал рассказывать про себя.

— Помнишь палату? Как я все эскизы набрасывал. Молод был. Мечтал: война кончится, получу хороший заказ. О витраже думал. А война кончилась — все заказы расхватаны. Одно оформление витрин, и то если повезет. Стал я тогда из одного города в другой ездить. Неужели, думаю, перевелись меценаты? Где-нибудь да сидит в исполкомовском кресле Савва Морозов. Черта с два... И год прошел, и два... А как-то разговорился с одним начальником от культуры, выпили мы немного, он и говорит: а почему бы тебе не обратиться в органы? Они таких, как ты, — с предложениями — любят... У них все есть, вон у каждого канала, у каждого шлюза по статуе. А строили — они, и чем статуя больше, тем для них лучше...

Они сидели на диване вполоборота друг к другу, Таня у окна, животом на подоконнике. За стеклом расслаивается, дрожит вечерняя бухта, тянет на юг в закатном осеннем небе стая, к стеклу прилип потерявший силу лист. Прошли безмолвные люди.

— Запродал ты душу...

— А ты?

— Я в любой момент могу уехать...

— Сам не веришь. Отсюда так просто не уезжают, не обманывай себя. А что касается — запродал, что ж... Как Фауст. По крайней мере, знаю за что.

Таня вышла на кухню, — там уже прыгала крышка на чайнике, синий горький дымок плавал под фанерным, в каплях, потолком... «Запродал?» Да, да, вот и найдено слово — «запродали».

— Сахар кладите. В магазине кусковой, я его топором колю. Слышите, это Борисов идет, наш сосед, с нами из Москвы приехал... Нет, нет, водку я не пью совсем, и Викентию Николаевичу вот столько, не больше...

— А помнишь, ты мне в госпитале все про художника рассказывал? Книга про него на закрутки всей палате пошла...

— Мало ли что... Я тебе сейчас набросаю то, что мне Кугель обещает. С таким размахом. Стекло, металл, свет! Нет, я счастливый человек.

Ленивые свиньи лежат в бамбуковых клетках около хижин, лежат неподвижно, как камни. Зеленоглазые мухи выются над клетками. Поль идет, провожаемый блеском любопытных глаз. Женщины сидят на порогах хижин и, растирая в каменных ступах зерна, смотрят ему вослед. На окраине деревни, около запруды, перегородившей ручей, его встречает дом. Он уже поднялся на восьми, вкопанных в песок, столбах, двухэтажный, со стенами из бамбуковой плетенки и крышей, похожей на копну сена. Ветер перебирает в крыше сухие пальмовые листья. Листья трутся друг о друга и повизгивают.

Мастера, которые строили дом, ушли. Он, кряхтя, поднялся по шаткой лестнице в просторную столовую, ветер трепал плетенку в окне, из кухни доносился стук ножа.

— Сейчас все будет готово, хозяин. — В дверном проеме показалась голова темнокожего слуги.

— Я не тороплюсь. Пойду поработаю. — Поль вскарабкался на верхний этаж.

Здесь будет мастерская. Мольберты. Куплены два стола и два комода. Плетеное кресло, фисгармония и арфа привезены с Таити. Так... Низкая дверь вела в

спальню. В ней он поработал сам — с балок смотрели женские головы. Мастера сколотили и кровать. На такой можно лежать вчетвером. Вместо спинки толстая доска, выпиленная из ствола хлебного дерева, на ней надо будет вырезать мужчину и женщину, пусть занимаются тем, чем положено заниматься в кровати. На стены он наклеит открытки, которые купил, когда пароход стоял в Порт-Саиде. Араб в рваном бурнусе по-манил его пальцем и, отведя в сторону, откинул полу, — там были приколоты булавками раскрашенные фотографии. Если епископ когда-нибудь зайдет в спальню, с ним будет удар. Он довольно потер руки, поднял с пола нож и, постукивая по рукоятке, начал резать женский живот. «Дом наслаждений» — вот как он назовет свое жилище.

Когда он спустился в столовую, на деревянном, из грубых досок, столе дымилась миска очищенного картофеля, поверх желтых, источающих капли клубней лежал розовый с крупными волокнами кусок тунца... Надо перенести сюда все консервы. Прежде всего соки. Есть надо много. И вкусно. Художник имеет право на любую смелость. Это не только про картины.

Когда он шел назад мимо хижин и свиней, навстречу попались мать с дочерью. Поль погладил девочку по голове, а потом сунул ладонь под короткую юбочку.

— Приведешь ее ко мне, — сказал он матери.

Он шел по деревне в маорийской рубашке, набедренной повязке, сандалиях. Зеленый берет нагрелся и жег голову. Деревня покорно смотрела ему вслед.

«Они говорят, что я копирую Сезанна. В жизни встречал немало сволочей. Шагу нельзя сделать, чтобы не вступить в оставленное ими дерьмо. Они оставляют его на всех углах».

Шел, опираясь на палку, волоча правую ногу. Нога болела. Сегодня придется опять принять морфий. Полу-денный, залитый солнцем океан едва шевелился. На горизонте поднимались три острова. В воздухе замерла, распластав крылья, птица.

Острова. Птица. Они так же неподвижны, как мы. Это только кажется, что нам надо все время куда-то спешить.

Человек возникает в дверном проеме, головой он едва не касается балки. На балке вырезаны три женские головы, у них плоские щеки и полуприкрытые гла-

за, рты растянуты в крике. Человек стоит, загораживая свет, ветер шевелит его волосы.

— Суд состоится во вторник в половине девятого утра в Атуоне. Вас обвиняют в оскорблении власти,— говорит он голосом пастора.

Поль поднимается с кресла, он поднимается, далеко отставив больную ногу и опираясь на толстую палку. Набалдашник палки вырезан в виде фаллоса. Пастор замечает это и недовольно качает головой.

— Мне наплевать на власть,— говорит Поль и подносит набалдашник к носу деревянной женщины.— Вот тебе и твоему жандарму. Когда он успел написать на меня кляузу?

Он харкает в ладонь и вытирает ее платком, дверь в мастерскую раскрыта, виден прикрепленный к стене огромный холст. Они переходят из спальни в мастерскую.

— Вы не дали мне ответа, что будете делать. Вам следует защищаться,— говорит пастор.

Художник останавливается около холста. На нем нанесено уже несколько пятен, сквозь жидкий грунт просвечивает мешковина.

— Вся в узелках, такая мне и нужна,— бормочет Поль и проводит ладонью по холсту.— На ней я разверну историю человеческой жизни, от рождения до смерти. Посажу и поставлю людей от беспомощного младенца до такого же беспомощного старца. Вот тут будет идол, не спрашивайте меня какой. А это светлое пятно — тут будет женщина, ее руки будут тянуться к плодам, висящим на дереве. Что за плоды? Никому не дано знать. Мы можем только стремиться, но постичь нам никогда не хватает времени. Мы всегда не успеваем. Я умру, и светлокожие дурочки, которые приходят сюда каждый вечер, так и не поймут, зачем я оставил их фигуры на холсте.

— Вы ведете себя с ними предосудительно, на острове и так много детей неизвестно от каких отцов.

— Обойдется. Вчера у меня в постели были три. Я сперва шупаю ее, а потом говорю: «Тебя надо нарисовать...». Так вот, о картине. Я никогда, никогда еще не писал такой большой. Она вся у меня уже в голове, но что в ней, я не могу объяснить. Она еле помещается в мастерской, вон сколько шагов надо сделать, чтобы пройти ее из конца в конец... Говорят, во Фриско бубонная чума,— бормочет Поль и, пройдя мимо пастора, спускается по лестнице.

Около лестницы стоит глиняный идол, у него исхудалое, вытянутое лицо и руки, сложенные на животе, слепые глаза бесстрастно смотрят на восток.

— Что вы хотели им сказать? — Пастор останавливается под лестницей и, морщась, всматривается в покрытую лаком поверх глины фигуру. Идол и человек смотрят друг на друга.

— Боги умерли, — отвечает Поль. — Они умерли навсегда.

Они идут мимо хижин из бамбуковой плетенки, и темнокожие мальчишки, хихикая, перебегают им дорогу.

— А ведь, может быть, ты мой, — говорит Поль и кладет ладонь на голову самого маленького.

Он бредет дальше, бормоча, опираясь на палку и волоча правую ногу.

— Что с вами сегодня?

— Опять простудился, я часто простуживаюсь теперь, надо сменить климат.

— Это не простуда. И климат тут ни при чем, — говорит пастор, и они идут дальше, окруженные солнечными столбами, детским визгом и безразличием деревни.

Первыми узнали о приближении тайфуна птицы, они поднимались с воды, выстраивались длинными неровными клиньями и улетали на запад. В рощах тревожно кричали коричневые майны. Потом в небе появились облачные крючковатые нити, они медленно ползли, увеличиваясь в размерах, а на смену им из-за горизонта уже поднималась наковальня грозового облака.

В полдень ветер усилился и пошел дождь. Крупные капли сначала падали отвесно, каждая, падая, выбивала в песке или в пыли, покрывавшей дорогу, ровную круглую, как монета, ямку. Потом задрожали листья пальм и начали наклоняться стволы. На рифе, окружающем остров, возник пенный бурун.

В деревне захлопали двери, с криком упала изгородь, по улице с визгом промчалась испуганная свинья. Жители деревни забежали около домов, подбирая упавшие вещи, они срывали с кольев белье и подтаскивали к стенам домов коричневые, пахнущие рыбой сети.

Возник свист: звучали листья деревьев, изгороди из сухого бамбука, связки травы, из которых были сделаны крыши, по воздуху неслись мелкие камни, обломки

старых иссушенных и выбеленных солнцем раковин, сорванные ветви.

От рифа шел непрерывный ровный гул — там тяжело опрокидывались волны. Океан был покрыт белой пеной до горизонта.

И тогда Поль заметил, что ветер изменил направление, теперь воздух неся параллельно земле, вместе с ним мчались, не разделяясь на капли, струи дождя, они били в стены, проникали сквозь них, выискивая каждую щель.

Скорчившись, он сидел на веранде и слушал, как скрипят столбы, на которых был поставлен дом, видел, как дорога между хижинами изменяет цвет, из желтой становится коричневой, затем черной. Наконец она заблестела и шевельнулась — по ней потекла вода, и тотчас около хижин, бегая по колено в воде, заматались люди. Крича и хлопая крыльями, помчались, поднимая брызги, освобожденные из клеток куры.

Веранда скрипнула и наклонилась. Сейчас дом рухнет...

Поль вскочил, бросился в комнату, сдернул с мольберта неоконченный холст, скатал его и начал торопливо срывать со стен картины. Но уже разошлась с треском крыша, и ворвался порыв ветра, он подхватил и вынес в окно письма со стола, а с потолка дробно, со стуком, на циновки, на постель, на ларь камфарного дерева обрушилась вода.

Ничего не разобрать. Он зачем-то сорвал с полки медную керосиновую лампу и чиркнул спичку. Порыв ветра тотчас погасил ее. И сразу необычный, низкий рев возник за стеной: ручей, который протекал через деревню, превратился в реку. Мутный коричневый поток неся между домами, вода упиралась в стены и изгороди, бурлила, образуя водовороты; стена одной из хижин покачнулась, и хижина, опускаясь и складываясь, подобно меху кузнеца, сползла в воду, качнулась, завертелась и, окончательно распадаясь, поплыла по течению.

Следом оторвался от земли, всплыл, покачиваясь и рыская, мост через ручей.

Вода затопила все кругом. Исчезла граница между землей и океаном, и только смутно белеющее в сумерках белое пенное кольцо на рифе говорило, где кончается остров.

Люди, держась друг за друга, неся на головах и на плечах тючки и детей, покидали деревню. Они уходили

в холмы, навстречу грозно шумящим, согнутым ветром деревьям. Люди шли не оглядываясь.

«Они даже не заметят, как меня унесет вместе с домом»,— подумал Поль. И тут же свист ветра ослаб. Струи дождя выпрямились и перестали бить в стену. «Кажется, я уцелел».

Шлепая босыми ногами по пропитанной водою циновке, он прошел на кухню. Там, на столе, лежала мокрая, с испуганными глазами коричневая змея. Он поддел ее совком и вышвырнул в окно. «Я не боюсь змей, тебе повезло»,— пробормотал он.

Тайфун унесся на север, волоча с собою облачные хвосты и засыпая океан пальмовыми листьями, а спустя двое суток джонка, которая везла на Хиву-Оа контрабанду, подобрала в воде два белых прямоугольных листа, покрытых фиолетовыми расползающимися знаками. Письма прочитали: «Могу ли я приехать в Копенгаген, обнять своих детей, и чтобы ты и твоё семейство не заклеямили меня при этом? Не беспокойся, я тебе не причиню хлопот — несколько дней, что я инкогнито пробуду в Копенгагене, я проживу в гостинице».

На втором листке вода уничтожила все слова, осталась только одна фраза, написанная женщиной: «Привези мне из Парижа корсеты».

Вечерняя заря тянется от третьего из островов красной полосой по океану и распадается только у берега Хива-Оа. Красные олуши покачиваются вместе с водой, птицы устали за день и молча смотрят на закат.

В доме открывают бутылку, ставят на пол миски с едой, смешливая Вайтауни пробует открыть банку с рубцом. Из-под ножа брызжет сок.

— Не так, — говорит Поль, — маленькая дурочка, кто же так держит нож, ты не разделяешь рыбу, а режешь жёсть. Вот как это надо делать.

Он проводит лезвие, покачивая, по краю банки, швыряет в угол комнаты крышку и вываливает маслянистый кусок на тарелку. На мясо он кладет пучок печеных листьев и незрелый плод манго.

Спальня невелика, и от этого кажется, что она полна народу. Смуглые парни и желтокожие девушки сидят на полу, раскачиваясь, и тихонько поют вполголоса, протяжно и жалобно. Поль показывает, чтобы ему подали гитару, и начинает перебирать струны. С бутылки на поющих смотрит негр, он блесит кожей и радост-

но скалит зубы. Бутылку открывают, а металлическую пробку бросают в стену, она отскакивает и ударяется о клетку с вороном. Привезенный из Франции на великольном крейсере «Дюге-Труен», черный и мрачный, он доживает последние дни. Ворон вздрагивает и продолжает смотреть на людей круглым воспаленным глазом. Становится еще шумнее, говорят, не слушая друг друга, один из парней толкает в бок девушку и показывает рукой на дверь, она с трудом встает и при этом задевает пустую бутылку, бутылка падает, из горлышка на циновку выкатывается желтая лужица. Негр лежит на боку и, скаля зубы, смотрит вверх. Поль чувствует, как проходит в ноге боль, перестает зудеть воспаленный, разъеденный нарывами бок, он медленно глотает ром и слушает, о чем говорят его гости.

— У старой Вахуры украли свинью.

— Наш Тиоко наконец кончил строить себе лодку.

— Через неделю придет шхуна и привезет саженцы.

Из соседней комнаты возвращаются парень с девушкой. Парень идет первым, войдя в столовую, он поворачивается спиной к товарищам, спина у него расцарапана. Парень гордо смеется.

— И ты тоже хочешь? — спрашивает Вайтауни и наклоняется к самому лицу Поля. Она наклоняется, и ее маленькие груди с острыми козьими сосками повисают у самых его глаз.

— Да. Если я смогу.

— Со мной? — Она заливается тихим смехом, просовывает руку ему под рубаху, помогает подняться и ведет к кровати. Огромная деревянная кровать нависает над полом. На циновке уже в беспорядке разбросаны кружки и миски. Поль смотрит на парней и девушек, лежащих на полу, и мычит. То, что он хочет им сказать, распадается и ускользает. В постели он обнаруживает рядом с собой еще одну девушку.

— Подожди, полежи рядом, — бормочет он.

Кто-то из парней поднимает с полу гитару и неумело дергает струны, он дергает их осторожно, и гитара начинает сама звучать, она звучит воспоминанием. На полу вперемешку с остатками еды лежат сорванные с девушек гирлянды гибискуса.

Ворон устало закрывает глаза. Он покачивается вместе с клеткой и ждет смерти. Один из парней поднимается и идет к двери, в дверях он останавливается и свешивает голову через порог. Его рвет. Желтые девушки лежат на полу, как тыквы.

— У тебя опять на боку нарывы,— говорит Вайтауни.— Повернись.— Она встает на колени.

Рядом спит еще одна девушка.

— Не буди ее,— говорит Польш.— И ты тоже ложись. Я плохо себя чувствую. Мне никогда не было так худо.

Крупные, тяжелые облака поднимаются над островами. Над каждым из островов висит по облаку, три облака в белесом полуденном небе. Каждое несет в себе бремя воды. Когда солнце пройдет зенит, облака обрушат на острова белые ливни.

В деревне замерла жизнь, замолчали металлические цикады, в ручье около запруды, вытаращив глаза и устало разбросав ноги, как мертвые, плавают красно-желтые лягушки.

По деревне идет жандарм, он идет, сняв кепи и прикрывая от солнца голову рукой и платком. Поднятый платок висит, как флаг капитуляции, но жандарм идет торжествовать победу. Он поднимается по лестнице в мастерскую, в дверях нарочито весело спрашивает разрешения и, не дожидаясь ответа, входит. Польш лежит в кресле, повернувшись на бок, бессильно и обреченно поглаживая ягодицу. Пальцы ощущают нарыв, прикосновение пальцев отдает в ягодицу ударом тока.

— Надо решить вопрос с вашим заключением,— говорит жандарм,— три месяца тюрьмы. Вам придется отправиться на шхуне в Папаэте. чтобы отбывать наказание.

— Не выйдет,— говорит Польш и снова дотрагивается до нарыва.— Я уже отправил жалобу. Не успел ваш дерьмовый судья объявить приговор, как я уже отправил ее.— Он злорадно смеется.

— Но китобои не занимались контрабандой, таможенные декларации у них в порядке, жандарм Гишене не получал от них взяток.

— Черта с два,— говорит Польш и устало прикрывает глаза. Человек в дверном проеме раздваивается, вокруг головы у него появляется нимб.— Вы прекрасно знаете, что брал. На одних ножах и часах американцы заработали тысячу долларов.

— Ложь, деньги заработаны честно. А за клевету вам придется три месяца посидеть. Ничего страшного, в Папаэте кормят неплохо, тюрьма деревянная, если бы вас посадили во Франции в каменный мешок, было бы хуже.

— Вы негодяй. Нас никто не слышит, может быть, слуга, но он никогда не скажет слова против меня. Негодяй. Раздуваетесь, как прыщ, и сучите ногами. Будь я молод, я бы сбросил вас с лестницы.

Жандарм улыбается, теперь он может быть снисходительным.

— Вы, может быть, действительно большой художник,— говорит он,— но получили по носу, и поделом, не суйтесь туда, где вас не спрашивают. Если бы вас не поддерживал управляющий, я бы добился высылки вас обратно на Таити.

Над тремя островами, плавающими в океане, пошел дождь. Воздух шевельнулся, наверху в крыше зашелетели листья. Над раскаленной трехглавой горой, нависающей над деревней, дрожа, поднимается раскаленный, стеклянный воздух. Здесь дождя не будет. Поль жадно, хрипя, дышит, пытается встать, уцепившись за угол комода, подтягивается, сгибает левую здоровую ногу и, опираясь на нее, наконец выпрямляется.

— Вот,— говорит он и показывает на деревянную балку, где переплелись в любовной игре мужское и женское тело,— они правы, а мы нет. Я потому, что уже не пригоден для этого, а вы потому, что недостойны счастья. На мне всегда наживали кучу денег, куча денег моим горбом, только девочки, которые приходят ко мне сюда, не требовали ничего. Поэтому они стали бессмертны. Вам никогда не засадить меня в тюрьму. Немедленно пойдите прочь.

— Хорошо, но сперва я скажу все, что думаю о вас. Вы грязный, распутный старик. Неужели все, кого Бог подвигнул на великое дело, должны пачкаться в дерьме? Когда вы идете по деревне, за вами летит рой мух, вы гниете заживо. И не думайте, что девочки приходят ради того, чтобы вы погладили их. Им нужен ваш ром, им и тем парням, которых они приводят. Они думать не думают, что на картинах, которые вы отправляете пачками во Францию, изображены их желтые тощие тела.

— Вы мне мерзки, видите, что здесь написано: «Художник имеет право на все».— Он неосторожно ступает на правую ногу, вскрикивает и, чтобы не упасть, снова опускает руку на комод, на этот раз пальцы обхватывают тяжелую каменную пепельницу, жандарм испуганно отступает и торопливо сбегает вниз по лестнице.

Он идет по деревне, утирая пот, сжимая кулаки, и неожиданно останавливается: забыл кепи! Надо воз-

вращаться. Он стоит посреди деревенской улицы, под раскаленным солнцем, понимая, что смешон.

Зеленые листья пандануса плавают в лагуне. Они плавают, шевелятся и подрагивают, как панцири зеленых кожистых черепах. Листья сорвал шторм. На улице деревни лежат пучки пальмового луба и коры, сорванные с опрокинутых деревьев.

Деревня стонет.

Поль лежит на низкой продавленной кровати, прикрытый давно не стиранной простыней, и беззвучно шевелит губами. Он проклинает день, когда приехал на этот богом забытый остров, выездной суд, который не послушал его и наложил на туземцев штраф за покупку у американских китобоев того, что судья назвал контрабандой, туземцев, которые после суда перестали посещать его, лейтенанта жандармов, способствовавшего контрабанде, и себя самого, за то, что он не может встать, подойти к мольберту, налить из кувшина воды и оправиться в горшок. Он сплевывает, красное пятно растекается по циновке.

Скрипит лестница, кто-то тяжелый поднимается по лестнице. Он поднимается, останавливаясь на каждой ступеньке и шумно отдуваясь. В светлом прямоугольнике открытой настежь двери появляется фигура в свободном одеянии. Человек подходит к кровати и наклоняется над Полем.

— Боли во всем теле,— говорит Поль и немеющей левой рукой проводит от плеча до колена.— Особенно там, где зад.

— Скажите лучше, в нижней части спины,— бормочет пастор и жестом показывает, что надо перевернуться на живот.

Поль, скрипя зубами, переворачивается, простыня сползает к ногам, и пастор сразу же издает легкий свист. То, что он видит, заставляет его поморщиться. Он морщится и долго качает головой: там, где начинают расходиться ягодицы, высится лилово-красный бугор. Верхняя часть нарыва светит белым и желтым, натянутая, выпуклая, прозрачная, как слюда, кожа блестит.

— У вас найдется острый нож? — говорит пастор, проходит на кухню и возвращается, в прижатой к животу руке вспыхивает голубое лезвие. Он вытирает его мокрой салфеткой, наклоняется над больным и кончи-

ком лезвия протыкает нарыв — кровь и гной потоком заливают тело больного и простыню.

— Х-ху,— выдыхает Поль и, закрыв глаза, ждет, когда пройдет боль, оттянет, отпустит и на смену боли придут легкость и покой.

Пастор окликает слугу, тот поднимается по лестнице, легко и быстро снимает простыню, шуршит циновкой и, чавкая мокрой тряпкой, что-то делает с полом.

— Пастор, вы хорошо помните «Саламбо»? — спрашивает Поль, и, продолжая лежать лицом вниз, начинает говорить о женщинах, танцующих в полутемных африканских дворцах, обнаженных женщинах цвета кофе с темными волосами и маленькими грудями, не вздрагивающими при танце.

— Я читал «Саламбо»,— раздраженно говорит пастор и смотрит на опавший, сморщенный, лишенный жидкости нарыв.— Я рад, что вам стало лучше. Можете говорить сколько угодно и о чем угодно. Я рад за вас.

Он поднимается и уходит, а Поль продолжает бормотать до тех пор, пока не засыпает.

Густая, синяя ночь незаметно приходит в дом и наполняет его, как вода. На рифе негромко опрокидываются пришедшие издалека волны, крысы шуршат в кровле, и ночные ящерицы с красными глазами возникают в переплете оконной рамы. Красные огоньки мешаются со звездами.

Ночи не было.

Не было ящериц и звезд. Не было ничего, кроме нарыва и сна. Он умер днем, вскоре после того, как заснул. Его нашли лежащим на кровати, еще теплым, он лежал, свесив одну ногу и отбросив простыню. Слуга, по обычаю островитян, чтобы оживить, принялся кусать его голову, а второй слуга бросился за пастором. Тот, придя, приказал положить под голову подушку. Но мертвому ничто уже не могло помочь.

Его жалкий скарб распродали, с молотка пошли кастрюли и каменные ступы, посуда и ножи, циновки и тряпки, которыми были украшены стены и завешаны потолки. Книги, мебель, картины, написанные маслом, акварели и рисунки связали в тюки и отвезли на Таити. Был приглашен эксперт, он не стал смотреть книги и мебель, а из картин отобрал только то, что обещало найти покупателя. «Большую часть рисунков и акварелей я отправил в помойку»,— сообщил он устроителям распродажи.

Камень — глыба черного базальта, которую слуги приволокли и установили на его могиле,— пролежал полстолетия, но и он со временем был украден.

После него остались одни картины.

Осенние дожди наплзали, как наплзает ночь.

С утра низкие серые облака пересекали линию берега, цепляясь за скалы и верхушки сосен, шли в глубь его. На иглах, на стволах сосен, на брусничнике появлялась пленка воды, сырели и набухали доски в мостках, проложенных по обочинам дорог, ступеньки крылец у домов. Черные капли стекали с барачных, крытых щепой и рубероидом, крыш. Темнело. Дождь шел неделю, вторую, бесконечные его косы, смещаясь, висели над Проливом, сырела и набухала земля, пропитанные водою мох и брусничник уже не могли удерживать воду, и вниз со склонов сопки устремлялись мелкие частые ручьи. Ничто живое не могло удержаться на этих склонах, мертвыми и холодными стояли над поселком сопки.

Раскисали, из желтых и красных превращались в черное месиво грунтовые дороги, в котловане появлялась вода. Камень и глина не давали ей уйти, вода стояла в выработках выше резины, в которую были обуты люди, автомобильной резины, подшитой к самодельным буркам и чуням. Люди медленно передвигались по котловану, с трудом переставляя намокшую разбухшую обувь. Хлюпали под колесами доски, тачки едва катились, но горы камней и глины по краям котлована росли, котлован, как опухоль, все углублялся, въедался в берег.

На смену вялым затяжным дождям с юга, из Кореи, пришел тайфун. Чистое с утра небо к полудню приняло соломенный цвет, в нем протянулась, изгибаясь, одиночная облачная нить, по бухте, морща ее, пробежала шквальная полоса, и сразу на пароходе, посреди рейда, вытянулся и затрещал кормовой флаг, дым из трубы, который до того лениво сочился, поднялся, его стало рвать на куски, помчались дымные клочья. В поселке застучала в крышах щепы.

Ветер дул не переставая. На дорогу, подбрасывая пыль, упали первые капли, небо затянуло, часто забарабанил дождь, со звоном вылетело стекло. Дождевые струи уже неслись над самой землей.

Когда Таня прибежала домой, форточка была настежь, стекло разбито, на полу пропитанный водою коврик, постель мокрая, по стенам расползаются сырые черные пятна.

Пришел Борисов и ахнул.

— Эк вас!.. Помочь, что ли?

— Я сама. Поставьте на плиту ведро, стирать буду.

Скомкала, вынесла на кухню мокрое одеяло, простыни, протерла пол, разожгла плиту. Стало тепло и сыро.

Не успела все развесить, как хлопнула дверь, вошла Зоя, молча сдвинула крайнюю простыню, так же молча вышла. Таня растерялась.

Когда на кухню заглянул Борисов, Зоя стояла у плиты. На сковороде шипел маргарин.

— Неужели нельзя было подождать? — спросил Борисов. — Да погоди ты, не видишь — простыни?

— Я, между прочим, с работы, голодная. По мужикам не бегаю.

— Хочешь, чтобы я тебя с твоими сковородками в окно выбросил?

— Попробуйте.

Борисов плюнул.

— Ну и характер у тебя, гадюка — вот кто ты.

Не ответила, прошла к себе в комнату, села на постель, достала из сумки квадратное зеркальце, посмотрелась в него, с ненавистью оттянула дряблое веко, закрыв глаза ладонью, легла, лежала долго, вздрагивая, по-солдатски вытянув руки вдоль большого сильного тела.

Приказ откомандировать ее на год на какую-то стройку со странным номером семьсот один пришел неожиданно и сначала ужаснул Лидию Павловну. Но чем больше она думала о нем, тем больше поднималась где-то внутри смутная необъяснимая радость. Уехать, куда-нибудь подальше, да-да, все изменить... Она скоро привыкла к этой мысли. Пусть будет Дальний Восток... Кто-то сказал, это хорошо, что поедет зимой, легче привыкнуть к климату, там мало кислорода в воздухе. Как так мало? Что же это за край такой?

В Ленинграде дул пронизывающий сырой ветер, он нес облачные лохмотья, сыпалась холодная, пополам со снегом, водяная крупа, деревья в парках стояли проз-

рачные, в Летнем саду вместо статуй торчали, как отторгнутые землей, деревянные ящики.

В обеденный перерыв она поехала оформлять документы. Ей объяснили, что делать это надо в Большом доме на Литейном.

В троллейбусе было полно народу, когда машина затормозила, кто-то тяжелый навалился, прижал к металлической стойке. Она охнула, стала оседать, ее поддерживали. Какой-то мужчина помог выйти:

— Может, посидите? — и подвел к скамейке.

— Где моя сумка? — машинально спросила она.

Когда сели, Лидия Павловна рассмотрела спутника: пожилой, небритый, пальто, ботинки, шляпа лоношенные, случайные. Сумку Лидии Павловны он поставил рядом. Посидев, разговорились. Лидия Павловна поняла, что он одинок, давно овдовел, работает бухгалтером, сейчас в отпуске, а в центр города едет за покупками.

Неожиданно для себя сказала, что уезжает на Дальний Восток.

— Вот вы какая! — с уважением сказал он и предложил проводить.

Встали. Лидия Павловна, прихрамывая, медленно пошла к остановке. Как-то само собой получилось, что они и дальше поехали вместе, сошли там, где нужно было Лидии Павловне, и у входа в огромный серый дом сказала:

— Подождите, я скоро!

И это тоже вышло естественно.

В комнате, куда ее направили, за столом сидел человек в форме, говорил он быстро, возражений не слушал. Лидия Павловна, удивляясь самой себе, говорила с ним тоже решительно.

— Такие специалисты, как вы, там нужны, — сказал в форме. — Со стажем. И хорошо, что одинокая, — грубо добавил он. — С семьей там пропали бы. Заполните анкету.

— Когда мне еще прийти?

— Я сообщу. Дайте ваши координаты.

Случайный знакомый ждал ее. Чувствуя себя необыкновенно легко, Лидия Павловна спросила, что он хотел бы купить?

— Чай. Я, понимаете, покупаю разные сорта чая — можно брать даже неважные — и смешиваю. Сказать откровенно, я кофе уже пас! — Виновато улыбнулся и дотронулся пальцем до сердца.

Лидия Павловна взяла его под руку и повела в магазин. Они купили пять пачек чая, и только тут она поняла, что обеденный перерыв давно кончился, но, удивляясь опять себе, не засуетилась, а просто сказала:

— Ну, мне пора на работу, — и, окончательно входя в роль опытной, уверенной в себе женщины, добавила: — Если хотите, мы можем обменяться телефонами. У вас есть записная книжка?

«А ведь он так похож на Григория Борисовича!» — подумала она, прощаясь. Эта нелепая мысль показалась правдоподобной: ведь человек мог за двадцать лет неузнаваемо измениться.

В лаборатории, мысленно восстановив все происшедшее, она вдруг почувствовала стыд, вырвала из записной книжки листок, на котором записала телефон, и выбросила.

Вот почему, когда через неделю, придя на работу, нашла на столе записку: «Вас срочно просили позвонить по телефону...» — сердце сильно забилося. Нашла пустой кабинет и позвонила оттуда... Но голос, который ответил ей, оказался женским.

— Вы заполняли у нас документы? Можете прийти получить командировочные.

Лидия Павловна растерялась, ответила не сразу, хотела было сказать, что передумала, но вспомнила, каким тоном произнес ее новый знакомый: «Вот вы какая», и сказала:

— У нас конец квартала, можно, я приду на той неделе?

— Нет. Все готово. Мы вас ждем.

Лидия Павловна повесила трубку и долго стояла у стола в раздумье.

Когда вернулась, сотрудница сказала:

— Вам звонили еще и из треста: надо принимать объект. Машину управляющий пришлет.

Приехал за ней Сашка. Лидия Павловна давно не видела его и удивилась: снова изменился — раздался в плечах, остриг волосы, располнел. В нем появилось что-то нездоровое, ничто не напоминало того угловатого подростка, который возил когда-то их. В углах рта жесткие складки...

— Ну, как дела? Больше не вызывают?

— Нет.

— Значит, никого не поймали.

— А мне наплевать.

Сашка вел машину, придерживая руль одной рукой,

другой ощупывая карманы куртки: хотелось курить, но сигарет найти не мог. Скрипнул зубами и выжал газ. Фонарные столбы заторопились, помчались один за другим. Погода портилась. Облака, которые до того шли высоко, спустились. Серый асфальт потемнел. По стеклу побежали стеклянные ручейки.

— Вы хотя бы девушку хорошую себе нашли, Саша,— сказала Лидия Павловна и спохватилась: такой разговор возвращал их к Соловьевой.

Сашка промолчал.

— Мне и одному ничего,— наконец грубо сказал он и включил дворники.

Черные рычаги засуетились, погнали взад-вперед воду. Дождь усилился, асфальт заблестел лужами. Дорога, которая до сих пор делала повороты, выпрямилась и натянулась как струна.

— Хорошую девушку... Где они, хорошие девушки? — зло усмехнулся Сашка и переключил скорость. Стрелка спидометра легла.

Мимо понеслись разноцветные, похожие на конфеты домики — город кончился, началось садоводство. Справа и слева замелькали кусты, редколесье, лес. Стало сумрачно, дорога раздалась в ширину. Одна из луж скрывала трещину — машину тряхнуло.

Сашка почувствовал опьянение скоростью. Беспокойство, которое он ощущал с утра, стало проходить.

— Зачем вы так гоните? — сказала Лидия Павловна и уперлась рукой в стекло. «Он еще мне позвонит, и мы встретимся до отъезда!» — успела подумать она...

В тот день дорожное покрытие было скользким, а скорость, которую развил шофер Александр Евстифеев, была больше ста километров в час.

«Скорая помощь», которую вызвали случайные свидетели, приехала поздно.

Сразу за домом начинался сосняк — мелкие кривые, изогнутые ветром, больные деревца, за ним низина — черная, присевшая к земле ель, на взлобках прозрачный пустой малинник. Пройдя его, выходила Таня на тропу к Низменному, на плоский, выдвинутый далеко в море камень. Здесь все было желтое, пожухлое, внизу под обрывом — вода.

От воды тянуло холодом.

Как-то бродя здесь, услышала позади себя тяжелое дыхание, а обернувшись, увидела зверя, который пока-

зался ей волком. Вцепилась в колючую ветку и стояла так не шевелясь, пока огромной величины собака не мотнула головой и бесшумно не скрылась в кустах.

Спустя неделю Таня стояла у дома, развешивая белье, как вдруг из-за угла вышел, ковыляя, тот же диковинный пес. Убежать не успела, он подошел, тяжело ступая на лапу, следом по земле тянулась алая цепочка. Ахнула, а пес разрешил взять лапу — из глубокого пореза толчками, выбрасывая сгустки, била кровь. «Стой, да стой же ты здесь!» — побежала домой, принесла бинт, и пес позволил затянуть рану и остался стоять у крыльца.

— Ну, вот и хорошо, есть теперь с кем возиться, — сказал вечером Викентий Николаевич. — Ух ты, какой псина, таких никогда и не видывал.

Странно началась эта дружба со зверем, но была, как с самого начала почувствовала Таня, обречена. Через несколько дней откуда-то пришли, узнав про собаку, охранники, накричали на Таню, один сказал глухо: «Ко мне!» — и пес, тяжело поднявшись, опустив голову, побрел следом.

Морозы ударили неожиданно, холод пришел с Уды, с Аяна, с Шантар. Над бараками торчком встали дымы, люди, еще не привыкнув к холоду, от дома к дому не шли, а перебегали. Наконец, ночью завертело, завьюжило, совсем завалило снегом.

— Татьяна Александровна, — Борисов появился на пороге в облаке пара, — мандарины в поселок привезли! Таня зябко потерла руки.

— Нет, вы не понимаете. Вы давно яблоки ели? Цингу получить не хотите? Быстро одевайтесь, поедem покупать, я «газик» схватил... Да, — вот, вам пришло письмо. Потом, потом вскроете. Денег побольше берите.

В машине пахло бензином, сзади за мутным, врезанным в зеленый брезент, как бы слюдяным стеклышком уносились прочь дорожные тени, спереди в лобовом стекле дворники пробили два полукружия, там набегали бараки, выросшие за одну ночь сугробы, появлялись и пропадали сосны. Машина шла в глубокой колее подвывая и покачиваясь, долго объезжала бухту, наконец колея исчезла, снег с дороги здесь был убран, в сугробах уже прорезаны ходы, машина свернула, вскарабкалась на бугор и остановилась перед магазином.

В теплом, парном, полном народу помещении было

шумно, люди в полушубках, мохнатых шапках, в мокрых, источающих воду валенках теснились у прилавка, норовили зайти за него, очереди не получалось, Борисов потянул Таню за рукав.

— Ну, ты что такой быстрый? — настороженно спросил его мужчина, стоявший впереди. — Некогда?

По тому, как отличались они от остальных — те все в кожаном с мехом, в валенках, она в тонком пальто на вате с песцовым узким воротником, Борисов в зауженном, совсем не военного покроя реглане, — было видно, что они не здешние, потому из осторожности их от прилавка не оттерли, а продавщица даже спросила:

— Вам сколько?

— Два, — не думая, сказал Борисов. — Ей тоже два.

— Что два? — не поняла Таня.

— Молчите.

Покорно прошла за прилавок. Борисов нагнулся и поднял с полу сбитый с просветами из тонких дощечек ящик, в щели брызнуло огоньками оранжевое. Понес ящик в машину, а Тане продавщица сказала:

— Вы и свои бы сразу оттаскивали. Деньги, деньги, давайте.

— Зачем же мне так много, я не собираюсь... — но Таня пробормотала это уже в газике, сиденья заставлены ящиками, сумочка в руках все еще открыта, и из нее торчат красные бумажки.

— Вам что, денег при здешней зарплате жалко? Запомните, тут один раз завезли, и все, больше не будет. Здесь килограммами не берут. Заметили, как они на нас смотрели?

— Заметила.

— Это охрана и вольные. Если бы не мороз, я бы вам зоны показал, в каждой, говорят, по десять тысяч...

Он посмотрел на шофера, тот пожал плечами: дескать, ну что? Больше до самого дома никто не проронил ни слова.

— Да вы совсем замерзли.

Таня стояла посреди комнаты, сняв перчатки, трясла пальцами, на бровях оттаивали белые льдинки.

— Сапожки снимите, пальцы посмотреть надо, недолго и отморозить. Нет, ловко это мы с вами — вон сколько отхватили. Давайте я ваши ящики под кровать затолкаю. До весны хватит... Ну отогревайтесь, я свои понес.

Когда боль в пальцах прошла, Таня вытерла лицо, стала на колени, сломала в ящике планку и, просунув

под нее ладонь, ощутила холодный круглый шероховатый плод. Положила его на стол и стала ждать Викентия Николаевича. Тот пришел поздно, усталый, по-детски обрадовался, а когда поели первое, второе, сказал:

— А теперь божественный десерт. Достаньте, девочка, и себе плод тоже. В детстве, помню, татары из Крыма привозили персики. Кусаешь — рот забит и сок бежит по лицу. Главное удовольствие было этот сок, его изобилие! Смешно, не правда ли?

Сняли с оттаявших оранжевых плодов тонкую шкурку, разделили, и каждый положил в рот по дольке. Мандарины оказались нестерпимо горькими, прихваченными морозом, совсем, совсем негодными.

— Ах как жалы! — сказал Викентий Николаевич. — Столько хлопот. Ну, ничего, не расстраивайтесь, из всех цитрусовых мандарины самые бесполезные, витамина цэ в них мало. Что вам пишут?

Письмо было от Владимира Ивановича. Он писал: Варвара Даниловна очень больна, врачи говорят, долго не протянет. Ты понимаешь, писал он, есть что-то нехорошее в том, что я тебе сообщаю... И все равно пишу, умолчать не в силах. Не очень представляю, в каких вы там условиях, но судя по тому, сколько шло твое письмо, — какая-то глушь. Напиши, какого цвета море и какой берег, я догадаюсь, недаром столько плавал. Сыновья поступили в институт легко, уже учатся. Тоскливо, ах, как без тебя тоскливо! Буду ждать. Напиши, оставь мне хотя бы надежду.

Таня ответила в тот же вечер. Написала, что никогда не бросит Викентия Николаевича. Про берег и про море не написала ни слова: письма вскрывали, и она уже научилась бояться.

Викентий Николаевич сидел на кровати, ноги укрыты одеялом, под спиной — подушка. Когда вошел Борисов, показал ему сесть рядом.

— Бетонный завод начали строить, — сказал Борисов. — Цемент будет идти через Находку.

По запотевшему желтоватому оконному стеклу бесильно ползла капля.

— Напрасно вы нас сюда привезли, — устало сказал Викентий Николаевич. — Зачем скрывали, зачем говорили, что строительство самое обыкновенное? В жизни не предполагал, что такое может быть.

— Уверяю вас, все обойдется. Увидите. Кугель говорит, что туннель он сдаст раньше срока. Через два года мы уедем.

— И вы этому верите?.. На фронте я хоть понимал, зачем меня посадили в окоп... Теперь мне уже все безразлично.

— Так получилось... Рассказывают, что Кугель пятнадцать лет мечтал о таком туннеле. Для него это вся жизнь. Он не пощадит ни себя, ни других. Он фанатик, а фанатики самые опасные люди, они идут, зашоренные, как лошади. Он думает, что изменит облик земли, не меньше.

— Вы уверены, что туннель он построит? Я не уверен. Море может затопить выработки. А землетрясения? Курилы ведь рядом, там каждый день трясет. Подвижка — и туннель пополам.

— Не вздумайте рассуждать об этом при людях.

— Не беспокойтесь... Мне жалко не вас и не себя. Вы что-то хотите еще сказать?

— Да. У меня к вам большая просьба. Вы правы, тут все может сорваться. Мне нужна защита.

— Какая защита?

— Диссертация. Помните, в институте? Я ее начал тогда. Так вот — она написана.

— Поздравляю.

— Я прошу ее прочитать.

— Это обязательно?

За окном лопнуло, прокатилось. Борисов отодвинул занавеску — над берегом, в той стороне, где котлован, всплывало рыжее облачко.

— Не хватает аммонала, — сказал Борисов. — Начали пробивать туннель мелкими зарядами. Когда придут щиты, будут проходить каждый участок с двух сторон. Посреди пролива уже насыпали остров. Им понадобятся люди, еще много людей.

— И вы говорите это спокойно?

— Кугелю дадут. При мне он разговаривал по телефону с Хабаровском. Жаловался: «Вы не представляете даже, сколько нужно народу». А в кабинете сидел еще кто-то из района, он сказал: «Не бери в голову. Дадим столько, сколько нужно. Твое дело кубики...» Вы не видели здешнее кладбище. Вот почему я прошу мне помочь.

— Хотите сбежать?

Дверь за Борисовым закрылась. За окном снова лопнуло. Вошла Таня.

— Я все слышала. Зачем вы будете ему помогать? Он обманом привез вас сюда. Нам отсюда больше не выбраться.

Она стояла на склоне, прямо над дорогой, соскальзывающей в туннель. Ветер дул все сильнее, и приходилось, чтобы устоять, откидываться назад. Облачные нити над головой изогнулись, внизу по дороге пронеслась темная полоса; Таня почувствовала, что падает, села на землю. Ветер превратился в вихрь, в бараках и домах застучало, в воздух поднялись куски крыш, они, кувыряясь, покатались к туннелю. Между бараками метались люди. Они были все в сером, как муравьи, сновали между домами. Поселок надвинулся на нее, лица укрупнились, она узнала среди бежавших и себя, и Борисова, и Викентия Николаевича, застонала, и от этого все снова удалилось. Она по-прежнему стояла на склоне, даже не стояла, а присев, держалась за землю. Ветер стал плотным, как вода, вперемешку неслись, вращаясь и сталкиваясь, стены домов, сорванные с земли шпалы. Люди поднялись в воздух, и их понесло к туннелю. Прежде чем исчезнуть под землей, они тонко и безнадежно что-то выкрикивали... Она проснулась. Задышавшись, долго лежала и вдруг снова увидела голую, опустошенную землю, черный провал там, где начинался туннель, железную россыпь — лопаты, части машин.

И тихо, тихо повсюду, ни одного человека, ни одного голоса.

Диссертацию Борисов принес на другой деж. Викентий Николаевич сел за стол, долго искал, достал из коробки карандаши, разложил, заточил грифели. Отыскал в столе лист чистой бумаги, включил лампу.

Он оттягивал момент, когда будет развязан шнурок, когда он достанет первую страницу и, положив ее перед собой, вынужден будет читать.

Он боялся не того, что диссертация написана плохо, даже не того, что мысли в ней чужие — его, Викентия Николаевича, что, прочитав ее, он вынужден будет объяснить все это самому Борисову, — он боялся обнаружить в ней Танины цифры.

Наконец потер ладонью плечо — ныла кость — и, нерешительно раскрыв папку, начал читать. Цифры попадались начиная с первой главы. Они образовывали ост-

ровки внутри каждого раздела, теснились около выводов, а в заключении скопились в солидное приложение.

«Боже мой! А ведь это нигде не было опубликовано, не обсуждалось публично. Собрались втроем, нарисовали, порадовались и разошлись... Ведь он имеет полное право... Что из того, что тогда он поздравил меня да еще какую-то девочку со стройки? Кого это теперь интересует?..»

Обреченно вздохнул и, вернувшись к первой странице, стал читать, делая на полях злые пометки.

За ответом Борисов пришел на другой день...

Викентий Николаевич стоял за занавеской у окна. По улице шел человек, тело его вихлялось, вместо лица дрожало пятно. Дул сильный ветер, воздух уплотнился, стал неоднородным, через него было видно, как через плохое стекло. Человек сделал несколько шагов и стал виден отчетливо — это был Борисов.

Когда он вошел, Викентий Николаевич пожал ему пальцы, жестом показал на стул. Сели. Викентий Николаевич взял папку, дернул ботиночную тесемку.

— Я прочитал вашу рукопись,— сказал он,— и она мне не понравилась.

Легкая краска выступила на лице Борисова.

— Сделал кое-какие пометки на полях, но, думаю, исправления необязательны. Можете их не учитывать... Диссертация... Да-с...

Он произнес эти слова уже стоя, болело сердце, подергивалось веко, давило в висках.

Когда Борисов ушел, он достал из ящика стола таблетку, положил в рот, подвинул языком, прикусил. Таблетка, скрипнув, распалась, по языку, затекая за щеку, поплыла горечь.

— Татьяна Александровна! — позвал он через стену.— Таня!

— И все-таки надо ему от нас что-нибудь подарить. Только что? Тут проще купить у вохровца автомат, чем настоящий подарок. Ковер бы на пол...

— У него весь кабинет в коврах и дома, наверное, все комнаты.

Таня страдальчески морщилась: «Начальнику строительства от подхалимов в день рождения».

— Ничего вы, Таня, не понимаете, ковер — это всегда хорошо. Лишних ковров не бывает.

«Да уйди ты, перестань мучить».

— Есть вариант: в поселке живет расконвоированный. Был когда-то инженером, спецом. Теперь собирает из лома приемники.

— У Кугеля есть приемник.

— И не один. Даже у секретарши трофейный. И все-таки в этом что-то есть. Пускай поставит на кухне. Приемник — это прозвучит. Завтра съезжу.

Шофер «газика» Борисова узнал, пошутил: «Опять за мандаринами?» Выехали вечером после работы. Снег в колее черный, блестящий, в сугробах уже первые провалы. Что-то изменилось. Включили фары, заискрился смешанный с грязью лед, машина пошла юзом, перед самым лагерным поселком на дорогу выскочил вооруженный с винтовкой, поднял рукавицу, заглянул в машину, посчитал людей, ничего не сказал и отошел. Остановились у длинного черного с тусклыми огоньками в окнах барака.

— Восьмой, — сказал шофер, — если вам правильно сказали, он тут.

Расхлябанная, обитая кусками распоротых потертых ватников, дверь открылась, ударив спертыми теплом и вонью. В длинном, с низким потолком коридоре висела всего одна лампочка, играла гармошка, из-за стен, из-за таких же обитых с клочьями ваты дверей вразнобой неслись голоса, Борисов наугад постучал, пьяно крикнули:

— Ну?

— Где тут живет инженер из Москвы, радист?

В ответ слышался мат, слова раздавались глухо, невидимо, как пузыри в темной воде, они подплывали к двери и лопались. Голоса.

Хриплый, старческий:

— Здесь все инженеры... Все из Москвы... Заходи.

— Вали, вали, фрайер, — это молодой.

И наконец женский:

— Радист в самом конце.

За последней дверью ответила тоже женщина:

— Чего надо?

— Войти можно?

В узкой, в одно маленькое, занавешенное сверху до низу, оконце, комнате было темно, вполнакала горела красной ниточкой под потолком лампочка, у одной стены — без скатерти, с чем-то пролитым стол, на нем брошенные, как ели, нечистые тарелки, у второй стены двойные нары, на нижней толстая, с распущенными во-

лосами баба, с верхней свешивается голова — длинное, лошадиное, с нечесаной бородой лицо.

Борисов стал объяснять, что ему нужно.

Человек на верхней наре завозился, спустил ноги, пошевелил босыми желтыми, с деревянными ногтями пальцами, спросил:

— Что, так просто и будем говорить? Нюшка, закусить найдется?

— Опять закусить? Пшенки немного есть.

Женщина смела со стола тарелки, руки ее на миг попали в желтое пятно света: рыхлая бесцветная, как бумага, кожа, стертые, воспаленные ногти. «Прачка!» — подумал про нее Борисов.

— Не стоит, у меня ведь ничего с собой нет, не захватил. У моего товарища — день рождения, выручили бы.

— Что же вы так, без ничего. Едете за покупкой, так надо думать. А если я начну упираться? Скажу — нет. Как меня уговорить? Здесь ведь все только так. А ну как еще скажу: пошел отсюда? Ничего я тебе не продам...

Пальцы зашевелились, человек завозился и наконец слез — нескладный, худой, с дрожащими руками, и только глаза, когда он приблизил лицо к Борисову, оказались неожиданно ясными, синими.

— Один есть. — Он полез в угол и вытащил прикрытую тряпкой коробку, включил в сеть, слабо загорелась шкала, и донесся из-за желтой сеточки, которой закрыт динамик, слабый голос. — «Тайвань», — сказал старик. — Восемьсот рэ, у меня цена одна, корпус «Балтики», ну, а уж из чего только не собирал, рассказывать долго. Основа — «Рекорд». Нюшка сейчас сбегает, и мы с вами обмоем.

— Нет, нет, я тороплюсь, мне никак. — Борисов торопливо отсчитал деньги, поднял приемник и шагнул к двери.

— Парашу мою не опрокиньте, — неприязненно сказал ему в спину хозяин, — слева ведро, зимой до ветра уже не хожу, простите.

Первая дверь, в которую он стучал по ошибке, была теперь открыта, за ней ссорились старческий и молодой голоса, визгливо материли друг друга. Борисов прошмыгнул, позади хлопнуло, кто-то шел следом. Поскорее перебежал к машине, поставил приемник на сиденье, но прежде чем «газик» взял с места, в бараке открылась дверь и выплыла огромная от напаянного ват-

ника и навороченного до глаз платка Ньюшка. В магазин пошла».

«Газик» уже шел по колее.

— Вредитель. Десятку имел, — рассказывал шофер. — Говорят, построил такую станцию, что из нее на весь мир можно было сведения передавать. Станция Коминтерна. На суде его спросили — зачем? Ведь сказано было — только на страну, а он — на весь мир. И людей своих подобрал, их всех и замели. Ну, а где десятка, там и еще... Чем-то начальству угодил, как вольный живет. Сколько их тут, гадов, собрано.

Борисов закивал. Приемник он держал на коленях, чтобы не встряхнуть. Пока ехали, понял, что изменилось: воздух был по-прежнему холодный, но в нем уже не было сухости, он был сыроват — накатывала весна. Что значит у моря — зимы вроде и не было.

В коридоре стояли ящики с пайковой картошкой, с консервами, висели полки, на них банки молока с подсобного хозяйства. Двери в комнаты не запирали, на ночь запирали только входную дверь — от собак.

Как-то Таня вышла в коридор отлить молока, хотела сварить Викентию Николаевичу гречу, показалось — молока не хватает. «Странно, ведь Зоино на другой полке». Это повторилось через день: на гладкой прозрачной выпуклой стенке — белый туманный язык. «Неужели кто-то отпил?» И хотя предположение было нелепым, пить некому, сама не зная зачем, послучив палец, наклеила на банку метку-нитку от падающей пуговицы. Утром, торопясь на работу, снова взяла банку и вздрогнула: молока ubyло. «Кто же это мог, ночью?» Подняла лицо и, словно ударило: люк на чердак! Сжала ладонями виски, к люку из коридора вела прибитая к стене лестница: «Нет, этого не может быть, люк закрыт на толстую железную задвижку, как-то хотела открыть ее, повесить в дождь на чердаке белье, не смогла — задвижка заржавела...» Поднялась на ступеньку, еще на одну и чуть не вскрикнула: железо на задвижке блестело, кто-то, открывая, бил по ней и сколол ржавчину. Не помнила, как спустилась, как ушла из дому, весь день мучилась — кому сказать? Попросить Борисова? Домой пришла первой, под люком замерла, и сразу же за спиной слышались шаги, Зоин голос. Кинулась к ней.

— Да ты что, в своем?.. Померещилось. Без паники

не можешь? — Зоя поднялась на лестницу и вдруг сползла мешком, вытащила Таню за руку на крыльцо:

— Стой здесь, не уходи! Ведь надо же! Ойушки! — И, часто оглядываясь, убежала.

Тане было холодно в одной кофте, страшно, непонятно, но Зоя вернулась скоро, с ней трое охранников с винтовками и лейтенант в фуражке с красным околышем. Лейтенант велел им обeim убираться, вытащил пистолет, вскарабкался на лестницу и одним ударом откинул люк. Послышался сразу же сдавленный крик, следом уже лез солдат. Таня, приоткрыв дверь, обмирая от страха, ждала. По лестнице спускался человек, весь в черном, с черным же лицом и руками. Человек спускался медленно, становился все больше, разбухал. Лейтенант ударил его сверху рукоятью пистолета, а солдаты вытолкали на крыльцо. Последнее, что увидела Таня — уже из окна, — человек в бушлате, худенький, сгорбленный, идет, заложив руки за спину, а спереди и сзади — винтовки на весу — охранники.

— Ну, ты даешь! Как же ты усмотрела, проверяла, что ли? — Зоя стояла в дверях, тяжело дыша, лицо в красных пятнах. — Убить ведь мог. Нас с тобой теперь по допросам затаскают. Еще посмотрю, как тебе поверят, что ты про него не знала.

— Что я могла знать? Что ты говоришь?

— Ничего. Обыкновенно. Думаешь, следовательно так, как мы с тобой, разговаривает? Живо из тебя дурь выбьет. А я на чердак слазала, там консервных банок! Он их ножом вскрывал. Вот и докажи, почему мы раньше не сообщили. Банки-то пропадали!

— Кто их тут считает, банки? Все полки забиты.

— Вот и скажешь ему.

Следователь пришел, осмотрел чердак и задвижку, долго расспрашивал, как было дело, а потом показал Тане, где надо расписаться в допросном листе.

— Зоя, а что с ним будет?

— Не знаю. У нас на Колыме за побег... А тут не знаю. Здесь и бежать некуда, кругом тайга да вода. Может, он никуда и не собирался бежать, просто подкормиться решил. На чердаке с такими дурами, как мы, до осени просидеть можно. А потом бы вышел. Я тебе не рассказывала, как у нас расстреливали? Ночью из зоны выведут, за сопочку, там такое место огороженное было. Трактор подгонят...

В одну из ночей небо было чистым, светлые холодные звезды... Таня услышала — стучит трактор. Он мог

просто возвращаться с ночной работы, но ее затрясло. «Сил больше нет. Надо уезжать».

И сразу опомнилась: как уезжать, кто отпустил? Все пустое...

В кавэче прибежал стрелок из охраны, крикнул:

— Гроздецкого к начальнику!

К бараку управления шел весело, перескакивая лужи, в лужах прыгало нетерпеливое солнце. Почти бежал, понимая: наконец-то!

В приемной секретарша с неудовольствием сказала:

— Что же вы так долго? Он давно ждет.

Кугель сидел за столом, быстро перебрасывая в папке бумаги, с края лежала с закладкою книга «Цивилизации Африки южнее Сахары», подумал: «Кто там живет, в этой Африке?» — никого не вспомнил. Кугель захлопнул папку, протянул: — Долго же вас искали... Так вот — заждались работы? Пора приступать.

Гроздецкий радостно заулыбался.

— Конечно, заждался. Первый раз в жизни деньги зря получаю. У меня все эскизы, все расчеты, все готово. Когда будем начинать?

— Через месяц все должно быть закончено.

Так и обмер. Какой месяц? Работы на целый год. Не начинали строить мастерскую, а построшь ее — учи людей. Лить стекло, собирать. Два витража — по одному с каждой стороны туннеля. Сотни квадратных метров. Нет, нет, работы больше чем на год.

— Но вы ведь обещали... Вы сказали, что не будете торопить.

— Обстоятельства сильнее нас. — Кугель повертел в пальцах «Африку», постучал пальцем по животу негра с расписным щитом и копьем. — Это у них было время. У нас времени нет. Витража не будет. Москва нас поправила: связаться со стеклом — риск. Нужно что-то простое — бюст или барельеф. Скоро пускаем бетонный завод. Так вот — лучше барельеф. Я даже посмотрел место — направо при выезде из туннеля. Как только снимете дерн, обнажится базальт, класть можно прямо по нему. Представляете: основа — плита до середины горы? Барельеф сделаете как можно крупнее, чтоб было видно с моря.

Кугель говорил долго, но Гроздецкий уже не слушал. Потом, раздавленный, ощущая лицом, руками, всем телом тяжесть того, что обрушилось на него, по-

гребло, лишило возможности видеть и дышать, повернулся, тяжело переставляя ноги вышел из кабинета. Секретарши на месте не было... Это просто подло, хам, обыкновенный хам... В углу на столике рядом с графином стоял стакан. Сунул его в карман, по пути зашел в магазин и купил бутылку водки, сойдя с крыльца, ногтем сорвал желтую металлическую крышечку, торопливо, разливая, стал пить.

Навигация открылась рано, первый пароход из Ванино пришел, когда по зеленой февральской бухте еще плавали не успевшие почернеть отломанные ветром от припая льдины. Подошел рейдовый катер с плашкоутом, спустили трап, на палубу из трюмов стали выводить партии. С берега видно: кучками, цепляясь за веревочные поручни, опускаются по трапу ослабевшие от многодневной болтанки и голодухи люди. Плашкоут било о борт, он опускался, и тогда между его палубой и трапом появлялся промежуток, подталкиваемые сзади летели с трапа, падали, оставались лежать. Когда погрузка заканчивалась, катер отделял плашкоут от борта и, подрагивая, тащил к берегу. Здесь, на низком шатком причале, привезенных усаживали на землю, собрав партию, строили по пять в ряд, и еще одна серая гусеница бессильно ползла по дороге. После полудня ветер посвежел, на волнах среди льдин появились гребни, плашкоут уже не раскачивался у борта, а то взлетал на волну, ударяясь о трап, то проваливался, и тогда до берега доносились крики тех, кто попадал между железом и деревом.

Выгрузку продолжили по-другому: теперь до берега доносился стук лебедки, над палубой парохода то и дело взмывал вверх дощатый поддон, в нем, пойманные сетью, копошились люди. Сеть вываливали за борт. Когда плашкоут переставал качаться, сеть опускали, и из нее торопливо выползали, чтобы снова сбиться в продуваемую ветром безмолвную черную груду.

Наконец увели последнюю партию, рейдовый катер ушел за мыс, а пароход, подрагивая красным флагом и подбирая на ходу якорь, стал разворачиваться. Он шел в Магадан, в трюмах под крышками плотно задраенных люков две тысячи заключенных, впереди неделя болтанки, душный, пропитанный испарениями и вонью воздуха трюма, черствый хлеб и бачок с водой, который каждый полдень опускает в трюм охрана...

Вечером Зоя рассказала, что прошлый год в порту Ванино после погрузки этапа нашли под причалом задушенного парня. Мальчишка, видно, только начинал свою воровскую судьбу, фамилию его узнать не смогли, пароход со списками уже находился в море. Проверили все пересылочные лагеря и обнаружили исчезновение блатаря, на котором висело несколько сроков. На пароход дали радиограмму. Там стали выводить зеков из трюмов, строить на палубе и проверять. Когда выкрикнули фамилию, под которой должен был плыть человек совсем молодой, откликнулся пожилой в шрамах, с татуировкой, которую делали в лагерях еще в тридцатых...

Ничего бы он не выгадал, сказала Зоя, на Колыме тогда все этапы отправляли на золото. А там...

Щель в коридоре у кухонной двери, в полу... Таня давно пыталась ее заделать: вечером забивала бумагой, тряпками, но каждый раз наутро та оказывалась раскрытой.

— Крысы,— сказал Борисов.— Вы лучше с ними не воюйте, а то они вам ход в комнату сделают...

Однажды Таня сидела на кровати и чинила что-то из белья, раздались глухие слабые удары, она выбежала в коридор и увидела, что из щели торчит по живот, опирается на передние лапы, поднимается над полом крыса. Она пыталась приподняться, выбраться, и это ей почти удавалось, но каждый раз кто-то невидимый рывком втаскивал ее обратно. Этот звук шерсти, быстро и сильно трущейся о доски, и был тем звуком, который испугал Таню. Она замерла, не понимая, что происходит, и стояла так до тех пор, пока у крысы не пошла ртом красная пена. Невидимый зверь рванул сильнее, и крыса, захрипев, исчезла.

— Это был хорь,— сказал, подумав, Борисов.

И Зоя подтвердила:

— Хорь.

— Дурной знак,— печально решила Таня.

Грозно начался для строительства этот последний год, а начался он с того, что посреди Пролива поставили новую вышку, и с нее начал бурить дно молодой, только что присланный из Москвы, инженер. Стояла эта вышка одиноко, подобно черной вешке посреди жел-

тых, с глиной перемешанных вод. Круглые сугки дул здесь холодный ветер, люди скользили по мокрым, слизью покрытым доскам, падали, ломали руки и, поскольку катер забрать больного приходил на второй-третий день, наловчились сами ставить шины и брать сломанную кость в «куклу» — две дощечки, обмоганные бинтом, и сверху грязная тряпка. По первому сроку ничего особенного это бурение не принесло: прошли песок, прошли толстый слой древнего ила, врезались в камень. Тут бы и остановиться, но инженер был молод и настойчив, бур пошел глубже и за отметкою глубины, где должен был по проекту идти туннель, начал проваливаться. Это могло значить только одно — скала с трещинами. А что, если это на всей трассе? Трещины — это прорывы неизвестно откуда взявшейся воды, это затопление пробитого уже туннеля, гибель людей и того, что презрительно называют техникой. Подумав так, инженер первым же катером ушел на материк, высидел в приемной у Кугеля полдня и, будучи принят, коротко и устало сказал: «Трассу туннеля надо менять. Трещины». Кугель прошел к обитой клеенкою непроницаемой для звука двери, проверил, плотно ли она прикрыта, и уже от двери, повернувшись белым от злобы лицом, проговорил раздельно: «Вы понимаете, что говорите?» Инженер не испугался, сказались молодость и неопытность, он быстро начал рассказывать, что после первого «звонка» стал бурить в наклон в разные стороны и везде, на разной глубине, бур сообщал то же самое. Он вытащил из грудного кармана и положил на стол перед Кугелем эскиз: буровая вышка над коричневой линией воды и расходящиеся веером из-под нее полосы — как шли колонны с буром. Там, где оставливалась полоса, везде возникала паутина трещин.

— Идите, — выдавил Кугель и, глядя на инженера, уже спокойно добавил: — Кто вам разрешил документы такой важности носить с собой в карманах? Сейчас же идите и сдайте в спецчасть. Ступайте в гостиницу, я позвоню, вам дадут койку.

Так инженер очутился в угловой комнате в одном из барачков, который именовался «гостиницей», прожил там три дня, а потом исчез, во всяком случае на вышку больше он не вернулся и на строительстве его не видели. Убрали и всю буровую бригаду, а вышку, которая стояла на четырех металлических, плотно вбитых в грунт швеллерных сваях, переделали в навигационный

знак, установив на верхушке затмевающийся огонь, который, как известно морякам, в отличие от проблескового светит длинными периодами и лишь изредка медленно гаснет.

А затем случилась вторая беда. В бухте Находка взорвался пароход «Северстрой». Половина груза, который он вез, предназначалась для «Строительства 701». Груз был аммонал...

«Северстрой» стоял не у главных причалов, а особняком, у короткого, обшитого сосновыми бревнами пирса, где только и грузились пароходы номерных строек. Бетонная дорога шла отсюда наверх, через поселок, через веселые зеленые домики с садами, потому что склон сопки был юго-восточный и, как на всяком таком склоне, зелень тут шла в рост охотно и обильно. На пароход уже завезли девятьсот тон аммонала и еще должны были завезти триста. Грузили партии уголовников, народ здоровый, который держали специально для такой опасной работы. Для погрузки была приведена на этот раз почему-то и команда пленных японцев, их должны были вот-вот отправить в Японию, работали они уже свободно под командою своих унтер-офицеров и всего двух конвойных.

Слух о том, что на пароходе возник пожар, распространился по поселку в полдень: над одним из трюмов поднимался слабый, едва различимый дымок. Команда парохода, как утверждали потом, заметила пожар еще утром и залила водой тот угол трюма, где поднялась температура. Аммонал, как и многие взрывчатые вещества, может гореть спокойно, случай такой на пароходе был несколько лет назад, тогда аммонал потушили, все обошлось. Оттого капитан всего лишь предупредил начальника колонны зеков и сообщил в порт, а капитан порта уже сам из осторожности распорядился объявить в поселке тревогу и приказал жителям покинуть дома.

Так получилось, что напуганные жители, заперев дома, стали уходить на сопку или даже прятаться на противоположной ее стороне. Между тем погрузка продолжалась, и на причал выкатились еще три машины с красными флажками. Уголовники и японцы носили ящики с аммоналом в разные трюмы, а конвой следил, чтобы желтолицые грузчики не встречались с зеками.

К «Северстрою» подошел буксир, и капитан его крикнул в мегафон, что имеет приказание капитана порта отвести пароход на рейд.

В это же время из горящего трюма доложили: температура повысилась, дым отмечен в новых местах.

Все остальное произошло как бы одновременно. Люди, оставившие свои дома и наблюдавшие за всем, что происходило с сопки, заметили, как между домами кто-то шныряет, распространился слух: «Грабят!» И жители стали торопливо возвращаться. Узнав, что пожар разгорается, а пароход отводят от причала, начальник конвоя приказал заключенных убрать. Их начали строить, японцев собрали отдельно, и обе колонны успели пройти несколько сот шагов по бетонке.

На пароходе в это время уже отдали швартовы, буксир, оттягивая «Северстрой», повел его от берега и при этом как-то очутился под кормовым срезом судна.

И тут грянул взрыв. Уверяли, что палуба «Северстроя» вспучилась, надстройка приподнялась, а из трюмов вырвался пламенный шар. Он стремительно начал подниматься, по сопке дугой пробежала огненная полоса, стало видно, как взлетают на воздух крыши и занимаются пламенем заборы. Следом за шаром брызнула дымовая струя, поднялась столбом, развалилась и образовала над пароходом гриб. И только тогда до порта и города Находка, пройдя над пространством бухты, докатился удар, а за ним затихающий, уходящий рокот.

Рассказывали разное. Говорили, что в поселке погибло с хозяевами домов и грабителями полтысячи народу. Что один из котлов «Северстроя» перелетел через сопку и был найден там. Что на самом пароходе погибла вся команда, а те, кого нашли на берегу или в воде, оказались раздетыми — воздух в полете сорвал одежду. Неповрежденным оказался буксир — он стоял под кормой, — а те, кто был на нем, получили только переломы ног.

Подшивку газет (она лежала там в кают-компанин) отыскиали в двух километрах, около казармы воинской части. Сюда же, на футбольное поле, выкатилась морская волна. Она вынесла на поле несколько катеров и ушла. В дом, что стоял на краю поля, волна вошла через окна, затопила комнаты и откатилась, вынеся на траву столы и стулья. Побывавшие потом в доме рассказывали, что он представлял собой странное зрелище тщательно прибранного, чистого, с пустыми коридорами и чуланчиками, и только мокрые стены говорили о том, что случилось.

И наконец, заключенные. Услышав взрыв, обе колон-

ны бросились врассыпную. Японцы спустя час сами собрались и вернулись помогать тушить пожары, а зек-ков потом неделю вылавливали с собаками в окрестных падах.

Без аммонала строительство туннеля встало.

Едва потеплело, Кугель распорядился лить барельеф. Склон сопки срезали и стали засыпать щебнем, там, где бетону нужно было придать выпуклость или сделать впадину, клали дощатые фигурные крышки. Заключенные таскали на сопку доски, стучали молотками, а по склону, кольцом окружив людей, стояла охрана.

Приходил, волоча ноги, Гроздецкий, ему ставили теодолит, он наклонялся к окуляру, считывал с лимба отсчеты и сверялся с бумажкой, на которой были вычерчены профиль и часто нанесенные углы. Если угол был неверным, он не кричал, а подзывал бригадира и нехотя объяснял. Потом на сопку затащили бетономешалку, цепочка людей с носилками потянулась снизу вверх, шевельнулся и сделал первый оборот барабан, из кольчатого тяжелого шланга, пузырясь, вытекла белая струя. Лили день и ночь, два прожектора освещали склон, ночью конвой удваивали, собаки, позевывая, смотрели, как шевелятся внизу черные, ненавистные тени.

Кугель пришел, когда уже снимали опалубку.

— Так,— только и сказал он.— Успели.

Это было все, что он сказал, и Гроздецкий ночью сжег картон с веселой деревней и задумчивыми мужиками в белых рубахах.

Он умрет следующей зимой — но об этом уже не узнают ни Таня, ни Борисов. Умрет так: выйдет из барака и замерзнет. Когда его найдут, полушубок с него будет снят, когда и кто снял, разбираться не станут,

Ворота для входа в туннель привез последний в феврале пароход. Он остановился на рейде и долгим, протяжным гудком поднял белые дымные стаи кайр. Отгрохотала якорная цепь, на плавучем кране, стоявшем под берегом, забегали матросы, на причале собралось начальство, конвой притгнал команду. Рейдовый катер затарахтел, выплюнул черное кольцо и подошел к крану.

— Рано, рано, что мы с ней, такой дурой, делать будем? — морщась, говорил Кугель. Он стоял на краю причала, тонкий, с капюшоном, плащ захлестывал ноги. — Все у нас через... делается.

Он не договорил, все знали: стальные ворота прислали рано, отлили их на Урале, то ли перепугав сроки, то ли были они предназначены для кого-то другого... Но для кого? Одно приходило в голову — запирать вход в пробитый в скале туннель, в котором прячутся подводные лодки. Все может быть, все...

Кран поставили около судна, с трехногой опоры опустили крюк. Засновали муравьи-люди. Стальные, еле видимые с берега канаты обтянулись, от палубы оторвалось что-то темное, плоское, оно поплыло в воздухе, вместе с попятившимся краном покинуло пароход и, покачиваясь, двинулось к берегу. Работяга-катерок, попыхивая, тащил. Темный, тяжело повисший груз, притопив нос крана, покачивался, кран подвели к берегу.

— Ничего себе, — сказал Кугель, — осторожней только, осторожнее!

Стальные, покрытые окалиной и ржавчиной огромные ворота вмяли в землю приготовленные бревна-катки. С выстрелами, по команде, завелись два подогнанных трактора.

Борисов смотрел, как распоряжается Кугель, как бегают техники вокруг погруженного на катки чудовища, как зеки перетаскивают катки, выкладывая ими путь, как медленно ползет по ним металлическая громада.

— Как же они думают ворота ставить? — спросил Викентий Николаевич.

Борисов у его кровати, пахнет лекарством, Борисову сразу захотелось уйти, но уходить так скоро было нельзя.

— На костях, а поставят. Насыпь сделают, по насыпи спустят.

— Так строили пирамиды. Подумать только — двадцатый век!.. Как тихо. Это потому, что не слышно собак. Почему они тут не лают?

Как все случилось, почему это должно было стать ее жизнью, за что расплачивается она?

Огромный мутный поток, десятки тысяч ручейков, сотни небольших речек — все слилось в огромную великую реку, вынесло глину и песок далеких падей и за-

топленных по весне равнин, широким неохватным Проливом разделило на две части землю и теперь неторопливо смещается вдоль каменистых, покрытых лесом берегов. Тащит унесенные в половодье кедровые стволы, плавучие острова из кустов и дернины, скирды соломы и раскисшие, потерянные людьми щиты, в которых можно угадать части домов. Вынесло, поволокло по песку и камням, глядишь, выбросит теперь на берег. Страшно, страшно, и виноваты не только те, кто это сделал с тобой, виновата и ты сама...

Она не плакала, просто сидела, обхватив руками голову, и говорила:

— Викентий Николаевич, ну ладно, я — простая девчонка, но вы-то, вы... Ведь вы этого не хотели, я знаю, о чем вы думали. Дело всей жизни, то, о чем втайне мечтали. Вы не говорили никогда, а я знала: поднимается город, город из чудесного белого камня, дома у моря, улицы по склонам, как волны. И люди будут счастливы в этом городе. Вы никогда об этом не говорили, но я понимала — ну как же не сделать этого? Чтобы хорошо было вам, я готова была поехать на край света. И сейчас готова — поедemте еще дальше... Но кто я такая? Кто вы такой? Почему мы здесь?.. Я однажды видела в Приморске: машина зацепила ручкой от борта, знаете, чтобы закрывать борта есть такие ручки, так вот она зацепила человека за рукав и потащила. Человек висит, ноги волочатся по камням, он кричит, а его никто не слышит, машина тащит. Хорошо, какая-то женщина увидела, кинулась прямо под колеса...

Всю жизнь я прожила, не думая о том, что окружает меня. Горы, море... Я не замечала их, как не замечала воздух. А теперь все изменилось, воздух перестал быть воздухом, теперь для меня это или туман, или дождь, здесь он идет бесконечно. Или ветер, такой, какого мне никогда не приходилось видеть. Что же говорить про землю? Ее выгребают у нас из-под ног.

— Просто нас обманули, Таня.

— Нельзя обмануть людей, которые не хотят быть обманутыми. Мне Зоя не захотела рассказывать, что делают тут с покойниками, чтобы никто не мог убежать. Говорят, когда сюда пригнали первый этап, так прежде чем появился первый барак, появилось кладбище, первым упал тот, кто шел первым, даже колючая проволока появилась здесь раньше жилья... Что мы с вами? Кому нужны? Вы больны, и это никто не замечает,

Борисов каждые полмесяца расписывается за вас и приносит зарплату, всем все равно, кто расписывается. Может быть, ваш бетон кому-то и нужен, но почему он сперва понадобился именно здесь? Ведь вы хотели сделать людей счастливее, а когда начнут лить бетон, тут будут проклинять вас. Зоя говорит, что тот, кто лежит у нее и пришел с просеки, проклинает просеку, кто с насыпи — проклинает насыпь, те, кто работал в котловане, ругают котлованы. У них отняли жизнь... Неужели вам не страшно, столько прожито: война, заводы, работа, и кто-то будет называть ваше имя с ненавистью?

— Не надо, Танюша.— Викентий Николаевич взял ее за руку.— Ты думаешь, я этого не знаю? Если не могу выходить, видеть и слышать то, что видишь и слышишь ты,— не знаю? Оттого и молчу. Ты спрашиваешь, кто мы и зачем? Есть вопросы, на которые ответа нет, человек умирает, а ответа все равно нет. Исчезают народы, и те, что остались, продолжают искать ответ — почему они ушли, для чего жили... Не сердись, я понимаю, что, если бы не я, ты не очутилась бы здесь. Нас волочит по камням одна река... Мне обидно не за себя, обидно за мое поколение. Перед революцией, перед гражданской войной мы только стали набирать силу. Нас называли инженеры путей сообщения, металлурги, доменщики, мы пришли из самых низов, дети попов, разбогатевших мужиков, выслужившихся солдат. Нас встречали с распростертыми объятиями на заводах в Приазовье, на Урале, в Кривом Роге. Это мы провели дорогу через Байкал и построили первые в мире ледоколы. И еще: мы смешались с такими же, как мы, молодыми инженерами из дворян. Они были из потерявших гонор и богатство семей и охотно принимали нас. Знание и умение были тогда пропуском. Рядом с ними мы чувствовали себя наследниками тысячелетней культуры. Мы верили, что будущее России в нас. Да что говорить...

В комнате было тихо, так тихо, что слышны были все звуки, которые рождались за стенами и за окном. Но оттого, что они проникали в комнату, пройдя через стены, звуки разделялись и каждый был слышен особенно отчетливо, они образовывали ряд, в котором каждый звук был отделен от другого промежутком. Упала капля... Вскрикнул рейдовый катер... Вторая капля... Проходивший мимо человек произнес первое слово... Начала свой крик чайка... Второе слово... Крик окончен... И снова капля.

Просыпаясь по утрам, Викентий Николаевич долго лежал, прислушиваясь к острым уколам в сердце, осторожно поворачивался — отекала рука.

Изменили глаза: между близким и далеким появилось расстояние, которое перестало подчиняться. Как-то он протянул руку, чтобы взять из стакана карандаш, взял, почувствовал пальцами твердые грани дерева, потянул. Карандаш стал удлиняться, стал тонким и повис красной нитью. «Кажется, я брежу!» — подумал Викентий Николаевич.

Стал плохо работать желудок, было противно принимать сладковатые порошки, от них тошнило. Однажды, сидя в туалете, Викентий Николаевич заплакал.

Всю жизнь он мало говорил, предпочитая молча наблюдать. Таня купила ему у приехавшего с Большой земли офицера приемник — маленькую черную пластмассовую коробочку с тревожным зеленым глазом. Он начал ставить его на ночь на стул у изголовья, слушал его бормотание, засыпал, просыпаясь, видел зеленый внимательный глаз и, вздрогнув, забывался снова. Утром Таня осторожно входила, отодвигала стул, переставляла приемник, вытирала на полу пролитые за ночь лекарства. Пузырьков на стуле, на столе, в шкафу становилось все больше.

Мир, в котором он жил, сжимался, как шар, из которого выпускали воздух, — он становился дряблым, тусклым, глухим. В нем уже не было городов и дорог, не было улиц и голубого, серого неба, исчез даже коридор — мир сжался до размеров комнаты.

В один из дней ему стало лучше. Позвонил Борисов, Викентий Николаевич попросил его прийти, рассказать, что делается на стройке.

Борисов пришел, подвинул стул к самой кровати, стал рассказывать...

Он что-то не договаривал, и Викентий Николаевич, который устал слушать, прямо спросил:

— Еще что?

Борисов поднял с полу, положил на колени пухлый портфель, щелкнул замками:

— Вот. — И осторожно достал уже заполненные бланки.

Викентий Николаевич долго, не понимая, всматривался. Это были не документы, связанные с диссертацией (именно их он ожидал увидеть), а заявка на изобретение. Предметом изобретения были названы бетон и метод использования некоторых особенностей его за-

твердевания. Авторами указаны Викентий Николаевич, Борисов и Таня.

Пальцы Викентия Николаевича задрожали, в виски вошла острая режущая боль: сердце едва проталкивало в сосуды вязкую кровь. Он судорожно глотнул. Борисов заметил это, налил в стакан воды. Викентий Николаевич пил мелкими глотками, боль и тошнота отступили.

«Не все ли равно? — подумал он. — В конце концов, это даже порядочно с его стороны».

— Спасибо за Таню, — сказал он. — Где мне подписать?

После ухода Борисова долго сидел, упираясь спиной в подушку, держа в пальцах старое толстое вечное перо. На золотом кончике наливалась иссиня-черная капля. Она не успела упасть. Викентий Николаевич положил перо на стул, подумал о Борисове: «А может, он не такой уж и негодяй?» — и потерял сознание.

Когда Таня вошла, он спал сидя, запрокинув голову, не сняв очки, их стекла вздрагивали.

Однажды он захотел встать. Подвинул руками ногу, вторую, помог сам себе сесть, упер плечо в спинку кровати, поднялся. Держась за стену, побрел, в коридоре уже стояла Таня. Она посмотрела на него и испугалась.

— Что вы! Что вы! Зачем?

Викентий Николаевич сделал бессильный жест.

— Я хочу лечь.

А когда лег, поманил к себе, сказав:

— Я давно хотел с тобой поговорить. Помнишь, когда мы жили в Никополе, у меня был от завода выезд? Мы ехали в степь, и там пролетка останавливалась. Помнишь: засыпали перепела? И закат — совсем как над морем, желтый и красный, грозовой. Ближний театр — в Ростове. Вот и все наши радости. Глухо жили, а хорошо... Помнишь?

Таня испугалась.

Утром, когда она шла на работу, вместе с ней шло предчувствие беды. В лабораторию, только села за стол, вбежала Зоя — у Викентия Николаевича приступ, только что отвезла, в медчасть.

Истонченная, ослабевшая нить обрывается незаметно. Утром, когда пришел дежурный врач, на полу около койки Викентия Николаевича валялся неоткрытый пузырек, простыня свешивалась, лицо под подушкой. Над постелью кнопка звонка утоплена: санитарка отлучилась, а соседи по палате спали...

Хоронили его на второй день.

Ехали быстро, обогнули мертвое полукружие бухты, и машина, натужно воя, полезла на сопку. Две разбитые коричневые колеи, от колес летят подсушенные ночной прохладой комья, только на кочках, покрытых вялым желтым мхом, мокрые пятна...

— Что это? — спросила, как в забытьи, Таня.

Ниже дороги, в распадке, кое-где стоящие, кое-где упавшие, но ясно образующие ряды колышки, целое поле, несколько дорожек, пробитых автомобильными шинами и тележными колесами, и берутся эти дорожки откуда-то сбоку, а не отделяются от главной дороги.

— Их хоронят отдельно.— Борисов сказал это нехотя и почему-то сразу посмотрел из кузова через окошечко в кабину на шофера.— А вот и наше открылось.

Навстречу поползли жалкие, в беспорядке разбросанные кресты, белые, краска смыта дождем, столбики со звездочками, выкрашенные суриком.

— А ведь и верно выкопали, не обманули,— довольно произнес шофер. Он сходил к яме, снова забрался в кабину и начал подавать машину задом к могиле.

— Лопаты под брезентом,— сказал, и только тогда Таня догадалась, что и забрасывать яму землей тут некому. Когда бросила на крышку гроба тяжелый пачкающий руки сырой ком, родился звук, он наполнил яму, поднялся над ней, опал и распространился окрест. Таня вздрогнула, повернулась к Борисову, уткнулась носом в жесткий воротник его пальто, прижалась щекой к твердым пуговицам и заплакала. В могилу уже проступила холодная от мерзлой земли вода и уже упали первые ветки бурой прошлогодней хвои. Сказала:

— Поезжайте, я пойду пешком. Вы уж простите, я не могу.

— Отсюда вам не дойти,— недовольно сказал шофер.— Не представляете, это сверху кажется, что близко, а пилить и пилить. Да и опасно тут разгуливать. Думаете, охранники лучше зеков? Давайте так: вы вдвоем, если ваш кавалер согласен, идите, а я скачусь, под сопочкой подожду.

Борисов повернулся спиной к ветру, стал закуривать, а Таня пошла следом за машиной вниз, но, перевалив взлобок, снова увидела поле с колышками, не думая зачем, свернула к нему. Нога сорвалась, каблук попал в талую лужу. Дорогу перегородил тонкий ручей, ступила на кочку, та покачнулась, еле перебралась на другую сторону. Вот и колышек, с проволоочной петлей

и жестяной дощечкой, в ней дырки. Отвергнутый земель, черный, тронутый зеленью... Таня подняла и на свет прочитала номер. Потерла, отпали комочки грязи.

— Напрасно вы этим занялись,— недовольно произнес Борисов. Он уже стоял рядом, переминаясь, поочередно обтирая о мох испачканные глиной ботинки.— Пойдемте, тут, наверное, и ходить-то нельзя.

— Как их хоронили? Что там, под нами? Не гробы ведь, нет.

— Не знаю, вижу то же, что и вы. Право, не стоит нам и знать.

Прошла между рядами колышков, попробовала посчитать — ряды уходили от одного края распадка до другого... Борисов в стороне трогал что-то ногой, Таня наступила на коричневую с черными пятнами кость, поняла, испугалась и быстро, больно прижимая руки к груди пошла назад.

— Тут таким, как вы, лучше не ходить,— сказал Борисов, догоняя.— Знаете, что я нашел? Истлевший брезент. Видно, зимой закопать не смогли, обложили камнями и ушли. А камни рассыпались... Давайте руку, тут ручей, я помогу вам.

Машина на дороге показалась издали черным жуком. Таня находила таких жуков в крымской степи, они катали желтые шары и погибали под шинами.

— Какой ужас, что мы оставили его здесь...— проговорила она. Представила, как летом, начиная с июня, пойдут дожди и разбухшая, раскисшая от избытка влаги земля начнет выталкивать кресты, а потом, в ноябре, после долгих сухих морозов ударит вьюга и весь склон сопки превратится в одно покатое безымянное поле.— Мы с вами преступники...

— Он сказал, что примет вас.

В приемной стены обиты зеленым шинельным сукном, лакированными планками, на полу, от стены до стены,— дорогой затоптанный, с непонятным рисунком ковер, за столом с двумя телефонами немолодая, вытянутое усталое лицо — секретарша.

— Посидите, подождите.

За голубым с решеткою узким окном зажегся фонарь, от стоявшей на ковре электрической самодельной в алюминиевом кожухе печки грелись резиновые сапоги, от ступней вверх поплыла ноющая, распирающая мышцы боль. Над секретаршиным столом бесшумно

вертелись на круглых часах стрелки, еще одни часы стучали в углу. В приемную то и дело входили, секретарша коротко и зло бросала: «Я доложу», исчезала за тяжелой обитой коричневой дверью, молча кивала, и человек, не раздеваясь, оставляя на ковре темные мокрые следы, входил.

Потом она куда-то выскочила, вернулась с подносом, на нем прикрытый бумажкою стакан, горка бутербродов; выйдя, сказала еще раз: «Сидите».

Наконец звякнул телефон, молча выслушала и показала на дверь.

Кабинет, куда вошла Таня, был огромен, низок, с пугающе большим пронзительным портретом над столом. Кугель помял пальцами чисто выбритую синюю щеку, перевернул на столе бумагу с расплывшимся штампом и спросил:

— Что у вас?

Таню не держали нагретые печкою ноги, опустилась на стул и обреченно, понимая, что ничего у нее не выйдет, попросила дать ей расчет.

— Но вы подписали обязательство работать у нас пять лет. И потом, в нашей системе свои законы. Кто за вас будет здесь все делать? Никто.

— Но я больше не могу. Я не могу оставаться. У меня нет сил.

— Меня это не интересует. Если что-нибудь случится с Борисовым — бетон знаете вы одна. Не может стройка такого размаха зависеть от вашего настроения, хочу работаю, не хочу — уезжаю... Скажите, когда он умер?

Таня растерялась. Кугель спрашивал о Викентии Николаевиче.

— Неделю, да — ровно неделю назад.

— Вы намного его младше. Лет на тридцать... Как вы с ним жили? Ведь он был нелюдим. Детей у вас не было?

Тане ничего не хотелось объяснять, и она ответила:

— У меня ребенок.

Лицо Кугеля стало почему-то жестким.

— Скажите, только правду. Что вы о нем знаете? Кем он был раньше, до войны? Я имею в виду не эту, а ту войну, гражданскую. Хотя для вас она пустой звук. Постарайтесь вспомнить.

— Был инженером... Почему вы на меня так смотрите?

— Что он о себе рассказывал? Ведь не мог не рассказывать вам — кем был, где работал, как жил.

— Право, не помню. Если вам нужно, все можно узнать из его личного дела.

— Расскажите, как вы с ним познакомились.

Разговор уходил куда-то в сторону и оттого, что речь шла о только что умершем человеке, пугал.

— Где он жил в Москве? Опишите его квартиру... — Записал адрес. — Понятно. Бумаги какие-нибудь после него остались? Он дневников, случайно, не вел? Может быть, писал что-нибудь для памяти?

— Нет, нет, что вы... Никаких бумаг ни здесь у меня, ни в Москве, там, на квартире, нет.

И тогда Кугель откинулся в кресле, достал откуда-то сзади, должно быть, с низкого, невидимого ей столика, стакан и, отхлебнув, глядя прямо Тане в глаза, сказал:

— Мы с ним жили в одном доме. Две половины, веранды в разные стороны, у каждого свой небольшой сад. Он любил подстригать кусты. Низко так подстригал, я однажды говорю: «Если будут подкрадываться, все равно не увидите. Приходят ночью». Тогда каждый день грабили и убивали.

От того, что он сказал, в кабинете сразу стало тихо, за глухо завешенным окном простучало, завывало, шелкнуло — лопнула в стене доска. Кугель вдруг постарел, согнулся и говорил, уже не замечая, слушает ли она его:

— Странное было время. Как ледоход, одну льдину несет туда, другую сюда. Я и Высоковский... Какая между нами разница? Никакой. Молодые инженеры, заброшенный в степи завод, сменные начальники, мартековский цех, дом на двоих. На двоих и выезд — бричка... Как его звали, нашего кучера? Вот уже и не помню... А началась война, и понесло вразнос: пришли белые, вместо сбежавшего директора назначили Викентия. Пришли красные — этого снять, назначить меня. Так и стали нас менять: белые — красные, красные — белые... Зеленые, те никого не назначали, забирали вино со складов и мчались на подводах в Мариуполь. Красные оказались последними, наверху остался я. А сколько там было такого, о чем лучше никому и не знать... Впрочем, я вижу, вам это не интересно. Уедете завтра. Тихо, без шума. Борисову скажете в последний момент. Пойдет вездеход на Николаевск. Там пароходом до Хабаровска... Посидите в приемной, секре-

тарь все сейчас сделает... Тонечка, включите ее в список пассажиров и прикажите дать расчет.

Секретарша вышла из кабинета, плотно затворила за собой дверь, села в угол за пишущую машинку и с неожиданной ненавистью спросила:

— Фамилия? Имя, отчество?..

Когда Борисов вечером заглянул к Тане, в глаза бросилось: на полу обрывки бумаги, раздавленные коробки, моток шпагата. Он окликнул Зою — никто не ответил, прошел на кухню — тарелки и чашки на Зоином столе лежали горой, невымытые. «Ну и ну, — подумал, — что это с ней случилось?»

— В чем дело?

Зоя уже стояла в дверях, в одной руке сумка, во второй — сверток, из бумаги торчит рукав мужской рубахи, лицо испуганное, на воротнике капли дождя. Прислонилась к косяку, придерживала сумку коленом.

— Уезжаю от вас. Замуж вышла.

Борисов присвистнул.

— То-то я смотрю, первый раз такой у тебя развал. Ну, поздравляю! Что же ты нам жениха не показала? Тишком да молчком. А я всем говорю — холостячка, зарок дала.

— Шутите все.

Она поставила сумку и стала прибираться.

— Женишок-то, наверно, завалященький?

— Дерьмо. Откуда тут хорошего взять?

— Ну, ничего, зато свой. Кто, если не секрет?

— Да вы его знаете. Парикмахер, вольняшка. Как-то он вас стриг.

Борисов вспомнил невысокого сутулого мужчину, с которым даже разговаривал тогда.

Говорили о войне, как обычно среди мужчин, но Борисов не воевал, а парикмахер попал в войска железнодорожной охраны и все четыре года мытарил в караулах где-то под Читой, в сером болотистом краю, около разных мостов и туннелей, часто болел, лежал в госпиталях. Кроме невысоких серых гор, таежных, каменных, бегущих среди гнилого ельника речек и бессонной, нервной, полуголодной жизни, вспомнить ничего не мог, и рассказывал про болезни, которые вынес отсюда.

«Зое будет с ним нелегко».

— А так я что -- без забот? — угадывая его мысли, сказала она. — Попробую, скоро пятьдесят бабе, а не пробовала. Пора понюхать, что это такое.

— Только ты со своим языком поосторожнее. Другой раз плюнь, да промолчи. Главное в семье — мир.

— Нет уж, это вы себе на шею садиться позволяйте. Я своего предупредила.

Она скрылась в комнате, и оттуда послышался стук ящиков, шуршание белья. Потом громко всхлипнула и снова показалась на пороге.

— Я ведь не о себе. — Лицо покраснело и стало совсем некрасивым. — Мне ничего не нужно. Я думаю, может, ему лучше будет? А? Вдруг стерплю?

Борисову стало жаль ее, но Зоя уклонилась.

— Ладно, без меня наобнимаетесь.

— Терпи, может, все и сладится. Мы уж тут одни как-нибудь.

Когда Таня пришла и с порога сказала, что уезжает, Борисов только присвистнул:

— Ну, вы сегодня обе... Сговорились, что ли?

А про Таню подумал: «Теперь все. Бетон мой. Теперь я тут один».

В те ранние мартовские дни над Сибирью повисла облачная спираль. Закрученная на огромном пространстве между Байкалом и Обью, она лежала на черной ночной земле, освещенная светом зеленоватых звезд, была похожа на белую раковину морского моллюска и обозначала циклон, воздушную воронку, непогоду, может быть — дождь.

Но здесь, внизу, на станции, никакого дождя не было, просто дул ветер, дрожали синие и оранжевые станционные огни, по перрону неслись бумажки, клочки сена, волнами ходили запахи железа, мазута, сырого, пропитанного водой песка. Потом синие и оранжевые перемигнулись, поменялись местами, и Таня — она стояла на перроне с попутчицей — поняла: поезд сейчас уйдет и они с женщиной останутся еще на сутки.

Под вагонами вздохнули, отходя, тормоза, лязгнули буферные тарелки, проводники враскачку, как всадники на лошадей, вскочили на подножки, поезд тронулся.

— Вам только до Москвы? — спросила попутчица.

— Только.

Таня ответила тихо, покорно, попутчица искоса взглянула на нее:

— Вы насовсем отсюда?

— Насовсем.

— Из такой-то дали, ми-илая... Где жили?

— Мыс Гиблый,— почему-то сказала не Низменный.

— Где же такой?

— Как вам сказать...

Сбитая с толку попутчица замолчала, а Таня предложила:

— Может, пройдем в вокзал, узнаем, как там с билетами?

Они вернулись. У касс молчала толпа, блестел только что вымытый мраморный, в шашечку пол, в буфете сверкали пустые нержавеющей баки для чая, на скамьях белели расправленные газеты, на них спали пассажиры. Как пчелы, гудели лампы. Рядом со скамьями стояли красные, коричневые, желтые чемоданы, от зеленого света ламп они все казались лиловыми.

В зале возникло движение: крикнули — на проходящий поезд есть билеты, очередь у касс качнулась и стала изгибаться.

Женщина сказала:

— Что-то с утра по радио все траурное играют. Не умер бы кто.

Огромное и страшное обрушилось в те дни на страну, на народ, распыленный, разбросанный от тихого коричневого Днестра до коричневых же с песчаными желтыми косами вод Амура. Плакали женщины. Горестно, ошеломленно молчали мужчины. Люди растерянно спрашивали: как же теперь они? что будет? Рушилось годами отлаженное, прочное, что как пирамида сходилось наверху. Все соединялось в нем одним, оттого и давились у железнодорожных касс, цеплялись на поезда, уходившие в Москву из Мурманска, Твери и Харькова, ехали под холодным мартовским ветром на крышах... Тяжело и невнятно рокотало, переливалось: как же дальше? Вот почему и теснились у репродукторов, рвали из рук, торопясь, раскрывали газетные листы.

И не знали плакавшие у репродукторов и над газетами, горестно вопрошавшие: «Как теперь?», что в темных бараках, на длинных, от стены до стены, нарах, у железных, из бочек сваренных печек тоже собираются стаями обросшие щетиной, в ватниках, с загоревшими до черноты шеями и лицами и, коротко облегченно выдохнув — «сдох», тоже бормочут: что будет?

Жутко, страшно и, казалось, нет человека, который бы знал ответ.

А такой человек был. Услыхав сообщение о смерти, заперся в своем кабинете начальник строительства 701 инженер Кугель, отослал секретаршу, сел за тяжелый старинного дерева стол, обхватил руками голову и долго так сидел, не слыша, как пролетает над крышею промозглый, с Пролива пришедший ветер, как, задыхаясь, работает где-то рядом трактор и как у далеких, проволокою опутанных зон лениво бьют в рельсу, поднимая новую смену. Ему ничего не надо было слышать и видеть — что будет, он знал. Далеко за полночь, нервно подергивая головой, ударяясь зубами о стекло, отпил воды из графина, длинным ключом открыл сейф и, достав из него пистолет, положил его в карман брюк.

Он застрелился год спустя, когда пришел приказ: строительство остановить, людей распустить по амнистии, управление строительством ликвидировать. Его нашли на ковре перед столом, одна рука брошена в отлет, вторая около рта, в кулаке кровь, кровь на ковре, на черной пистолетной рукоятки, красные пятна от пальцев на рубашке и на бледном бумажном листе, на котором он так ничего и не написал.

Июньским днем 1957 года одиночный самолет прошел от города Советская Гавань на север, миновал залив Чихачева и появился над мысом Низменным.

Самолет был маленький, одномоторный, восемь поставленных друг другу в затылок кресел. По тому, как отделаны серым пупырчатым пластиком стены и в тон ему на каждом иллюминаторе темно-серая, разрезанная пополам шторка, видно, что предназначен для начальства. И люди, сидевшие в креслах, всем своим видом подтверждали такое предположение. Летела комиссия.

В последнем ряду сидел Борисов. Он не похудел, наоборот, даже раздался, костюм новый, чистый, галстук по-прежнему хорошо подобран, только выражение лица изменилось — появилось в нем что-то равнодушное, готовность выслушать и... ничего не делать.

Самолет снизился, и то, что представлялось сверху неопределенным, неряшливым сочетанием коричневых и зеленых пятен, рассеченным надвое желтой, почему-то отливающей сталью песчаной лентой, приблизилось, распалось на отдельные части. Внизу лежал заброшенный, покинутый людьми город: бараки с замшелыми

крышами, улицы, сплошь заросшие травой и молодой порослью таежного кустарника. Желтая песчаная лента — насыпь незаконченной железной дороги, огибая сопки, обрывалась около уреза воды, а стальной блеск ее — тысячи брошенных лопат.

Самолет приспустился совсем низко, оттого стали различимы черные, пустые, с блестками выбитых стекол окна в бараках, упавшие в сараях двери, покосившиеся, опрокинутые уборные, выгребные ямы, из которых торопливо вымахали молодые березки, эскаватор, брошенный прямо посреди улицы с опущенным до земли ковшом и сбежавшей с катков гусеницей. Ни одного человека, ни дымка...

Борисов смотрел, прижимаясь лбом к вогнутому стеклу иллюминатора, шаря по нему пальцами, стараясь рассмотреть побольше. Вот как оно, вот чем кончилось!

Не обозначенный ни на одной карте город, тайно возникший на берегу Пролива, город, которому отдано столько жизней, неслыханное в истории предприятие, попытка перекроить планету, сделать остров частью материка, а сам материк продолжить в океан... Ничего не осталось.

На иллюминатор надвинулось кладбище — покатым желтый бок сопки. Непрестанные дожди уже сделали свое дело — смыли низкие, неприметные и в первые-то дни, холмики, опрокинули и унесли колышки с номерами, вялый мшаник затянул остатки разрытых собаками ям.

Около берега, там, где обрывается насыпь, — котлован, чудовищная красная рана на теле земли, бетонными плитами выложенный спуск и в конце его большое ржавое пятно — стальной щит, которым закрыт туннель, едва начатый, но который и теперь, даже с высоты двух сотен метров, своими размерами и назначением поражал.

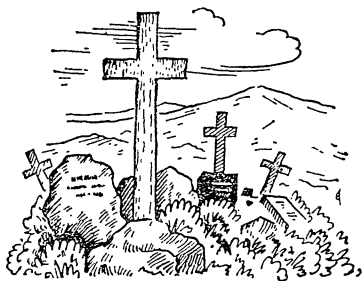
Самолет опустил крыло, повернул вглубь берега, и тогда навстречу поплыла наклонная, стекающая с сопки стена, на ней профиль, бугристое с вислыми усами лицо... Так и было задумано — поезд вырывается из туннеля после движения в темноте прямо на свет, оказывается перед стеной, и каждый, припав к окну, видит Его...

Машину тряхнуло, моторы завывали совсем натужно, пол салона наклонился — набирали высоту. Сразу ушли, потерялись расставленные по линейке бараки, жел-

тая убегающая в тайгу змея-дорога и смытое дождями забытое кладбище.

Борисов оторвался от окна, остальные пассажиры оживленно переговаривались, большинство впервые были здесь, впервые видели туннель, комиссия торопилась, были они городскими жителями, теоретиками строительства, и того, что увидели с воздуха, для них было достаточно, а он все оборачивался, прижимался щекой к стеклу и пытался что-то разглядеть в мутном туманном воздухе.

Советская Гавань — Ленинград
1982—1990 гг.



Содержание

3

КАМИКАДЗЕ

205

ВИТРАЖ 701



САХАРНОВ Святослав Владимирович

КАМИКАДЗЕ

Романы

Заведующий редакцией *А. И. Белинский*
Младший редактор *Н. Ю. Памфилова*
Художественный редактор *И. В. Зарубина*
Технический редактор *И. В. Буздалева*
Корректор *М. В. Иванова*

ИБ № 5862

Сдано в набор 18.10.91. Подписано к печати 10.02.92. Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 20,97. Тираж 30 000 экз. Зак. № 904. С104.

Лениздат, 191023, Санкт-Петербург, Фон-
танка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фон-
танка, 57.

Сахарнов С. В.

С22 Камикадзе: Романы. — СПб. Лениздат, 1992,
366 с.

ISBN 5-289-01385-7

Книга содержит два новых романа известного советского писателя.

Роман «Камикадзе» необычен и по содержанию — события второй мировой войны на Дальнем Востоке, в Японии и Корее, — и по композиции, требующей от читателя большого внимания.

В романе «Витраж 701» речь идет о неизвестной «стройке века» на Дальнем Востоке, прекращенной после смерти Сталина.

С $\frac{4702010201-102}{M171(03)-92}$ 110—92

84(2)7



